

**ВРЕМЯ**  
**И МЫ** 132  
1996



**АРКАДИЙ БЕЛИНКОВ**  
**ЧЕЛОВЕЧЬЕ МЯСО**

# **ВРЕМЯ**

# **И МЫ**

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЖУРНАЛ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ

*ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ*

Выходит один раз  
в три месяца

---

**132**  
**1996**

НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1996

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

<b>ЛЕВ АННИНСКИЙ</b>	<b>ГРИГОРИЙ ПОЛЯК</b>
<b>ВАГРИЧ БАХЧАНЫАН</b>	<b>ЛЕВ НАВРОЗОВ</b>
<b>ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ</b>	<b>ВОЛЬФГАНГ ЭЕВ РУБИНЗОН</b>
<b>ДЖОН ГЛЭД</b>	<b>ИЛЬЯ СУСЛОВ</b>
<b>ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ</b>	<b>МОРИС ФРИДБЕРГ</b>
<b>ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ</b>	<b>ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ</b>
<b>ЕФИМ ПИЩАНСКИЙ</b>	<b>ЕФИМ ЭТКИНД (зам.гл.редактора)</b>
<b>ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ</b>	

Главная редакция журнала "Время и мы"  
409 Highwood Ave, Leonia,  
New Jersey 07605, USA  
Тел.: (201) 592-61-55  
Факс: (201) 592-69-58

Московский центр журнала "Время и мы"  
Заведующий центром Лев Аннинский  
Адрес центра: 117415 Москва,  
ул. Удальцова, 16/19.  
Тел.: 131-62-45

Израильское отделение журнала "Время и мы"  
Заведующий отделением Ефим Пищанский  
Адрес отделения: Neve-Yakob Reuven  
Gamson Str., 32/3, JERUSALEM, 97350  
Tel.: 02-857-282

Французское отделение журнала "Время и мы"  
Заведующий отделением Ефим Эткинд  
Адрес отделения: Rezidence Lorilleux  
Esc.U. appt 929, 15 Allee Henri Sellier,  
92800 PUTEAUX, FRANCE

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ПРОЗА</b>	
<i>Инна ЛЕСОВАЯ</i>	
Место на фотографии.....	5
<i>Виктория ПЛАТОВА</i>	
Вольфас.....	41
<b>ПОЭЗИЯ</b>	
<i>Валерий ЧЕРЕШНЯ</i>	
Отпевание по ушедшим и пропавшим.....	93
<i>Лев ДАНОВСКИЙ</i>	
Склонилась гармонь кособоко.....	98
<b>РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ</b>	
<i>В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ</i>	
«Прекрасное всегда рядом».....	104
<i>Дмитрий БЫКОВ</i>	
Новая Россия.....	116
<b>МЫ И АМЕРИКА</b>	
<i>Евгений МАНИН</i>	
Неладно что-то в датском королевстве.....	128
<b>ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА</b>	
<i>Лев АННИНСКИЙ</i>	
Чудодейственный путь Венички Ерофеева.....	147
<b>ИНТЕРВЬЮ «ВРЕМЯ И МЫ»</b>	
<i>Беседа с МИКЛОШЕМ КУНОМ</i>	
О сегодняшней Венгрии, о времени и себе.....	156
<b>МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ</b>	
<i>Марк ХОЛМЯНСКИЙ</i>	
Сдача страху на милость.....	171
<b>ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО</b>	
<i>Ростислав ДУБИНСКИЙ</i>	
Прощание.....	182
<b>НАШИ ПУБЛИКАЦИИ</b>	
<i>Аркадий БЕЛИНКОВ</i>	
Человечье мясо.....	216
<b>ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»</b>	
<i>В. ПЕТРОВСКИЙ</i>	
Ощущаю себя ковбоем на диком западе.....	281



*Инна ЛЕСОВАЯ*

## МЕСТО НА ФОТОГРАФИИ

Где оно теперь, коричневое папино пальто? Истлевает, сливаясь постепенно с землей, как незарытое животное? То самое пальто, которое сотворилось так торжественно и постепенно на протяжении многих лет — детских, тянувшихся невыносимо медленно от елки до елки, от парада до парада, с редкими вкраплениями именин, поездок на пляж и эпохальных покупок.

Бедные пятидесятые! Старенькая фанерная мебель в волдырях и трещинах, прикрытых ажурными крахмальными салфетками. Разложенные, развешенные симметрично и ярусами по всему дому, они парили, как райские облака, и на них восседали небожители — фарфоровые, стеклянные, целлулоидные, обязательные для каждого жилища: девочка с голубем, танцующая узбечка, пионер с книгой... Эти безделки отличались друг от друга лишь оттенками красок и выражением лиц. Следствие небреж-

---

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

ности кисти. У всех моих подруг, например, были небольшие целлулоидные пупсы с челочкой, и почему-то даже звали их одинаково — Катя. Но моя Катя была покрепче других, посмуглее и смотрела радостно-глуповато, Лоркина Катя была хрупкая и злая, а Леночкина — косяя и вовсе без выражения лица.

Но при чем тут куклы... Впрочем — тоже судьба: все они кончили на мусорнике, предварительно полежав — в тщетном ожидании починки — на дне чемодана, заменявшего в те годы чулан и чердак. У одной отвалилась голова, у другой — ноги... И у всех вдавились носы... Их ручки с рассудительно вытянутым пальчиком грозили из мусорных куч: «Memento mori! Не спускайся с заоблачной полки, не становись будничной тарелкой, затрапезным платьем, одежкой на каждый день!»

А оно и не становилось, папино пальто. Отчасти по причине своей тяжести.

Помню, как внесли прямо из ночи свернутый бревном отрез коричневого сукна. Дернули шпагат, зашелестели бумагой и раскатали по дивану тяжелую и мягкую на ощупь ткань, будто осеннюю землю под низким оранжевым солнцем абажура.

Я была еще так мала, что абажур казался мне больше солнца. Во всяком случае, важнее. А мамины цветастые платья, подцепленные проволочными вопросиками вешалок к распахнутой оконной раме, заставляли дурацкое сердечко захлебываться и обмирать, как при виде водопада. Лицо морщилось от брызг и грохота.

Два раза в году потертый бегемот, щелкнув никелированными замками, разевал оклеенную газетой пасть, и оттуда извлекали седую чернобурку, шубу, осыпанную снегами нафталина, два отреза маркизета, легких, цветастых — и этот, неподъемный, коричневый. Озабоченно шарили руками по его холмам и равнинам, испуганно катали между пальцами белую пушинку. Он не оправдывал моих надежд. Чего я ждала? Что сквозь него пробьются травинки? Прорастут ландыши?

Так вот, может, уже и проросли... В какой-нибудь при вокзальной рощице, где его бросил несчастный беспеч-

ный Ленечка, мой двоюродный брат, собиравший деньги на золотой перстень. Какая судьба! У вещей, как и у людей — такие бывают судьбы, что впору романы писать. Игриво развевающийся шарфик великой балерины... Или никому не известное ситцевое платье: ему бы послужить два сезона — и в тряпки, а оно оказывается причиной гибели славного беспородного щенка, а в конечном счете и его совсем юной хозяйки.

Вот и папино пальто — не оно ли ускорило печальный конец моего бедного брата? Не оно ли соблазнило какого-нибудь бестолкового бомжа приманить это седеющее дитя и потащить куда-то за собой? Но почему он просто не раздел его и не удрал? Вряд ли брат бросился бы за ним вдогонку: недолюбивал он это пальто из-за его непомерного, социалистически-боярского веса. Потому оно и не залоснилось, не затрепалось, как любая вещь, которой мой брат пользовался больше трех раз подряд.

Он надел пальто по случаю особо сильного мороза, отправляясь на базар сопровождать Фриду Аркадьевну, которая все и всегда делала не ко времени. Базар был плохой. Они ходили вдоль пустых оледенелых прилавков, выглядывая издали черные фигурки бесчувственных от мороза крестьян, не оживавших и при виде допотопной Фридиной шляпы со вздорным фетровым бантом, будто выпихнутым на авансцену из-под пухового платка. И даже кое-как размазанный румянец, даже криво намалеванные на лысых морщинистых буграх полоски Фридиных бровей не выводили их из немого бдения над ведром замерзшей капусты или горкой семечек в спущенном мешке. Где уж там было им заметить какого-то вихлявого бомжа, делающего знаки видному мужчине в директорском пальто! Ну, повернулся. Ну, отошли за рундук. Фрида же хватилась лишь тогда, когда выторговала невесть для чего здоровенный корень хрена и потянулась сунуть его в кошелку. Но кошелки уже не было. Не было и буханки серого хлеба, купленного по дороге, не было и коричневого пальто, и бедного моего брата.

Фрида не испугалась. Окинула слезящимся взглядом площадь, витрины, подождала у входа в мужской туалет,

а в конце концов даже заглянула туда. И наконец побрела домой, качаясь от налетающей толчками метели, с хреном наперевес. Она предполагала, что Ленечка уже дома, и радовалась за него, и гордилась привычно его недооцененной сообразительностью.

Этот город, этот город... Неотличимый от сотен других городов, он так часто снился мне, что утратил свои реальные черты большой деревни с двухэтажной, правда, площадью и колоннадой Дома офицеров — храмом и святыней моего брата. Снятся все какие-то пассажи, улицы с застекленным небом, элегантные трамваи, огромные часы над железнодорожными кассами, где продаются билеты прочь... а дом моей тетки, наоборот, оказывается почему-то похожим на хижину, затерянную в одичавшей зелени. Пустой, пыльный, со сползшими на пол картинами... дом умерших хозяев.

Впрочем, почти таким он был и в реальности. Сразу чувствовалось, что хозяев нет в живых. И Ленечка, гордо считавший себя хозяином дома, все же предпочитал жить в вонючем, заваленном кучами грязного белья логове Фриды Аркадьевны — даже тогда, когда Катя, его старшая сестра, приезжала в Славуту на две недели, чтобы не дать дому рухнуть, а Фридиному грязному белью не дать пойти по второму кругу. Он заходил в свой дом только днем: строго следил за тем, чтобы сестра не взяла себе на память какую-нибудь мелочь из рассыпающегося родительского гнезда, где ей было так страшно ночевать одной, где не стали селиться даже мыши.

Зато какое раздолье мышам было в хибарке Фриды! Там было тепло и сытно, там вечно пахло кипящим на огне жарким, свежим борщом, скисшим борщом, замшелой гречневой кашей, одеколоном, пудрой, трехмесячным потом постели, жареной картошкой, скисшей жареной картошкой, гниющей в помоях жареной картошкой.

Фрида целыми днями готовила: все боялась, что придут гости и застанут ее врасплох. Поэтому, возвращаясь домой, она спешила поставить на огонь кастрюлю с во-

дой, а потом уже снимала пальто. Вчерашнюю еду она никогда не употребляла, а сваренное утром иногда принимала за вчерашнее. Правда, утреннее часто сгорало, ибо, высыпав пакет крупы в кипяток, Фрида могла отправиться в уборную, затем, естественно, шла мыть руки и лицо, что влекло за собой немедленное наведение красоты.

Судя по фотографиям, Фрида была в молодости прехорошенькой. Живых свидетелей тому не имелось, но это было как бы городское предание. Ее вообще по-своему ценили: улицами, домами, своим укладом город был похож на любое большое село, и лишь Фрида с ее шляпами кружевными и шляпками фетровыми, с произвольно проложенными черными полосками бровей была явлением исключительно городским и свидетельствовала о давних городских традициях. А так — все было село да и село: пуховые сугробы, приваленные к заборам, и подушки, подушки снега на крышах, кружева садов в ночном инее.

Было еще утро, когда Фрида ковыляла по выбитой среди улицы снежной траншее, с бледным хреном в озябшей руке, с остатками малиновой помады на задернутых в плотную сборочку губах. Раскачивалась от стенки к стенке и радовалась, что брат мой уже дома, в тепле, и все восхищалась неожиданной правильности его решения: взял да и ушел домой. И уверенность ее была так сильна, что, только поставив на огонь кастрюлю, она обнаружила, что нет его дома, моего брата, а папино пальто не висит на своем гвозде.

Испугалась она только к вечеру. В милицию же обратилась и вовсе на другой день. Тогда же позвонила в Москву Кате, а затем и нам, в Киев.

Она плакала, говорила, что боится спать одна, что ее деревенские приятели из-за сильных морозов не ездят на базар, что с продуктами совсем плохо, что хлеб опять подорожал, и та буханка, которую унес с собой бедный мальчик, стоила пятьсот купонов, а сегодня она взяла такую же за восемьсот, что соседи говорят, будто появились банды, которые заманивают людей, убивают их, а трупы разделяют и продают как свинину.

Все это ни нам, ни Кате не показалось смешным. У

Фриды и ее покойного мужа — Мирон Сергеича — была собственная теория относительно здоровья моего бедного брата. Эта теория прямо противоречила предписаниям врачей: ограничивать больного в пище.

Бедные мои дядя и тетя! Каких трудов им это стоило! Ограничивать Ленечку... И когда! Когда после стольких лет безденежья они внезапно разбогатели: к двум учительским зарплатам прибавились две пенсии, плюс неожиданное наследство, плюс нерегулярная помощь крепко ставших на ноги старших детей — Кати и Яши. Помощь ненужная, но приятная и возмещаемая регулярными посылками, провинциально-продуктовыми. На старости моя тетя научилась печь, варить варенье и консервировать плоды собственного сада и огорода. Для Кати, супруги молодого профессора и лауреата различных премий, для Яши, женатого на дочери крупного подпольщика-коммерсанта, посылки из дому имели значение чисто ритуальное. Да и вообще в отношениях между родителями и старшими детьми, неосознанное, преобладало ритуальное начало. Не то что с несчастным братом моим, с Ленечкой, надрывно любимым крестом и позором всей семьи.

И его-то, вечного озабоченного запахами кухни, способного легко уместить во рту целый ломоть хлеба, одним разом вытянуть банку компота, приходилось ловить, ругать, запирает от него кладовки и буфет — и с болью наблюдать, как он снует, воровато и непристойно глотая, посмеиваясь, выжидая. Чуть зазеваешься — и он уже давится непрожеванным коржиком, а другой хрустит в кулаке. И так противно, так больно... Смотреть на это, стоять навытяжку перед врачами, слушать их безжалостные упреки... «Что же вы делаете? Он же у вас стал похож на кабана! На нем же сала килограммов сорок!»

Тетя обижалась. Ничего такого она не видела. Она привыкла к тому, что мальчик у нее красивый. Была она слабохарактерна и после смерти дяди не так тщательно следила за дверцами буфета и кладовки. А иногда просто доставляла себе удовольствие, слушая упорный хруст песочного печенья, глядя, как пирожок со сливовым по-видлом чувственно внедряется в малиновый джем и на-

хально возвращается, густо закапывая клеенку. Тетя выяснила опытным путем, что возможности моего бедного брата не безграничны, что в конце концов он откинется, отдуваясь, на стуле и с добродушным отвращением будет разглядывать смятый бисквит... поредевшие абрикосы в банке. Подолгу... Будто это аквариум с рыбками. Между делом он прислушивался к своему организму в ожидании нового прилива готовности.

Тетя говорила себе, что дни ее сочтены, несмотря на присылаемый из Москвы адельфан, гимнастику, бессолевую диету и помогающие от всех болезней апельсины; что Ленечку несомненно ожидает полуголодное существование в интернате для душевнобольных. Она больше не пыталась найти ему какую-нибудь посильную работу и перестала поручать даже то небольшое, что он раньше делал по хозяйству. Разве что иногда брала Ленечку с собой на кладбище, где он приносил ей от колонки воду. Стоял, переминаясь... Смотрел, как тетя, тяжело сопя, выпалывает в оградке сорную траву, вздыхал и повторял: «Как мне жалко, папа, что тебя больше нет!»

Тетя не угадала. После ее смерти Ленечку в больницу не отвезли. Несколько месяцев он прожил с квартирантами, которых нашла Катя, а когда квартирантов выгнали, Мирон Сергеич, бывший завхоз школы, где дядя мой был директором, тетя — завучем, Катя — главной отличницей, Яша — главным артистом и спортсменом, а Ленечка — главным... забрал его к себе. В свой домик, невероятно захламленный и запущенный за те два года, которые Мирон Сергеич прожил со своей «молодой женой».

Фрида Аркадьевна красилась в черный цвет, неумеренно пользовалась помадой и особенно румянами, носила кружевные шляпки и блузки с глубоким декольте. Пожилые ее дети стыдились матери, и она искренне привязалась к Ленечке, ценившему Фридину парфюмерную красоту. Мирон Сергеич и Фрида Аркадьевна о больнице и слышать не хотели — особенно после того, как однажды поддались на увещания участкового психиатра и отвезли Ленечку в Тополевку. В первое же воскресенье они

явились туда с передачей, и когда мой бедный брат, жалкий и осунувшийся, вышел к ним в линялых лохмотьях и стал проситься домой и обещать, что будет хорошо себя вести, старики расплакались, и уже в понедельник он был дома.

Участковая медсестра приходила делать ему уколы, Мирон Сергеич давал по часам таблетки. Но в медицину старики не верили. Фрида Аркадьевна лечила Ленечку едой. Она пошла много дальше моей тети. Та слабовольно позволяла ему есть, сколько захочет, а Фрида Аркадьевна заставляла, караулила тот момент, когда он откинется от стола и с сожалением, с икотой уставится на остатки еды, как живописец на надоевший пейзаж. Тут она и начинала подкладывать ему добавку.

Бедный мой брат сопротивлялся. Унылые супы Фриды Аркадьевны с разваренными кусками мяса, обгаженными капустой и крупой, ее сухие каши с тем же мясом не возбуждали нового желания. Но Мирон Сергеич мягко и строго настаивал, а Фрида Аркадьевна делала вид, что плачет. «Не плачь! Не плачь, Фрида! — испуганно приказывал Ленечка. — Я буду, буду кушать!» — и с бесчувственным усилием перемальывал следующую порцию, после чего, всегда неожиданная для бедного моего брата, появлялась коварная «закуска» — миска творога, посыпанного сахаром, как ночным снегом, пачка дешевых вафель. Похрустев всем этим, брат терял всякое выражение лица и неподвижно сидел часами. Ничего ему уже не хотелось — ни гулять, ни кататься на автобусе, ни даже петь. Говорливая Фрида, задавая ему вопросы, сама же на них и отвечала. А Мирон Сергеич хвастал в письмах к Кате, что уже пять, семь, девять лет им удается избежать обострений. Периодически просил высылать чуть больше денег в связи с возмутительным ростом цен. Фрида Аркадьевна приписывала несколько слов о том, что Ленечка прекрасно выглядит, что он красавец, а костюм, который Катя выслала весной, уже мал, и надо бы размера на два больше. Что колбасы в Славуте по-прежнему нет, а Ленечка ее так любит. Ей же лично ничего не надо, разве что две бутылки лосьона «Свежесть». Катя приезжала в Славуту,

навьюченная сверх всяких женских возможностей. С колбасой, апельсинами и конфетами, которые старики скармливали бедному моему брату за день — за два, демонстрируя Кате свое бескорыстие.

Расстроенная Катя звонила моей маме и говорила, что брат совсем утратил человеческий облик, что на его ляжки и зад страшно смотреть, что когда Мирон Сергеич ведет его в баню, за ними увязываются любопытные.

Вот почему никому из нас не было смешно, когда Фрида Аркадьевна, давясь крашенными слезами, толковала о бандах, убивающих людей на свинину. Тем более, что в прессе промелькнула-таки заметка о некоем вполне уважаемом гражданине, пойманном на таком оригинальном промысле. В милиции то ли не читали этой заметки, то ли не могли серьезно отнестись к чему бы то ни было, сказанному Фридой, которая не в состоянии была выйти из дому, не приведя себя «в порядок», но по причине искреннего горя намазалась кое-как. И тут не помогало даже присутствие Кати, внушающей всякое уважение. Все это были люди приезжие, они не писали годовые диктанты под диктовку моего дяди, не курили за клубом «Беломор» с моим братом Яшей, не знали бедного Ленечку хорошеньким голубоглазеньким мальчиком. Не видели они, как маленький Ленечка роскошным жестом фокусника расстегивает ширинку и достает оттуда свой крошечный циркуль, и на дощатой стене сарая, так далеко, что будто и нет никакой связи между этой стеной и моим бедным братом, возникает пронзительно четкая дуга, разрастается по часовой стрелке, быстро замыкает круг и тут же против часовой стрелки выводит новый, такой же безукоризненно правильный, будто сами собой проявились на стене таинственные письмена. Не то карта полушарий без материков, не то упавшая восьмерка — символ бесконечности. Что-то и Ленечка мог такое, чего не мог больше никто, но в милиции об этом, увы, не знали.

Дело-то они открыли, но явно желали и государству, и безутешным родственникам избавиться от обузы. Да и какими, собственно, сведениями они располагали? Тол-

стый. Ну мало ли толстых? Допрос «свидетельницы» — Фриды Аркадьевны Бомштейн — вела, в сущности, Катя, это она вытянула из памяти старухи какого-то оборванца с длинной шеей, ниже кадыка — белой, выше — красной, морщинистой, как у индюка. И будто бы он подмигивал Ленечке. А теперь, несомненно, ходит в дорогом пальто с высоким воротником, скрывающим единственную его особую примету. Описание пальто внесли в дело. «Коричневое толстое сукно отечественного производства, три слоя ватина, коричневая подкладка шелковая, восемь коричневых пуговиц, больших, в два ряда, воротник широкий каракулевый, коричнево-золотистого цвета.»

Папино пальто! Выходное... Не вещь, а член семьи. Зревшее лет семь на шкафу в чемодане, как зародыш в пробирке, плотно укутанное, обложенное нафталином, являющееся на свет только по большим праздникам: День проветривания и День просушки. Сначала в виде отреза сукна, широкого и бархатистого, как из окна поезда — осеннее поле на закате... и так отрадно, так страшно было бродить по нему двумя детскими пальчиками, прихрамывая на короткий указательный, от горизонта — до горизонта... искать в пещерах складок затерявшийся с лета цветочек... и Ленечка, вечно подражавший мне, тоже гладил мягкую ткань ладошками, а потом бил по ней, барабанил в своем вечном маршевом ритме. Мама моя опасливо поглядывала, но забрать ткань не решалась, чтобы не обидеть тетю. А когда гости уезжали, она снова доставала отрез и находила на нем какое-нибудь невидимое пятнышко.

В каждый свой приезд тетя интересовалась папиным пальто: куплена ли уже подкладка? набран ли ватин? найден ли подходящий воротник? Будто чувствовала, что шьется это пальто для Ленечки. И все сожалела, что цвет коричневый, а не синий, который больше подошел бы к синим папиным глазам.

Тетя гордилась папиной красотой, она уверяла, что Ленечка — копия папы в детстве и в зрелом возрасте будет

тоже — вылитый папа. О господи! Видела бы она Ленечку в зрелом возрасте. Впрочем, никогда она ничего не видела — вернее, видела нечто недоступное всем: вместо кривого смятого лобика — просторный лоб моего папы, вместо мутных глазок — папины синие глаза. Бедная тетя Фаина! Если бы она дожила до того дня, когда мой брат по случаю сильного мороза надел нелюбимое, длинное и тесное ему коричневое пальто, то несомненно заплакала бы от умиления и сказала, что видит перед собой живого папу, что точно таким и был папа в соответствующем возрасте.

Ну разве это не странно? В сорок восемь лет папа сшил-таки коричневое пальто. В сорок восемь лет мой бедный брат надел его — и исчез. Повернулся и ушел от Фриды, торгующей на морозе палку ненужного хрена, скрылся за сугробами. Также внезапно, как когда-то появился из-за сугробов мой папа в новом пальто, сшитом за тот месяц, который я провела в кардиологическом санатории.

Помню, как мы стояли в беседке для посетителей... редкие снежинки заносило к нам из лесу, из легкой дневной метели... я смахивала их рукавицей с папиного круто вьющегося воротника, разглаживала движением собственника борта и твердую коричневую грудь, уголком глаза замечая девчонок, как бы случайно подтянувшихся к беседке, их восхищенные взгляды... и изменяющуюся вдруг походку спешащих мимо медсестричек. Как я гордилась папой! Его глазами, его седеющими висками, его по тогдашней моде широким, как бы из гранита изваянным пальто!

Он доставал его лишь в особых случаях. И всегда это было похоже на открытие памятника — отчасти из-за белой простыни, хранящей пальто от моли и пыли. И вот оно-то — папино пальто! — на замарашке-жулике с его индюшачьей красно-белой шеей! Скорее всего уже потертое, со следами пива и засохшей блевотины, поверх невидимых следов, оставленных мною и бедным моим братом. Скорее всего, уже без воротника, так что открылась теперь его шея, безразличная милиции. А может, оно и вовсе пошло по рукам и греет по очереди бомжей в

каком-нибудь подвале, где от темноты и грязи перестают существовать цвета. Воняющее, как опустившаяся шлюха. Папино пальто, о котором все говорили, что папа в нем похож на профессора. Которое в день папиных похорон вынужден был надеть из-за сильного мороза муж моей сестры. Помню, как мы с сестрой боялись взглянуть на него, а потом удивлялись, что это оказалось совсем не страшно. На нем, на двухметровом, пальто сидело каким-то особым образом, очень ловко. И было странное чувство... будто папа видит это и доволен, что оно пригодились.

Однако, посоветовавшись, мы с сестрой решили отдать его Кате для Ленечки, тем более, что она собиралась прямо от нас ехать в Славуту. Катя, единственная на похоронах родственница по папиной линии. Ибо к тому времени дядя мой давно уже упал с надкушенным бутербродом в руке, так и не узнав о том, что болен раком. Тетю прикончила-таки гипертония, которой она так жалко и комично сопротивлялась. И во всем этом, по семейному убеждению, виноват был эгоист Яша, укативший в Израиль вопреки воле родителей, чрезмерно дороживших своими партбилетами и карьерой зятя-лауреата. Даже Ленечку принесли в жертву этим святыням: Яша хотел забрать его с собой, рассказывая чудеса об израильских специнтернатах, где психически больные живут в идеальных условиях, где их приспособливают к посильной работе и создают даже некие подобия семей. А в Союзе Ленечку ожидает больница, где людей содержат хуже, чем животных в зверинце, где к тому же каждый несчастный будет считать своим долгом поиздеваться над Ленечкой. Уже из Израиля Яша писал своим друзьям, просил втолковать это родителям. Но партийные родители были непреклонны. Несмотря на рак и второй степени гипертонию.

У Катиного мужа и в особенности у самой Кати в связи с отъездом Яши были большие неприятности. Их вызывали в различные инстанции, угрожали. На осторожный намек моей практичной мамы, что, дескать, семь бед — один ответ, Катя ответила неприлично резко: мол, хватит с нее одного брата за границей, мол, нет в анкете графы,

где она могла бы объяснить, что представляет собой Ленечка. Кривила душой. Ленечкиного слабоумия она стыдилась больше, чем Яшиного «предательства Родины», больше, чем... И придумать нельзя! И ни в каком секретном отделе она не заставила бы себя сознаться в этом семейном позоре. Уж скорее бы признала себя японской шпионкой.

«Позоре»... Ну да, разумеется, слово неподходящее. Но когда горе комично... когда оно вызывает смех даже у самых близких — это все-таки немножко позор, тем более для такой самолюбивой, гордой девочки, как Катя. Катя, каждый день стиравшая свое единственное платье и пару ленточек, Катя, в течение лета решавшая все задачки из учебника не дававшей ей математики, Катя, часами вдальбливавшая в круглую голову моего брата какое-нибудь стихотворение, Катя, у которой ни одна из многочисленных выходок бедного Ленечки не вызывала даже тени улыбки.

Бедная Катя, как она бежала за ним по городу с добела стиснутыми губами, с глазами, узкими от боли! По улицам, вдоль заборов, над которыми нависали зеленые яблоки и болтали ножками вишни, вдоль огородов с загорелыми бабами. Бабы выпрямлялись, подпирали рукой поясицу и, подобно подсолнухам, поворачивали смеющиеся лица, провожая моего брата, как солнце, до заката — до перекрестка, где другие бабы встречали его новым смехом, бедного моего брата-оленья... Никто не подумал броситься ему наперевес, никто не испугался, что он может покалечиться своими ветвистыми рогами, бодливо наставленными на догоняющую сестру. Рогами, торчащими из стиснутой трещинки голого, белого зада, такого голого и круглого, как устремленная вперед голова. Мой бедный брат, олень-наоборот, петляющий восьмерками по хохочущему городу и придерживающий руками черные трусы!

Я тоже смеялась. И мама моя. И тетя! Даже дядя мой смеялся, и бил себя кулаками по вискам, и вытирал запястьями слезы. «Кто вас научил! Кто вас научил так делать?! — орала за проволочным забором соседка и

мотала за локти сопливых Оську с Додькой. — Вы зачем ему ветку засунули?!» «Мы в доктола иглались! — ревел четырехлетний Додька. — Мы делали ему клизьму-у-у...»

Бедный, бедный мой брат! Тогда ему было всего лет семь, и он вполне мог сойти за нормального мальчика. Тогда еще и чужие говорили, что он красивый: пухлые губки, синие глазки. Это уже хорошенько присмотревшись, вы замечали, что аккуратная круглая головка стоит как-то... слегка туповато, с обезьяньим наклоном. Однажды Ленечка вызвал прямо-таки овации: женщины в автобусе обсуждали его глаза и темно-синюю школьную форму, только что привезенную Катей из Москвы, щелкали языками и повторяли: «Вот если бы все такими были!» Катя подавляла на своем лице судорогу сарказма и сильно сжимала ручку брата: боялась, как бы он не заговорил. Впрочем, и улыбки его хватило бы. Широкая, плоская, с недетски игривым намеком, перенатым, должно быть, у старшего брата, у шутника и остролова Яши. А, может, и улыбка, и намек передались по наследству. Бродил себе такой ген — по линии моего дяди, наверное.

По линии тети и моего папы остряков припомнить не могли. От этой родни Ленечке досталась красота, именно тетю случайно миновавшая. То есть она не была дурнушкой, но сравнение с братьями ее губило. На первой странице семейного альбома тети красовалась очень качественная провинциальная фотография: тетя в беретике, с мечтательно прищуренными глазами и ниспадающими бровями — как солистка квинтета — в центре, а с двух сторон, по двое — ее красавцы-братья, очень похожие друг на друга и вместе с тем волнующе разные. Они не шурились, подобно тете, вдаль, наоборот — откровенно смотрели в объектив, и о каждом из этих вдумчивых и отуманенных взглядов можно было написать стихотворение. Папа мой, единственный из них, вернувшийся с фронта, был живым доказательством того, что красота эта не являлась следствием особенного освещения или, упаси Боже, ретуши.

И к этой-то фотографии тетя прикладывала крошечный, с белым уголком снимок Ленечки. Поверх своего лица —

в центре. Боже-боже! Как слепа бывает материнская любовь! Сходство-то было... Но было и еще нечто... Куда более заметное, когда тетя повторяла свой фокус с другой фотографией. То был портрет «Ленечки-Гришиного», сына папиного старшего брата. Он был сделан перед самой войной, за полгода до того, как Ленечка и его мать погибли в Бабьем Яру.

Оба мальчика были сфотографированы в возрасте семи лет, и головки их не только совпадали по размеру, но были абсолютно симметрично повернуты друг к другу. Кажется, что Ленечка-Гришин увидел себя в зеркале. Увидел — и испугался. Ибо то было зеркало дьявола: тот же вроде бы человек, те же глаза, губы — и совсем другое выражение.

Ленечка-Гришин решительно сжимал свой крошечный ротик и смотрел исподлобья с суровым недоверием... отказывался от такого продолжения, предпочитал собственную судьбу.

Рассказывали, что веселая широколицая Гришина жена, Лиза, не хотела называть ребенка в честь свекрови, которая умерла в двадцать пять лет случайной смертью. Лиза считала, что ее имя не принесет ребенку счастья. Несомненно, она говорила об этом и с тетей Фаиной. Что же заставило мою тетю повторить ошибку брата и дать ребенку имя своей матери, о которой только и помнили, как она скакала с детьми на кровати, выпустив из разреза панталон подол рубашки, так что получался петушиный хвост, приводивший малышей в восхищение?! Почему ее не остановило хотя бы то, что это еще и имя семилетнего мальчика, расстрелянного у стены? Или моя тетя, слишком рано покинувшая семью ради строек социализма, не знала всех тонкостей этого древнего обычая? Или нашло на нее затмение — просто потому, что настала пора кончиться красивому папиному роду? А тетя самонадеянно решила, что сумела прыгнуть через поколение, через свою неприметную внешность и подарила моему папе, отцу двух кареглазых дочерей, племянника — наследника его красоты, его голубых глаз. Его коричневого пальто...

Где-то оно сейчас, поруганное, сколько раз пропито... Не пошли впрок наши сентименты бедному моему брату. Лучше бы оставили это злополучное пальто зятю для гаража. Или хоть послушались бы умных людей — воротник сняли. Но все-таки, все-таки, все-таки думаю, что и без пальто случилось бы то же. Он всегда старался куда-то убежать, будто ему известно было место, где едят варенье из банки, конфеты прямо с кульком, где можно давить в кулаке абрикосы и пирожные, где нет ни парусов одиноких, ни абэквадратов, где вечно играет военный духовой оркестр: ты-ды-ды-ды-ды, ды-дыд-ды... Все марши, марши! Девушки, веселыми зубами откусывающие мороженое!

Эх! Быть бы моему брату красавцем и остроумцем, военным дирижером, нарядным, как елка, женским любимцем — кабы не...

Что? Стремительные роды? Ведь врачам в новорожденном сразу что-то не понравилось. И тетю против всякого здравого смысла точило чувство вины.

Скорей уж почувствовать себя виноватым мог бы дядя: это он, зачитавшись передовой статьей газеты «Правда», позволил любопытному младенцу выпасть из коляски. Тогда никто особенно не испугался: мало ли детей выпадало из колясок! А другой случай, связанный с Яшей, так и вовсе рассказывали как забавную историю со счастливым концом.

Яша любил своего братишку со страстью и нежным удивлением — так подросток может любить принадлежащего ему зверька. Он повсюду таскал Ленечку за собой, и однажды под ним, долговязым и тощим, проломилась доска на вышке, с которой местные спортсмены прыгали в воду. Яша, ко всеобщему восхищению, приземлился на ноги с крепко прижатым к груди ребенком. О сотрясении никто и не подумал. Это уж впоследствии, когда заполняли историю болезни, врачи просветили.

По их мнению, каждое из описанных происшествий могло сыграть роковую роль. Но приоритет, как и все домашние, они отдавали тому самому случаю, тому роковому дню, когда Ленечка, уже начинавший лепетать, поко-

вылял за нянькой в сарай и заглянул в открытый погреб, куда преданная старуха полезла воровать творог для вечно голодного Яши. Она увидела, как в уголок солнечного света, достигающего в полдень сырого земляного пола, вписался темный кружок, будто отметивший место для приземления, и тут же на это самое место грохнулось головой детское тельце. Сначала нянька подумала, что дитя разбилось, но, поняв свою ошибку, стала горячо благодарить Бога. Припадая лбом к мешку картошки, просила, чтобы он, раз уж совершил чудо, свершил бы еще одно: скрыл глубокий след ее оплошности — косую вмятину на темечке ребенка.

Бог и тут пошел ей навстречу: вмятина до вечера разгладилась и, что уж совсем чудесно, не осталось даже маленького синяка. Правда, малыш надолго перестал разговаривать, но это заметили как-то не сразу: он и до того особой сообразительностью не удивлял. И только много позже, когда начали судить да рядить, ездить по врачам, старуха созналась тете, а тетя — постепенно, с подготовкой — дяде. Дяди в доме не то чтобы боялись... боялись его бурных реакций на самые незначительные неприятности. И больше всех — именно нянька. Старуху не так пугало то, что ее, ни на что уже не годную, выгонят из дома, где она прожила шестнадцать лет и надеялась спокойно умереть, как то, что дядя станет кричать, бить себя кулаками по широким вискам, рвать свои курчавые черные волосы. Это его невыносимое «вэ-эй!» вкупе с «сибирским» говором...

Ах, мой бедный дядя! За что судьба сочетала его доброту с такой скандальной вспыльчивостью, с колючими чертами, вечно готовыми исказиться в судороге гнева или сарказма? Дядя, с его сумасшедшими очками в круглой черненькой оправке, дядя, боготворящий мечтательный флегматизм своей начитанной жены и не доверяющий ей в ничтожных бытовых мелочах, сам заправляющий борщ и смолящий кур, личной ненавистью ненавидящий империалистов, колонизаторов и эксплуататоров, а еще больше — собственных учеников, тупиц, неспособных без двадцати ошибок написать диктант, который он диктовал по

слогам: «На-до хо-ро-шо у-чить-ся», ввинчивая в их ленивые мозги каждую букву, а они не только не повышали свою успеваемость, но еще и передразнивали дядину несносную речь, его профессиональную инвалидность... он ведь иначе говорить уже не мог. Не «малако», а «мо-ло-ко», не «цыфра», а «ции-фра». Слушая его пронзительный голос, незаметно вытирая со щеки каплю слюны, предназначавшуюся вообще-то Эйзенхауэру, я думала: не в наследственности ли причина несчастья.

Впрочем, тут только начни, только сделай допущение. Да и кто из нас поклянется, что нормален на сто процентов? Во всяком случае, не я. Ну спрашивается, что мне стоило ответить моей бедной тете, вечно задававшей мне один и тот же литературно-философский вопрос: «Какое качество ты ценишь в человеке превыше всего?» — и ожидающей ответа: «Доброту», — что мне стоило именно так и ответить, вместо того, чтобы с жестокой твердостью отвечать каждый раз: «Ум». «Ум!» «Ум!!» Зачем мне, в общем-то незлой девочке, привязанной к тете и очень хорошо ее понимающей, было мучить ее и колоть ее своей правдой?

В свое оправдание могу сказать лишь то, что я в бедном брате моем не замечала и особой доброты. Никогда он не порывался поделиться с нами какой-нибудь ерундой — наоборот, сжимал крепко в мокром кулачке мандаринку, печенье, конфету, так что иногда оттуда начинало капать что-нибудь розовое или коричневое. И, поедая свое сокровище, он смотрел не на него, а на оставшееся в общей тарелке или отданное другим детям, сопровождая своими синими глазами каждый кусок в его челночном следовании туда и назад. О Господи! Вернуться бы в прошлое и отдать ему все яблоки и шоколадки, к которым мы были не так уж и жадны — а поэтому и ели не торопясь и заставляли его, вмиг сжевавшего свою долю, сглатывать, мять губами, выжидающе хихикать. Он мог как бы невзначай подхватить что-нибудь, оставленное нами на столе, но, надо признать, ни разу ничего не отнял, даже у моей сестрички — младшего ребенка в родне. Он был безобиден, и это моя тетя принимала за доброту.

А красота? Что принимала она за красоту, когда от красоты уже и следа не оставалось? Когда разросшиеся красные губы выпятились вперед и вверх и, как моллюск, живущий собственной жизнью, все шевелились, то предвкушая, то дожевывая что-то. Когда неопрятная юношеская щетина облепила клочками подбородок и щеки. Когда после смерти няньки стала вдруг проявляться глубокая, как овраг, впадина, державшаяся до того, по видимому, только молитвами бедной старухи. Уже волнистые волосы брата стали сесть и редеть, и зад его не умещался ни в одном кресле — а тетя устремляла на него свой голубой очарованный взгляд и повторяла с жаром: «Такой красивый мальчик!» И еще — с вдохновением, прищурив в даль мечтательную бровь: «Посмотри, как он похож на твоего папу! Одно лицо!»

Господи! А как восхитилась бы она, доведись ей увидеть Ленечку в коричневом пальто. С золотистым каракулем вокруг по-бычьей накрененной шеи.

Но все-таки, все-таки в чем-то она была права. Было что-то общее между ней, папой и бедным, дважды неудачно названным Ленечкой — что-то, касающееся только их троих. Не оттого ли я злилась в детстве на тетю? Читала «Бесов», высоко поднимая подбородок как бы назло ей. «Мчатся тучи! Вьются тучи!!» (Хоть я и не мальчик! Хоть у меня и не синие глаза!) «Невидимкою луна освещает снег летучий!»

Вообще-то я не любила эти семейные концерты, где Яша пел сатирические пародии на песни советских композиторов и рассказывал анекдоты про «Перчика»; где моя годовалая сестренка показывала, как «делают» кошечка, курочка и собачка; где моя мама «играла» на расческе. Бедному Ленечке тоже очень хотелось выступать. Он все норовил выскочить на середину комнаты, но дядя ловил его за локоть и весело повторял истеричным фальцетом: «Сиди тихо! Не позорь меня! Когда ты открываешь рот, оттуда летят козыи какашки!» Но Ленечка все-таки вырывался. Принимал артистическую позу. И тут происходило нечто странное: все ждали чуда. И я ждала! Каждый раз была уверена, что вот сейчас-то он откроет

рот и расскажет стихотворение почище «Бесов». Но... На «Бесов» моих он не посягал. Перевернул каких-нибудь два предложения из Яшиного анекдота. «Товарищ учитель! Целуйте меня в затылок!» И, радостный, убежал. А то еще однажды стал рассказывать: «Петушок делает кукареку! Курочка делает ко-ко-ко!» Договорить ему дядя не дал.

Ну? Так не сумасшествием ли было орать за это на ребенка, обзывать его дураком — и при том надеяться, что терпение и упорство позволят Ленечке... получить высшее образование?! Не глупо ли было год не разговаривать с моей мамой, давшей, как всеми было признано позднее, дельный совет? «Я — директор школы! — вздувал на висках жилы дядя. — А ты предлагаешь мне сына в сапожники отдать?!» Впоследствии утешались тем, что и это ремесло он вряд ли бы осилил. Бедный мой брат, сын директора! Пойманный олень! Все-то его неволили! То он дома дрожал над учебником химии, ссутулясь под грозным взглядом отца, то трясся в школе, чуя надвигающийся вызов к доске... и в мозгу его судорожно трепыхалось что-то, белело в голубом тумане: то ли парус одинокий, то ли Пифагоровы штаны. И в конце концов он бросился своему ужасу навстречу с поднятой рукой. Да еще во время директорской проверки. При бедном моем дяде, с его вечной сумасшедшей надеждой, что вот сейчас наконец-то Ленечка скажет нечто разумное! И Ленечка говорил: «Земля едет на верблюде!» И садился, довольный разразившимся смехом, считал себя шутником, любимцем общества, таким же, как брат Яша. Он и в больнице все подражал брату: подмигивал девушкам, путал что-то про Рабиновича и Пушкина, радовался, что веселит людей. Вечно побитый, поскольку целыми днями пел военные марши, очень громко и в нечеловечески четком ритме, воспроизводя звуки и призвуки оркестра: «Та-да-дам, та-да-дам, та-да-дам, дам! дам!..» И бил руками по столу, по тумбочке, по подоконнику, как по клавишам пианино.

Бедный мой брат — непризнанный полковник, дирижер и беременный жених Терешковой! Отдающий честь каждому военному, предлагающий руку и сердце каждой красивой девушке! Все-то он норовил куда-то убежать: то

от Кати с ее «Улукоморьем» и белыми губами; то от дурака-физика, упавшего, видимо, не в погреб — в кратер головой и назначившего Ленечке переэкзаменовку на осень; то из больницы, где у него отнимали надкушенный прямо с фольгой сырок и доказывали, что он не грузин! не дирижер! и не беременный от Терешковой, а просто обожрался; из картонажного цеха, где пригородные дуры-девчонки унижали его мужское достоинство, высказывая предположение, что он — «не годится», раз до сих пор не женат. Доводя до того, что бедный мой полковник начинал расстегивать свои пифагоровы пуговицы. Они поднимали визг стыдливого возмущения и вызывали начальство.

Убежал, убежал, убежал! Убежал от придурковатой невесты с ее радушными родителями, белым и плоским, как живот, лицом и четырьмя моргающими пупками вместо глаз, рта и носа. Галантно объявил, что хочет в уборную — и оттуда дал стрекача! Бежал, по-оленьи подавшись вперед и бодливо склонив смеющуюся голову, бежал куда-то в счастливые, нам недоступные дали, в неведомое место, где можно из зала дирижировать оркестром, угощать девушек бесплатным мороженым, где вместо одного солнца светят три. Прочь, прочь из собственного дома, от пьяницы-квартиранта и его беременной соплячки-жены, полагавших своей обязанностью нагло портить и красть Ленечкины вещи, проедать его пенсию, его самого выгнать на холодную кухню, обзывать жидом и идиотом... Они искренне не понимали, почему сердится Катя и за что их выгоняет этот город, впервые вступившийся за своего дурачка! Прочь и от него, от города — в Небесный дом офицеров, по снегу, раздвигая сугробы жирным телом в длинном и тяжелом, почти совсем новом коричневом пальто. Прочь от Фриды, совсем ополоумевшей после смерти мужа, с ее шляпками, с ее личиком, разукрашенным будто детской рукой, от Фриды, с материнской гордостью сообщавшей Кате о том, что Ленечка поправился и старая одежда на него больше не годится, а денег на еду не хватает, так что Катя в конце концов была вынуждена взять доллары, переданные опальным Яшей из Израиля, ибо то самое знаменитое наследство, целиком оставлен-

ное для Ленечки, инфляция слопала враз и походя, как сам он мог съесть пачку вафель. И на эти деньги бедная Фрида, вечно боящаяся, что ей нечем будет принять гостей, с утра до вечера варила каши и супы, и огромные куски мяса разваривала до того, что их нельзя было отличить от свалившейся в кастрюлю тряпки, и нарубленную капусту по рассеянности бросала в казан с позавчерашним скисшим супом, а крупу засыпала в бак, где вываривала полотенце. И всем этим она душила, заливала моего бедного брата, грозила, что если он не будет есть, она умрет или уедет к дочке в Коростышев, а его отдадут в больницу навсегда! И он ел, ел, ел, пока не перестал замечать девушек, пока не пропадала охота петь и выбивать ритм по фридиному столу, заставленному посудой и бутылками, пока от сытого вздоха не осыпались с рубахи пуговицы, пока не лопались городу на потеху брюки на чудовищном заду.

Этот зад всем приходил на память, когда Фрида, в очередной раз возвращаясь из милиции, плакала, пачкая варежки мокрой пудрой вперемешку с румянами, и толковала встречным про бандитов, промышляющих человеческим мясом. Каждый взвешивал мысленно неохватные ляжки и живот моего бедного брата, и постепенно это превращалось в настоящее наваждение, в городской кошмар. Особенно густел он на базаре у мясного ряда, где крестьяне, ни о чем таком не слыхавшие, дивились на опасно-брезгливые гримасы покупателей, которые вдруг стали придирались то к размеру, то к цвету куска, брошенного на весы, допытываться, почему тушу не привезли целиком, и сало им казалось то слишком мягким, то слишком твердым, а шкурка — и вовсе подозрительной.

И как бы наперекор этому тайному страху поползли по городу слухи. Будто видел кто-то Ленечку в рабочем поселке и отбил его, окровавленного, у расходившейся толпы. Будто часто мелькает он в своем коричневом пальто на той окраине города, где строятся химзаводские. Будто некий старичок, персональный пенсионер, прячет его в своем особнячке отчасти из практических целей — наколоть дрова, принести из колодца воду, — отчасти же

из жалости и человеколюбия, и ходит он аккуратный и ухоженный, как никогда.

Эти толки, наряду с надеждой, вызывали у Фриды Аркадьевны такую болезненную ревность, что она тут же бежала в милицию заявлять на преступного старика. Вызывала из Москвы Катю и таскалась за нею по химзаводской слободе, цепляясь ко всем старикам, резко переходя от враждебности к полному доверию, совала им безмерно льстивый Ленечкин портрет двадцатилетней давности, годный лишь на то, чтобы ввести людей в заблуждение, покоробленный от Фридиных слез и розовый от ее поцелуев. К тому же она неизменно повторяла, что в жизни он гораздо лучше, ибо страдала тем же помрачением (или просветлением) рассудка, что и моя тетя: видела в нем красавца.

Катя обращалась к детям, вечной добычей которых до седых волос оставался бедный Ленечка. Те пожимали плечами. В милиции, стекленея взглядом от подавляемого раздражения, повторяли Кате, что дело еще не закрыто, показывали сводки ограблений и убийств «нормальных, стоящих» людей, предлагали привести хоть одного свидетеля, который бы видел Ленечку своими глазами. Катя искала, пока не кончался с трудом и унижением взятый за свой счет отпуск. Несчастливая Фрида, смертельно боящаяся одиночества, особенно ночного, стала изредка вспоминать о своих собственных детях, о каких-то обидах и требованиях куда-то переехать.

Милиция и не думала разыскивать Ленечку. Преступность росла, как дрянной гриб на сгнившем здании. Ни денег, ни людей, ни технических средств не хватало — и в таких условиях разыскивать какого-то идиота! Сам найдется. Или труп его проявится из-под снега весной. Разве это не лучше и для него, и для его очкастой сестры, и для ее кацапа-академика, и для государства в целом? Что же им, перелопатить весь снег в области, в то время как здесь, в городе, девчата боятся пойти вечером в клуб?

Они не догадывались, в каком ужасе содрогался город, за неведомые грехи приговоренный всю зиму жевать котлеты, хлебать суп из моего бедного брата. И как

индальгенции, ждать весны, когда покажется над сползающим снегом коричневый рукав пальто, сшитого лучшим в Киеве портным. И все убедятся, что не виновны в каннибализме, что не ели мясо оленя — сына сердитого директора, который сам смолил кур и диктовал свой бесконечный диктант, подсказывая каждую букву, вбивая ее, как сапожный гвоздь. Сына доброго моего дяди, измотанного войной, нищетой, школой, тяжелым международным положением, Яшиными ногами, злокачественно вырастающими из брюк, а главное — туманным будущим городского полковника и дирижера. Ненаглядного сыночка преподавательницы русской словесности с ее вечным припевом «Колокольчики мои, цветики степные! Что глядите на меня, темно-голубые...» С ее мечтательно-голубыми глазами, будто иллюстрирующими эти стихи.

Но избавление пришло раньше. В феврале Женя Буряк, Катина подруга детства, с которой Яша целовался в девятом классе, встретила Ленечку в здолбуновской электричке, где он очень успешно, с большим знанием дела просил милостыню. Женя уговаривала Ленечку ехать с нею, стыдила, старалась вызвать сочувствие к Кате и исплакавшейся Фриде Аркадьевне. Последнее его задело, и он твердо пообещал вернуться, как только соберет деньги на костюм и золотой перстень. За этими словами чувствовалась чья-то подсказка, чье-то тонкое понимание Ленечкиной сути, и Женя побоялась тащить его силой, полагая, что этот «некто» находится поблизости. К тому же брат мой, по словам ее, был невероятно грязен, запущен, как Робинзон, и несомненно вшив.

Женю с триумфом представили милиции, но и наличие объективного свидетеля не вызвало там ожидаемого энтузиазма. Даже как бы укорили предыдущим разнообразием версий. Хотя кто и в чем здесь был виноват? И откуда могли знать Катя и безутешная Фрида Аркадьевна, что те версии были ложными? Да и были ли? Чем они противоречили друг другу? Разве не мог мой бедный брат оказаться в рабочем поселке по поручению старичка-пенсионе-

ра? И не сам ли старичок научил его просить милостыню по электричкам. Причем запущенный, убогий вид моего брата был обдуманно и вдохновенно созданием старичка. Может, он, как опытный модельер, окидывал Ленечку прицельным глазом — и надрывал рукав на его плече... кряхтя, откручивал пуговицу, крепко пришитую к коричневому несносимому сукну. А впрочем, нет. Пальто на Ленечке как раз и не было. Возможно, лежало оно, пересыпанное нафталином, в сундуке у хозяйственного персонального старичка, которому удачливый мой брат собирал по электричкам на «Жигуля», пока не надумал, что пора ему справиться себе костюм и купить золотой перстень.

А может, и не было никакого сундука. Может, и до сих пор пылится оно в прихожей на гвоздике, пальто моего папы, то, с которого я гордо смахивала заблудившиеся снежинки, висит, дожидаясь безразличного к нему Ленечки. А беспомощный старик, так же, как и Фрида, боится спать один в пустом доме и, как Фрида с портретом, разговаривает с коричневым пальто.

Бедный мой брат, вечный беглец, втянутый за руки в едущий поезд солдатиками-новобранцами. Они спасли его, жалобно визжащего бородатого младенца, от разъяренной стаи собратьев-нищих. Утаил он от них часть своего дневного заработка? Влез на чужую территорию? Или они просто не хотели отпускать на волю звезду своей бродячей труппы? А может, это были вовсе не нищие, а базарные торговцы, у которых он и прежде имел обыкновение пробовать до отвала клубнику, семечки, творог, стоило лишь отвернуться моему бдительному дяде, моей рассеянной тете, моей строгой сестре Кате, моему веселому брату Яше, восхищавшемуся Ленечкиной предприимчивостью и солидным видом, с которым он ходил от хозяйки к хозяйке, вдумчиво жевал и неодобрительно крутил носом. Легкомысленный, не понимал он, что дядя прав, что Ленечку за такие выходки когда-нибудь убьют. И убили бы, если бы не мальчишки-солдаты, захваченные внезапной жалостью к несчастному дурачку, который мог

бы быть отцом одному из них, если бы не скоротечные роды, нянькина оплошность, неудачное имя, коляска, сгнившая доска.

Бедные дети, сиротские лысые головушки! Вырванные с хрупкими корешками из родного дома, они впервые ступили на путь доброты, защищая бездомного калеку, Соревновались в великодушии, спасаясь от собственного страха. Они укутали Ленечку в одеяла, напоили горячим чаем и совали наперебой захваченные в дорогу пирожки, а он их глотал, глотал, глотал, раскусывая надвое и не ощущая запаха и неповторимого привкуса чужого жилья, чужого уюта... Жалобно скулил и отвечал на вопросы что-то невнятное... Славные дети! Они и утром не оставили его на произвол судьбы. Прибыв к месту назначения, обратились в милицию, а оттуда сами же и отвезли... А куда же еще?! Туда. В надежное место, которым пугала его бедная Фрида, когда он отказывался есть ее вареное полотенце, куда давно хотел сдать его разумный и добрый человек — Катин муж, ибо справедливо полагал, что такие заведения для того и созданы, чтобы сделать жизнь подобных людей сносной и неоскорбительной для них самих и их ближних. Эх, не видел выдающийся физик этих заведений! И солдатики не видели. Они почувствовали большое облегчение и радость от исполненного долга, когда сдали своего найденыша с рук на руки симпатичной пожилой женщине, не заинтересовавшейся, правда, ни героическим прошлым их полковника, ни его дирижерской карьерой. Она и более важных вещей уточнять не стала.

Тем бы все и кончилось, не начнись в больнице ремонт. И тогда только, в конце июля, когда стали прикидывать, кого бы из пациентов выписать домой, попробовали узнать у заторможенного моего дирижера, из какого он города. «Дедуктивный метод» сработал: Ленечка знал, из какого он города. Они тут же связались с главврачом славутинской психбольницы, у которого моя тетя была классной руководительницей. Тот вызвался сообщить Ленечкиным родственникам и милиции полученные сведения.

К тому времени милиция дело еще не закрыла, но

отчаявшаяся Фрида уже согласилась ехать со своими плохими детьми в Израиль, более того — уже продан был ее дом. Фридины дети, уставшие от полугода уговоров и скандалов, предпочли бы скрыть от старухи радостную весть, но это было невозможно. Фрида, никогда не умевшая трезво оценивать свой возраст и свято уверенная в омолаживающем воздействии на организм пудры и помады, намазалась сверх своей обычной меры, хозяйственно подоткнула горы грязного тряпья по углам, сварила три кастрюли гречневой каши. Готовилась начать новую жизнь в своем проданном доме.. Не был в восторге и директор Кати, сытый ее отпусками «за свой счет». Многодетная же Галина Кондратьевна, соседка Ленечки — так просто была разочарована. Ей исполком пообещал присоединить Ленечкину половину дома, как только «вопрос решится». И вот оно чем кончилось! К тому же за пятнадцать лет, прожитых Ленечкой у Фриды Аркадьевны, Галина привыкла к чисто символическому наличию соседа и безвозмездно пользовалась его огородом и садом. Конечно, ее можно было понять. Ее и понимали. И втайне злорадствовали. Нарочно заводили Галину, и она расходилась, кричала, что не пустит Ленечку во двор, потому что он для детей опасен. И уж во всяком случае в уборную, поскольку Катя не давала на переоборудование ни копейки... и никаких квартирантов Галина не потерпит — пусть обходятся, как знают... для таких, как Ленечка, строят интернаты, и Катя сама была бы рада, если б он не нашелся, потому как ей «больше всех надоело и только стыдно людей»!

Ну... Надоело... — не надоело, а скажем так: Катя действительно устала. Но дело было не в «людях», а в преобладающем над всеми ее чувствами чувстве долга. Это оно поднимало Катю по первому же звонку Фриды Аркадьевны, заставляло ее выбрасывать на ветер деньги, тащить с двумя пересадками верблюжью кладь, ночевать в промозгом мертвом доме, куда и мыши боялись войти, чтобы сгрызть оставленную месяц назад на столе четвертушку хлеба.

Нет, разумеется, она не желала смерти своему малень-

кому брату-оленю, у которого вечно был какой-то непорядок с трусами, вечно они скручивались у него то вниз, то набок, выставляя что-то лишнее... своему брату-полковнику, которого дядя стыдился, и любил, и обзывал то «Голопопенко», то «Голопопенко», и замахивался на него недоощипанной курицей. Что же тогда? Может быть, за эти полгода поисков Катя пришла к мысли, что беглому Ленечке без них без всех живется гораздо вольнее и счастливее, чем прежде? Катя вспоминала, как убивались родители, уверенные в том, что Ленечка пропадет, лишь только их не станет. И дядя один за другим глотал шарики нитроглицерина, а тетя, вызывая тошноту у окружающих, ела, ела, ела апельсины, веря, как Фрида в косметику, в их чудодейственную способность продлить, поддержать угасающую жизнь. Все ради Ленечки. И что же? Разве Ленечке в мохнатой берлоге Фриды Аркадьевны не было лучше, чем в родительском доме? Никто его не ругал за грязные брюки, не запрещал до отвала есть, не таскал каждую неделю в баню, не исправлял его речь и не смеялся над ним, никогда не смеялся, не сердился из-за нечищенных зубов или развязанных шнурков, не... Лучше, лучше было ему у Фриды Аркадьевны! И порой Кате думалось, что там, куда он сбежал в коричневом пальто и с буханкой хлеба на дне кошелки, ему еще лучше, даром что нам этого не понять.

Может, так оно и было. Может, солдатики тогда ошиблись, и никто не собирался его убивать. Может, те, догнавшие его на полустанке, так же хотели ему добра, как Катя — когда-то, смеясь и плача... — за оленем... Бежали, пытаюсь спасти Ленечку от доброты наивных солдатиков, которые, увы, как и милиция, как и врачи, очерстневшие от чужого горя, не догадались сразу спросить у бедного мужа Терешковой, в каком же он городе-то жил до женитьбы. Не дожидаясь капитального ремонта. Да он бы им не только город — точный бы свой адрес назвал, и адрес Фриды Аркадьевны, и Катин. Да что там адрес! И теорему Пифагора! и сумму квадратов!! и... разное еще, что я забывала, едва слышав дребезжание последнего звонка. Все то, чем бедная моя тетя тешила свое материнское

честолюбие, спрашивая по очереди меня и бедного Ленечку, когда я приезжала в этот город, единственный на свете город, где бывают молодые зеленые шишки, где подсолнухи на огородах изо всех сил помогают светить солнцу, где из каждого початка кукурузы торчит оставленный на память клочок желтоватой седины старой няньки, которая молится за всех нас, и особенно — за солдатиков, протянувших из тамбура детские руки недосмотренному ею младенцу. Молится своей «Матке-боске», а дядя — Карлу Марксу, а тетя — архангелу Михаилу Лермонтову: пусть все эти солдатики, живые и невредимые, вернуться к своим матерям!

Рувим, племянник Фриды Аркадьевны, посланный забрать Ленечку из пятихатского интерната, не додумался уточнить имена и адреса этих ребят, хотя и то, и другое наверняка было зафиксировано в каких-то документах. Он вообще был похож на свою тетку некоторыми странностями: единственным, о чем он навел подробные справки, было коричневое пальто. Хотя мог бы поинтересоваться и гораздо более существенными вещами: куда например, делись Ленечкины зубы и пальцы. Но поскольку на этот счет не было никаких указаний тетки, он сосредоточился на пальто, можно даже сказать, учинил скандал. Его уверяли, что в момент госпитализации пальто на Ленечке не было.

Одежда, переданная Фридой, оказалась на Ленечку невозможно велика. Его хрупкий скелетик кое-как задрапировали огромной рубашкой, квадратные штаны наподобие мешка обвязали веревкой вокруг хребта. Так он въехал в город, мой брат-полковник, съеденный за зиму рождественский боров, с глубоким оврагом в остриженной голове. Шел по улицам, будто принимал парад возвратившийся из плена вождь, отдавал честь одной рукой, похожей на сломанную расческу, и удивлялся и тревожился, почему никто не смеется. Даже девушки, которым он мимоходом предлагал эту самую свою руку и сердце, лишь чуть отстранялись. Они неловко переминались с ноги на ногу, пока он, внушительно и честно глядя им в глаза, обещал, обещал, обещал: «Я женюсь!» А два

солдатика, попавшиеся навстречу, растерянно ему отковыряли.

Одна лишь Фрида Аркадьевна встретила Ленечку как ни в чем не бывало. Если и всплакнула слегка — так только от радости. То ли ей в самом деле представления заменяли реальность, то ли она так твердо верила в свою способность довести полковника до прежней красоты... Она тут же поставила на стол три кастрюли гречневой каши, хотя Рувим сразу уточнил, что Ленечка не голодный, что за недолгий путь от Пятихаток он съел полтора кирпича хлеба и почти килограмм колбасы, купленные в привокзальном буфете для них обоих. На деньги Рувима. Тем не менее Ленечка набросился на Фридину кашу с жадностью. Растирал по небу языком крупные комья и трудно заглатывал. Рувим и себе набрал тарелку, предварительно попытавшись выяснить, в какой из кастрюль каша свежее. Она везде показалась ему чуть подкисшей, но за неимением выбора он поел, давясь под укоризненным взглядом бедного моего брата.

Рувим, все же менее бестолковый, чем старая его тетка, предположил, что Ленечке может быть вредна такая резкая перемена в режиме питания, но Фрида ответила, что он ничего не понимает.

После третьей тарелки каши Ленечка широким жестом отодвинул посуду с края стола и окинул его ласкающим взглядом — так виртуоз, возвратившись из дальних странствий, оглядывает любимый инструмент. Он осторожно приподнял свои испорченные руки и легонько опустил их на стол, как бы пробуя, но стол Фриды Аркадьевны, заставленный тарелками и кастрюлями, и бидонами, и бутылками, и жестянками от прошлогодних консервов, отозвался могучим, прямо-таки симфоническим звучанием.

«Туду-ду-ду  
Дум! дум! дум! дум!» —

вступил Ленечка...

Катя, приехавшая двухчасовым поездом, застала этот концерт в самом разгаре. Остановить полет Ленечкиного

вдохновения не удалось даже Фриде Аркадьевне с ее проверенным средством — четвертой тарелкой каши. Катя, изо всех сил стараясь не срывать свое отчаяние на Фриде Аркадьевне, попыталась объяснить ей, что в данной ситуации перекармливать Ленечку может быть опасно. Но Фрида Аркадьевна сурово отчитала Катю. «У твоих родителей он по два раза в году попадал в больницу, а у меня — за пятнадцать лет ни разу!» Она совсем забыла об Израиле, снова почувствовала себя необходимой и привычно злоупотребляла этим: толковала о возросших ценах, о зимних сапогах, которые перестали налезать на ее ноги. Спрашивала Ленечку, с кем он теперь хочет жить. «С тобой, с тобой, Фрида! Буду жить с тобой! Ты — моя мать, Фрида!» — заводился он минут на пять, как дятел. И бедная Фрида Аркадьевна блаженно праздновала свою победу. Не столько над Катей, сколько над легендарным старичком-пенсионером.

Катя все понимала, Катя была благодарна старухе, но выдерживать ее больше не могла.

Она увела Ленечку в истлевший родительский дом, якобы для того, чтобы прекратить происки многодетной Галины Кондратьевны. Довод был неопровержимый. Фрида отпустила их с условием, что на ужин они вернуться к ней, и тут же грохнула на плиту черную снаружи и изнутри кастрюлю. Перед уходом Катя, к ревнивому удивлению Фриды Аркадьевны, взяла клюку покойного Мирона Сергеича и, задыхаясь от брезгливости, стала ворошить горы слежавшегося тряпья по углам комнаты и кухни. Это была удачная мысль: в самой глубине, как и предполагала Катя, оказались старые Ленечкины вещи более приемлемых для него в настоящее время размеров. Увязанный узелок потащил за Катей Рувим. Идти было недалеко, но бедный мой брат-олень часто останавливался, тяжело дышал. Катя с Рувимом тоже останавливались, продолжали свой бесплодный разговор о квартирантах, опекунах, о Фриде Аркадьевне, которой все равно уже не справиться с Ленечкой, о Яше, который уехал себе и свалил на сестру непосильный груз. Несколько раз, проверяя, отдышался ли брат, Катя замечала его руку, вытянутую вперед разби-

той лодочкой и воровато ускользящую за спину под ее взглядом. Причем улыбка Ленечки, запавшая и отползшая под нос, пугала Катю своим нагло-радостным выражением. Рувим подтвердил опасения Кати: да, полковник просит; сын парторга, исключенного из своей безжалостной партии за блудного сиониста Яшу, сын директора лучшей из трех городских школ протягивает руку за милостыней, стоит лишь на секунду от него отвернуться, причем дают ему охотно и много, так что всегда найдется мерзавец, желающий нажиться на несчастном калеке. И честный Рувим вытащил из заднего кармана пятитысячную бумажку, о которой совсем забыл.

Эта новая проблема оглушила Катю, но не парализовала ее обычную активность. Она тут же занялась проветриванием, стиркой, сооружением брюк особого устройства, ибо бедный мой красавец-брат больше не мог пользоваться пуговицами или молнией. И пока Катя пришивала к его широким брюкам детские бретельки, ей пришлось раз шесть сопровождать в уборную, как бы назло кипящей от негодования Галине, бедного экс-чемпиона города по рисованию лежащих восьмерок на задней стене сарая. Теперь под этой самой стеной стоял мотоцикл зятя Галины, и она не собиралась искать для него новое место. Она бы с удовольствием поскандалила, но здравый смысл взял верх, и Галина предложила Кате деньги. Доводы ее были достаточно разумны; она уверяла, что таких дураков, как Фрида Аркадьевна и Мирон Сергеич, Кате больше не найти, что никакие квартиранты Ленечку не выдержат, да и она, Галина, со своей стороны, не пустит никого за калитку. А за ее деньги можно будет дать взятку и пристроить Ленечку в какой-нибудь подмосковный интернат, у Кати под боком. «И за вещи что-то получишь, — налегала соседка, — чувствуя нарождающуюся в Кате слабость. — Я бы сама купила у тебя зеленый ковер...»

И тут Ленечка, будто бы безучастный к разговору, вскочил с лавки, на которой перед этим ненастойчиво отбивал ритм «Прощания славянки», вскочил и, размахивая своими однопальными руками, заорал с офицерским гонором, что не допустит. «Здесь все мое! — надрывался

он. — Опозорю! Я — хозяин! Я вас выведу на чистую воду перед общественностью!» Рычал, оглушая всех ватным баритоном и бог знает где подобранными словами. Видно, был, был все же старичок-пенсионер, персональный клязник! «Опозорю!» И Катя никак не могла его успокоить, пока не пригрозила больницей и не сделала вид, что идет вызывать «скорую помощь». Она и вызвала скорую, только попозже, ночью, после глупейшего похода к Фриде Аркадьевне, которая весь творог, купленный Катей на ужин, свалила в тарелку Ленечки, насыпала сверху сугроб сахара.

Николай Николаич, дежурный хирург, некогда подготовленный моим дядей к переэкзаменовке по русскому языку, сообщил Кате, что Ленечка эту ночь не переживет, хотя операция и прошла успешно, ибо дело здесь не в устраненном завороте кишок, а в полнейшем истощении всего организма. Вера Савельевна, мать Катиной подруги Нэли, в сорок пятом распределявшая по госпиталям узников Освенцима, уверяла, что подобное видела только тогда, и советовала Кате подать в суд на пятихатский интернат. Николай Николаевич утверждал, что это пустая трата времени, что медицина находится в ужасном состоянии: ни денег на еду, ни лекарств, ни белья, и бесполезно говорить теперь о психиатрии, где и в хорошие времена было неблагополучно, где и прежде не реагировали на то, что больные избивают слабых и отнимают у них еду. Кстати, о еде: неплохо было бы на всякий случай принести для Ленечки кислое питье.

Добросердечная Вера Савельевна взяла это на себя. А Катя всю ночь проплакала в больнице.

Клюквенный морс Веры Савельевны пригодился. В полдень появилась откуда-то еще бутылка. К вечеру их было уже несколько, так что Катя стала раздавать излишки больным из соседних палат.

На следующий день, после того как Ленечка открыл глаза и спросил у Веры Савельевны, пойдет ли за него замуж русская девушка, Катя поспешила домой варить бульон. Газа в старом баллоне давно уже не было. Идти к Фриде не давала брезгливость, да и видеть ее почему-то

не хотелось. Проситься к соседке не позволяла принципиальность. Катя знала, что Галина сама предложит ей свои услуги, и искала, в какой бы форме от них отказаться. Решилось же все замечательно просто: у калитки Катю ждала Маня, мать «юных медиков» Додьки и Оськи. Мучаясь от страха перед Катиной гордостью, она вертела в руках красный термос. «Я слыхала, ему уже можно бульон. Вот. Я только что сварила, свежайший». В больнице Катя застала четыре термоса и три литровые банки бульона. В каждой из них плавала, как в аквариуме, куриная нога. Вера Савельевна не решалась распорядиться передачами без Кати. Она знала только, что один из термосов и лимоны принесли из синагоги, а банку с четвертью курицы притащила старуха из польской общины, где вспомнили, как крикливый мой дядя и мечтательная тетя почти год кормили с ложечки гниющую заживо няньку, недосмотревшую их дитя.

Кате так и не пришлось заниматься едой. Эти заботы полностью взяли на себя польские и еврейские старухи. Все в городе знали об этом, но люди несли, несли, и палата Ленечки была забита термосами, кастрюльками, банками с компотами и супами, котлетами, и вареньем.

Николай Николаевич разрешил давать Ленечке все подряд. Несколько раз он пробовал отключить капельницу — и Ленечка тут же слабел, переставал отвечать на вопросы. Капельницу подключали — и он снова становился полковником и грузином, ухаживал за медсестричками и ел: бульон с фрикадельками, бисквитный торт, рыбную котлету, вареники с творогом, черничный кисель, тушеную картошку с грибами; слизывал красную икру с бутерброда и крем-безе с песочного пирожного. Сжимал в кулаке экзотическое городское лакомство: куриную голову со всеми регалиями на длинной шее, начиненной мукой, печенкой и луком. Разглядывал в упор куриное лицо, задумчиво, как Гамлет, решал, откуда начать... И с благожелательным сожалением следил за тем, как Катя делит, отрезает, выносит чужим людям его кур, его яблоки, его пироги, его сушеную воблу, его грильяж в шоколаде, его соленые помидоры, его маринованные помидоры, его

помидоры в собственном соку. Возлежал, высоко приподнятый на подушках, с капельницей над головой, с зеленым судном под тощими ягодицами. И каждые полчаса Катя вытаскивала из-под него это судно, выносила в туалет и сливала. Струйка воды в унитазе заворачивала космическими спиральями черничный кисель с ягодами, виноград, маринованные грибы, оранжевые икринки... Катя тщательно мыла судно хлоркой и возвращалась в палату. Этим и были заняты ее дни.

Когда Ленечка спал, она составляла письмо, которое собиралась направить в Министерство внутренних дел, в Министерство здравоохранения и в Красный Крест. Катя требовала создать службу, куда должны поступать данные обо всех доставленных в необычном порядке душевнобольных. Иногда она выходила на крыльцо подышать осенним воздухом. Смотрела, как идут по дорожке люди с пакетами и мешочками, несут, несут... так в старом детском фильме лилипуты несли еду Гулливеру. Почти ни с кем из этих людей Катя не была знакома и не здоровалась, хотя знала, что идут они к Ленечке, который, несмотря на капельницу, съезживается и желтеет... и давно уже ничего не ест...

А потом город отнес его на старое кладбище, вырастающее над собственным забором, издали похожее на пеструю свалку камней, венков и крестов. Положили Ленечку между отцом и матерью, вернули им их бедное дитя под гранитную плиту, криво устремленную в небо, как указующий палец моего бедного дяди.

А папино пальто снова превратилось в сукно, под закатным солнцем раскинулось от горизонта до горизонта, и скоро на нем взойдет озимь.

1995—1996 гг.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН  
**ПОКИНУТАЯ РОССИЯ.  
 ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ**

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н.М.Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16. Заказы и чеки направлять по адресу:

Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia. N.J. 07605



Виктория ПЛАТОВА

## ВОЛЬТФАС

«Volte-face» — фр. бук. поворот лица  
 — внезапный поворот лицом к преследующему».  
 Словарь иностранных слов

Я редко страдаю бессонницей. Сны тоже вижу редко, обычно сплю глубоким, как смерть, сном, а уж если мне что привидится, просыпаюсь разбитая, растревоженная дурным предчувствием, что непременно случится что-то — оно тут же и случается. Но в ту ночь я вообще не могла уснуть. С отчаяньем думала о предстоящем дне, в котором не может быть времени для дневного отдыха, но все безнадежней становились попытки привести в порядок разгулявшиеся нервы, отогнать страхи, тянущее душу чувство вины перед мужем, перед семьей, перед моим облупившемся, потрепанным домом. Перед тем, что называется домашним очагом, гнездом — и я его наседка, его хранительница, и у меня нет права на легкомыслие, на

дурное настроение, на каприз, и уж, конечно, ничто в этом быту не предполагало этого бешеного поступка, лишившего меня теперь сна. Я и только я виновата в том, что барахтаясь в темноте, неумолимо тону в мрачной бездне безвыходности — я втравила в эту безвыходность мужа, он пошел у меня на поводу, как слепая лошадь — ни собственной воли, ни собственного здравого смысла. И как мы теперь выпутаемся, неизвестно. Он должен был меня остановить, как мог он с глупым умилением потворствовать разгулу пошлейшей фантазии? Собственно, я и сама в какой-то момент подчинилась чужой воле, меня словно загипнотизировала эта Беллочка — моя зубная врачиха. Пока я сидела у нее в кресле с открытым ртом, она, то сверля мне зуб, то что-то помешивая на стеклышке и вмазывая мне в рот, не смолкая ни на минуту, говорила-говорила и вмазала в самую мою душу всю свою совершенно непомерную, для меня неподъемную страсть к роскоши.

Я вылезла из кресла заболевшая никогда прежде не томившей меня идеей приобретательства. Всю жизнь безразличная к вещам и оттого жившая достаточно беззаботной жизнью (ибо покупалось в доме только необходимое, и то без разбора), я вдруг оказалась во власти мистической жажды обладания совершенно не нужной мне, бессмысленно дорогой, не по мне роскошной вещи. Конечно, несправедливо во всем обвинять Беллочку — крупнотелую, выхолненную брюнетку, с тяжелой, красиво уложенной на затылке косой, с носиком, словно прищипленным за кончик защепкой от белья, и с маленьким, вычурным ротиком. Глупо, конечно, ее обвинять, но я ничего не могу поделать с собой, я думаю именно так: «покуда я раззявила перед ней свою, ничего хорошего не достойную пасть, она вмазала мне в самое нутро эти шкурки каракуля — двадцать штук, набор на шубу по чудовищной, в мире не существующей цене».

«И думать нечего, — говорили ее пунцовые губки. — Это же удача, просто везение: каракуль — это же всегда деньги! Да я только скажи здесь — схватят с руками! Я прихожу в шубе — на меня набрасываются: «Белла, где

взяла? Белла, достань!» Но я не хочу им отдавать. Пусть лопаются от зависти, а вам, моя золотая, сейчас, минуточку потерпите, ничего-ничего, я больно не сделаю... вам отдам, вы будете, как куколка, вы будете настоящая дама — без шубы дамы нет, а в нашем возрасте это уже вопрос: дама вы или нет?! Аденьги — это тьфу! Вы мне еще сто раз спасибо скажете: ваши дети будут носить и ваши внуки (это же каракуль! Закройте рот!)» Я закрыла рот и проглотила твердую убежденность в том, что мне необходимо достать две тысячи. Нет, я никогда не хотела быть «дамой», я знала, что даже, обернувшись каракулевым завитком, в «даму» не превращусь, но дети! Боже мой, внуки! Меня сбила с толку зримая разрозненность шкурок — если бы они уже были сшиты в шубу, я может быть и сообразила бы, что и сейчас моим двум дочкам и одной внучке разом в эту шубу не влезть, придется по очереди, а ведь могут еще появиться внуки и даже правнучки. Но бред есть бред. Если бы я не была в бреду, я бы вспомнила о том, что никогда в жизни у меня не было своей парикмахерши, маникюрши, никогда я не покупаю отрезков, потому что у меня нет портнихи, я ненавижу ходить на примерки, мне пальцем лень пошевелить, даже языком, ради тряпки. Можно ли надеяться, что я когда-нибудь найду скорняка, что эти шкурки с лапками и хвостиками, маленькую отару, бляньне которой так и стоит у меня в ушах, я когда-нибудь смогу превратить в «вещь», которая в свою очередь превратит меня в «даму», а моих детей и внуков в ее наследников? Разумеется, этого и сейчас не случилось. Мало того, нынче, когда я вспоминаю ту бессонную ночь, каракуль катастрофически подешевел, а шубы из него, как похоронная процессия, мрачными рядами висят за спинами продавцов.

Однако, я говорю о скучных низменных вещах: купить-продать, шубки-шкурки — жизнь вообще состоит из низменного, каждый здравый человек это понимает, но можно ли так мелочно, так прозаично унижать свое перо, опускаться в такие вороха свою пишущую руку, только для того, чтобы извлечь на свет божий истинную причину бессонной ночи! Низменное... Вот то-то и есть, что в те

дни, когда мы с мужем изыскивали невероятные способы добыть деньги, ничего неизменного не было — была высокая мечта, было вдохновение! Мне опять хочется все свалить на другого — с больной головы на здоровую — но именно мужем моим, едва я рассказала ему об этих шкурках, овладели мечта и вдохновение — я только позволила ему парить в их вихре. И вовсе не шкурки убиенных барашков составляли суть этой мечты — нет, тут надо обернуться и взглянуть на прожитое вместе бок о бок, плечо к плечу — иначе как бы мы пережили все то, что выпало на нашу долю в последние годы? А выпало много и все сразу. Только к сорока годам мы стали обладателями отдельной квартиры, и я решилась рожать второго ребенка — я всегда хотела его, но не ко времени решилась: в одночасье умер отец. Умер в мае, а девочку я родила в ноябре, говорят, когда является на свет скорпион, кто-то близкий уходит. Бессонный поворот вины и боли... За смертью отца тотчас нагрянула безысходная болезнь мамы. Покуда я, как могла, тянула дни ее жизни, моя старшая дочь на минуточку сходила замуж и тут же, беременная, сбежала от мужа. Мама, беспомощная, полубезумевшая, прикованная к постели! Младшая моя еще тоже в штаны писает, а тут уж ясно, что надо забирать к себе внучку, если хочу, чтобы старшая продолжала учиться, чтобы не обкорналась ее жизнь и вернулась к ней еще не прожитая юность. А, главное, чтобы хоть пару часов в ночь спать совестливым сном, без тревог о появившейся на свет девочке. Ни сил, ни рук не хватило бы, если бы муж мой свои не подставил! Сколько угодно можно говорить о любви, но кто знает, что она такое есть, однако я хорошо знаю, что такое дружество, надежность в беде, преданность в испытаниях. С ним вдвоем, забросив всю остальную жизнь, мы выращивали две маленькие жизни и, как могли, длили ту, что уже была на исходе.

А потом были похороны и такая, все заслонившая усталость, что даже горе не обожгло, а только обдало холодом. И надо было отдавать долги, наделанные за время маминой болезни, благо муж мой художник, работает по договорам, а не по вдохновению, и, сколько может

работать, столько и заработает. Зато я — ни копейки, и старшая дочь даже стипендии не получает — хорошо, что вообще учится. Он работает, как вол, ни от какой работы не отказываясь, чтобы всех нас прокормить — сквозь непроглядный бессонный мрак этой ночи я вижу его примученное вечной гонкой лицо, из другой комнаты доносится до меня его похрапывание, и в нем слышится мне отзвук его сочувствия моим женским тяготам. Он благодарен мне за мир в доме, за старшую дочь, зато, что я заменила ее материнство своим, за то, что не раскисла, — он добрый и ласковый человек, мой муж, а я воспользовалась его добротой, задела в нем струну признательности и теперь корю его за то, что он пошел у меня на поводу, не проявил ни твердости, ни здравого смысла, не сказал мне: «Ты спятила, ну какая шуба, неужели ты не понимаешь: не по Сеньке шапка!» Нет, он даже слов таких, кажется, не знает. Это я теперь говорю: «Не по Сеньке шапка!»

Сначала он обзвонил всех, у кого можно было бы занять хоть пару сотен. Но, как знак судьбы, прозвучало в ответ абсолютное безденежье ближних, и тогда он позвонил одному типу — тот пообещал кое-что разузнать, и на лице мужа появилась загадочная уверенность. Вскоре он объявил, что все в порядке, нужно только придумать, что бы отдать в залог: деньги даст ростовщик под проценты — очень божеские — и под залог. Понятно, что, если бы в это время на нас двоих пришлась бы хоть капля здравого ума, мы тут бы и остановились: драгоценностей у нас нет, в залог отдавать нечего. Но необыкновенный полет мысли разом бросил нас к столику — к маленькому антикварному столику, маркетри в бронзе — единственной ценной вещи в нашем доме, моей наследной реликвии. И вот поздним вечером, уложив детей спать, мы погрузили столик в такси и через весь город повезли его в заклад. Мы едем и очень веселимся, нам смешно от мысли, что в этом городе, а, может быть, даже в целом мире никто не возит столиков в заклад, уж во всяком случае никто, у кого ничего, кроме столика, нет, не стал бы закладывать его ради такой затеи.

И вот теперь я лежу без сна, у меня в ушах, в глазах, во

рту, в легких гул тоски от стыда и безвыходности. И дико мне вспоминать о том веселье — так же, как дико вспоминать о нашем притворном желании соответствовать церемонности и напыщенности ростовщика, об усиллии ничем не выдать отдельности наших жизней от жизни его и его крокодилски-моднючей жены.

В Ленинграде все мало-мальски друг друга знают или друг о друге, и я понаслышке знаю, что этому губатому, шепелявому бывшему плейбою капиталец достался в наследство от папаши, и к пятидесяти годам, женившись на молоденькой уродине, он вынужден к мизерной инженерной зарплате добавлять проценты. Я понимаю, что он не виноват в том, что ни прокормиться, ни одеться на его зарплату нельзя; мы оба — и я и муж благодарны ему, мы ведь и сами затеяли жить не по карману — шубу нам, видите ли, подавай!

«Нет, — говорю я себе среди ночи, — я дрянь, я тысячу раз дрянь!» Среди просеявшейся тьмы я отчетливо вижу, какая я дрянь, нахлебница, иждивенка, провокаторша! Ничем, никогда не помогла мужу, за все годы, что прожила с ним, этой осенью впервые заработала триста рублей — впервые напечатали мой рассказ — один-единственный из вороха исписанной бумаги.

Может быть, эти триста рублей вскружили мне голову? В самом деле, разве я не жду, что теперь, когда один из моих рассказов увидел свет, мне начнут звонить из редакций, приглашать, просить дать что-нибудь и для них? Жду, но ведь знаю же я, что у меня для них ничего нет — я пишу давно, написано много, но я никогда не знала нужды считаться с мнением редакторов и цензуры.

Да, я была вольна в пределах своего дома. По заказам трудится он — мой друг, и товарищ мой верный. А тщеславие свое я надежно сковала, так что и не достанешь — но так ли уж надежно? Не оно ли прорвалось наружу, абсурдно и бессовестно обрета очертания ободранных барашков?!

Конечно, мы расплатимся, даже столик, может быть, не придется продавать, муж будет работать еще больше, он будет недосыпать, усталость навсегда врежется в мор-

щины у глаз, я слишком хорошо представляю себе, как тошно ему делать сотню сухих букварных картинок для издательства «Просвещение», делать их без всякой надежды кого-нибудь просветить ими и без всякой надежды на просвет в подневольной работе...

Ночь, конечно, все преувеличивает, громоздит одно на другое, но разве днем я не испытываю стыда перед ним? Мыть, стирать, готовить, кормить, зашивать, гладить — это не стыдно; это труд, понятный каждому, но сидеть за столом и писать отсебятину, никем не заказанную и не оплачиваемую — этого не имеет права человек, в один прекрасный день решивший превратиться в «даму». То есть, именно «дама» и имеет право писать отсебятину — именно так и выглядит в глазах ее необстиранных ближних все, что она пишет. И я не подхожу теперь к столу, я стесняюсь его и сама себя. А между тем потребность писать никуда не исчезла. Только теперь мне кажется, что всю жизнь я писала не так и не то. Надо выдумать что-то такое, что сразу вдруг понравится всем — и редакторам, и цензорам, и читателям, и режиссерам, и композиторам, и хоть сколько-нибудь мне самой. Задача с тьмой неизвестных!

«Надо заработать немного денег, любой ценой, какой угодно работой, пусть даже безымянной», — уже смутно, сквозь предутреннюю, внезапно наплывшую на меня дрему, думаю я. Мысли мои растекаются, какие-то неясные фантазии утешают душу, и я уже не могу удержаться на краю дремы, мягко соскальзываю в бездну сна.

Разбудило меня нервно-настойчивое дребезжание телефона. Междугородный звонок, подумала я, еще не открыв глаза. Должно быть, мужу из московского издательства — я побежала и успела схватить трубку вот-вот готового отчаяться телефона.

— Приношу извинения за столь ранний звонок. Вероятно, я разбудил тебя? — Он всегда говорил мне «ты», но такой у него голос, таков строй речи, манера держаться, что я всегда отчетливо слышу «вы» — должно быть его жены, его любовницы, его партнеры по преферансу тоже слышат это «вы». Я взглянула на часы: ровно девять! В

квартире тихо, наверное, муж, догадавшись о моей бессоннице, ушел и увел с собой детей, чтобы они не будили меня. Значит, эта история началась в девять часов утра со звонка из Москвы.

— Нет, что вы, — ответила я, сколько могла бодрым голосом.

— Тебя, должно быть, удивляет мой звонок? — Нет, он не слишком меня удивил: за четверть века нашего знакомства раза три-четыре ему случалось звонить в наш дом. Это значило, что ему нужно навести справку, узнать чей-либо телефон. И всегда при случайных встречах он тоже говорил мне «ты», а я, всегда отвечая, сбивалась с «вы» на «ты» и, наоборот.

Вообще, голос его невозможно не узнать — это не просто голос, это часть облика, это инструмент, но вовсе не музыкальный, а скорее хирургический — от него веет холодом никеля, он проникает в вас так, как если бы он находился в руках опытного нейрохирурга. Он настораживает и вместе с тем импонирует вам — услышав его, вы тотчас же перестраиваетесь на некий, несвойственный вам лад, вы немедленно вступаете в какие-то еще не известные вам, но наверняка корректные отношения с этим голосом.

Мы знакомы очень давно, но как-то стороной. Впрочем, мы с мужем бывали пару раз у него дома еще в ту пору, когда он был ленинградцем. Уже став москвичом, он приехал в Ленинград с новой женой, и кто-то привел их к нам, но наше знакомство так и осталось опосредованным — через кого-то, через что-то, через его интерес не к нам, а к кому-то или чему-то. Очень возможно, что такое ощущение возникало и у других его знакомых, может быть, даже у его жен, у его любовниц.

Помнится, в молодости я всегда завидовала его любовницам. Мне в моих романах всегда недоставало игры, условности, внешней формы: меня огорчали скоропалительность их развития, когда все ясно, но что ясно, когда ничего не ясно, но уже неинтересно. Мне не раз случалось наблюдать его невысокую подтянутую фигуру, увенчанную некрасивой головой пасхального болванчика, будто

кто-то к яичной скорлупе приклеил немного волосиков, оставив лысину, перекатывающуюся в обширность лба; приклеил крепкий нос, наметил глаза да рот, но смешно не получилось, и бросил расцвечивать. Получилось уныло, зато многозначительно!

Его походка, манера держаться отличалась той особой мышечной свободой, которая спортсменам и балетным — каждому на свой лад — дается как результат уверенности в своем физическом великолепии, в то время как человек, когда-то ощутивший себя некрасивым подростком, стремясь победить сковывающую его застенчивость, вырабатывает эту свободу движений умственным расчетливым усилием.

Наблюдая где-нибудь в ресторане Дома кино или на «Крыше» в Европейской, как он проводит к столику свою спутницу, как усаживает ее, всегда некрупную хорошенькую блондиночку, делает заказ официанту и тотчас уходит в беседу, я всегда с завистью думала: ну о чем же все-таки он с ней беседует? Блондиночка, конечно, славенькая, кажется актрисуля из третьезрядных. Со счастливым обалдением в лице она норовит то привскочить, то помахать кому-то, озирается по сторонам, но в конце концов тупится в тарелку — должно быть, он объяснил ей, что это моветон — он ведь знает, с кем имеет дело, но знает так же, что властен это сырое и податливое лепить на свой лад. «Я могу из горничных делать королев!»

Мне почему-то всегда хотелось, чтобы кто-то что-то стремился сделать из меня. Я завидовала до тех пор, пока одна из мордашек, брошенных им с ребенком, не кинулась в лестничный пролет. Тогда много говорили об этой истории. И страшным холодом стало веять от одного его имени. Но странное дело: даже то, что он не только не усыновил осиротевшего ребенка, но никогда никакого участия в нем не принял — даже это осталось за чертой обсуждения, словно плавным жестом его долгопалой руки отведенное в сторону. Скоро он заставил говорить о другом — мне кажется, он всегда знал, что он именно тот человек, о котором люди обязательно должны говорить, — стало быть, ему только и остается срежиссировать, о чем

им говорить, а что забыть намертво. В довольно короткий срок он дал обильную пищу толкам — вот только что вышел на экран фильм по его сценарию в соавторстве с одним очень крупным деятелем — как он до него добрался?

— А вы смотрели фильм? Ничего особенного, но занятно: о разведчике, да, о нашем шпионе.

А вот, едва увлекшись антиквариатом (на гонорар от фильма, должно быть?), он тотчас прослыл одним из самых ловких менял, вот уж он не ленинградец, а москвич, нет, и жена с ним переехала, немного позже пришли слухи, что он ее, уже немолодую, бездетную, бросил. Но, боже мой, она же ему никогда не мешала, кто бы подумал?

— А знаете на ком он женился? На дочке дипломата, она уже ребенка ждет!

— А как же та?! Вот бедняга!

— Ну нет, он с ней с прекрасных отношениях. Весь антиквариат оставил у нее!

— Неужели?

— В сущности живет на два дома.

— А как же та?

— Он обеих держит в руках: чуть что: «Цыц, не дам ни копейки!» И они обожают друг друга.

— Ин-те-ресно...

Время катило ком сплетен, он рос, то обретая вовсе легендарные очертания, то вдруг проглянет реальность, да еще тут же явится миру прямое подтверждение в виде много-много серийной телевизионной постройки из давно забытого комсомольского романа; тогда чье-то зависливое: «Он входит в десятку самых богатых людей!» — вас не удивляет, даже внимания вашего не задело бы, кабы тут же не услышали: «А знаете, на ком он женится?»

— То есть, как? А та?

— Ни та — ни эта! Он на голландке женится!

— Интересно...

— Тихо-мирно, без лишнего шума: внушил, что это всем будет выгодно: будет ездить туда-сюда, шмотки возить... то-се...

— Ин-те-ресно...

Это было как раз последним, что докатил до меня ком

сплетен, и поэтому, когда я услышала: «У меня к тебе деловое предложение», — мысль о том, что муки и упования бессонной ночи оказались вещими, как бывает вещим сон, выстрелила в мозг, и я замерла у телефона.

— К сожалению, я сейчас болен, времени у меня мало, в ближайшие дни я уезжаю и надолго. Поэтому, если тебя интересует мое предложение, ты должна буквально сегодня-завтра выехать в Москву.

Я не спросила, что за предложение. Я могла спросить, и он мог мне ответить: «Это не телефонный разговор». Но я не спросила.

— Сейчас нет мужа, он придет, и я выясню, смогу ли я приехать.

— И сразу перезвони мне по номеру... Это квартира моей первой жены — болею я, естественно, у нее. «Естественно» — с многозначительной усмешкой.

Я повесила трубку и села. Я сидела так до самого возвращения домой лучшей, благороднейшей и нежнейшей части семьи. Слышу детские голоса, понимаю, что надо идти, помочь им раздеться, но сижу, как села — у телефона.

— Что с тобой? — спрашивает муж.

— Знаешь, кто мне звонил? — говорю я. — Из Москвы... Да. И предлагал мне работу.

— Да ну? Дети, перестаньте орать, видите, нам с мамой поговорить нужно? Какую работу?

— Он же на голландке женился: наверное, у него есть договор, а он уезжает и, должно быть, хочет нанять меня, понимаешь?

— Ин-те-ресно! Он так и сказал?

— Нет, он ничего этого не говорил. Он сказал, что у него ко мне деловое предложение и я срочно должна приехать в Москву. Но какое у него может быть ко мне деловое предложение? Я не спросила конкретно — это не телефонный разговор.

— Да... В общем-то конечно: у тебя вышел рассказ, так что вполне может быть...

— Он сейчас болен и сам приехать не может. — Мне немного понадобилось слов для того, чтобы через десять

минут родной мой уже звонил приятелю и просил у него сто рублей в долг мне на дорогу — приплюсуем их к гигантской сумме, тяготеющей над нами. Но ведь я теперь заработаю, я соглашусь на все, я буду работать, я недрожащей рукой выполню любой заказ — ведь ездила я же на стройки, писала очерки, за жалкие, ничего не оправдывающие гроши — а тут пожалуйста, пусть даже авторство мое будет анонимно — это даже лучше, это поможет мне отстраниться, что угодно переделать во что угодно, выдумать то, что я сама выдумать не могу, исполнить чужой замысел, каким бы далеким от меня он ни был..

Через каких-то полтора часа я уже могла перезвонить в Москву и сказать, что выеду завтра, значит послезавтра.

— С вокзала прямо сюда: тебя будет ждать великолепный завтрак и деловая беседа, — и он продиктовал мне адрес.

Тут я сделаю небольшое отступление.

Когда-то я написала рассказ, так и оставшийся моим любимым рассказом. Имя его героя осталось моим любимым именем. Он вовсе не был хорошим человеком — этот герой — ущербный, с неполучившейся жизнью, с ничтожной мечтой, приведшей его к гибели, такой же убогой, какой была вся его жизнь, если бы только смерть не была всегда возвышена относительно любой самой жалкой жизни. Но все равно я, создавшая его, прошедшая с ним весь путь из детства к небытию, любила и жалела его. Я скорбела об уродстве его детских лет, видела, как неумолимая реальность вела его к концу — сам он был для меня только жертва этой реальности. Он погиб в конце придуманного мной рассказа, и я навсегда храню в сердце память о нем. И мне дорого его имя. И если бы я и теперь предавалась вымыслу, я никогда не назвала бы своего героя тем именем. Но здесь нет места вымыслу — это только хроника, запись реально происшедших событий.

Я сама согласилась стать одним из главных действующих лиц этого рассказа ради все той же неподдельной реальности — но мое имя неизбежно известно читателю, а вот что делать с именами других действующих лиц — не

знаю. Ясно одно: я не имею права называть их настоящих фамилий, но с фамилиями как раз дело обстоит проще: я позволю себе по мере надобности позаимствовать их у любимого мной писателя, настолько большого писателя, что, будь он жив, он никогда не обиделся бы, только посмеялся бы над моей дерзостью. А вот с именами дело обстоит хуже. Кому-то можно дать какое попало имя, кто-то и вовсе обойдется, однако имя главного героя мне не измыслить. Вернее, мне не отторгнуть его от реального имени, тут все мое нутро протестует, как я ни стараюсь, какое бы ни пыталась прилепить ему имя — тотчас его голова отскакивает от туловища, и он получается уже не он. Остается одно: дать ему фамилию Шишнарфиев и избежать упоминания его имени, или нет, пусть будет имя, пусть оно останется тем самым, которым его еще маленького, с легким детским пушком на головке, с сопливым носиком, переваливающегося на нетвердых ножках окликала мама: «Саша! Сашенька!»

Итак, решено, Саша, завтра я сажусь в поезд — само по себе великолепно, что послезавтра мне не надо будет варить детям геркулесовый клейстер, караулить молоко — оно все равно всегда убегает из кастрюльки и пятном неудачи запекается на плите, мне ничего не надо будет мыть и скрести — мне обещан великолепный завтрак и не менее великолепная беседа.

...Я точно знаю, что это был субботний день, но сейчас не буду говорить о том, что не дает мне сбиться, — это само собой станет ясно в дальнейшем; тогда же, войдя в его подъезд, я просто ощутила, что за всеми дверями еще спят, нежатся в сладком предутреннем сне, потягиваются — каким-то постельным теплом пахнуло на меня на этой безлифтной лестнице, как-то еще осторожно, боясь разбудить хозяев, тьякали на меня из-за дверей невыгулянные собачонки, а на последнем, пятом этаже я, здорово запыхавшись, позвонила и услышала шарканье, шлепанье, побряхтывание и неузнаваемый, а только что-то отдаленно напоминающий надтреснутый голос предупредил:

— Извини, я не одет.

Дверь распахнулась, и я мгновенно и сильно обомлела:

в болтающейся, просторной так, что можно в нее дважды обернуться, пижаме стоял передо мной желтый, ссохшийся, как старый пергамент, источенный болезнью, как-то оседающий на зыбкие колени Саша. Я так и уставилась на ушедшие в глубину придерживаемой руками пижамы желтые ребра, потупилась и увидела желтые беспомощные ступни, сунутые в стоптанные шлепанцы — чуть было не отпрянула, не убежала, но в это время услышала:

— Да заходи же! Вот, прости, хвораю, но, думаю, это не помешает нашей беседе... быть занятой...

Кажется он понял, что потусторонним, ужасающим, как само явление гибельности, предстал моим глазам. Но уже знакомая ироническая улыбка скользнула, искривила рот, и прозвучало неперемное, обязательное, как галстук — на сей раз вместо галстука;

— Меж тем, ты выглядишь замечательно, похорошела!.. Прости, я сейчас разбужу хозяйку, я должен лечь, ты пока приводи себя в порядок с дороги, чувствуй себя как дома. — Он все-таки нашел в себе силы принять мое пальто, повесить его и отправился в комнату, дверь которой выходила в прихожую. Не слышно распорядившись там, он прошаркал мимо меня в другую комнату, скрытую углом прихожей.

Я много лет не видела его первой жены — я назову ее Варварой, — но ни ее скошенный и теперь вросший в раздавшуюся шею подбородок, ни брылями обвисшие щеки уже не произвели на меня ни малейшего впечатления. Кутаясь в стеганный нейлоновый халат, она мельком скользнула по мне еще мутными со сна, заплывшими глазами, сказала: «Ты пройди к Саше». И ушла на кухню. Но мне не хотелось к Саше! Я бы с удовольствием пошла с ней, я бы сама им обоим приготовила завтрак и подала бы в постель, я бы уж лучше целый день, пока не придет время бежать на поезд, готовила, мыла бы, подавала и уносила бы, а на кухне нервно курила бы сигарету за сигаретой, но только бы не сидеть там у его постели, не зная, как спрятать, чем прикрыть сквозящий ужас безнадежности. Но, призвав на помощь все свое мужество, я нарочито храбро, как-то даже по-военному, даже отмах-

нув желание попасть в уборную и ванную, вошла к нему и удивилась не меньше прежнего.

Да, пожелтел, похудел, и пижама на нем все та же, но совершенно непонятно, каким образом уже обрел всегдашнюю свою импозантность, и никакая потусторонняя тень уже не касалась его чела, отнюдь: выражение деятельной заинтересованности в сочетании с принятой им удобной и вместе с тем изысканной позой посередине огромной четырехспальной кровати — карельская береза, старина, Павел Первый! — все отражало уверенность и благополучие, призывало к спокойствию.

Однако, не так-то просто. Что-то такое я пробормотала вроде того, что, дескать, сейчас уже не так чтобы... И обволакивая меня, проникая в меня хорошо настроенным голосом, Саша объяснил, что у него болезнь желчного пузыря, что да, он потерял двенадцать килограмм. На днях его покажут известной целительнице и диагностке Джуне, но в смысле диагноза он ничего нового услышать не опасается, потому что ему уже лучше, а от операции, очевидно, отвертеться не удастся. Однако, мне должно быть известно, что он собирается в путешествие.

— Прикрой поплотнее дверь, извини, что пользуюсь правом больного и вынуждаю тебя ухаживать за мной. Видишь ли, ни Варя — человек мне очень преданный — ни Лиза! Кстати мы с тобой сегодня у нее обедаем. Я собираюсь сегодня встать — само собой разумеется, никто другой не должен быть посвящен в содержание нашей беседы.

Эту преамбулу, как и все дальнейшее, я запомнила чисто механической памятью. Внутреннее мое участие в беседе шло совершенно вразрез всему произносимому, во всяком случае в тот момент, когда он говорил, что ему уже лучше — мрачная мысль о том, что все так говорят, и никто крепче безнадежных больных не надеется, — провернулась во мне и затмила все прочее.

— Ты извини, — он еще ничем не затруднил меня и мог бы так часто не извиняться, но мысль эта осталась невысказанной, потому что последующая фраза успела исключить всякое высказывание с моей стороны.

— Я знаю, ты сама любишь и умеешь поговорить, но сейчас тебе придется совершить над собой небольшое усилие и по возможности терпеливо меня выслушать. Готова ты к такому построению нашей беседы? — И легкая улыбка, и ей в ответ мой молчаливый кивок: мечтала же, чтобы кто-то из меня делал что-то, и вот — пожалуйста!

— Так вот, прости, я должен встать! — Еще одно извинение и улыбка, перекроенная в гримасу страдания, глаза, затянутые болью внутрь. Покряхтывая, он доплелся до стола и сделал несколько жадных глотков из горлышка большой аптекарской бутылки с прозрачной жидкостью.

— Новокаин, — объяснил он, — болеутоляющее, сейчас пройдет... Лизкина сестра достала... — И я увидела, как быстро, готовая истаять, порция бодрости пополнилась и на моих глазах затвердела. Уверенно и как здоровый, он вернулся к кровати, принял прежнюю позу, по-турецки уложив ногу на ногу, а я вся превратилась в слух.

— Так вот: разумеется, тебе это неизвестно, но уже много лет я работаю, пишу эссе, статьи для западных издательств. Это не слишком трудно — дело только в несколько ином освещении, ну скажем, судеб русских модернистов — если это статья об истории русского модерна, — словом надо знать, что может интересовать западного читателя и соответственно подавать материал. И, как видишь, совершенно безопасно: конечно, я не подписываю статьи своим именем и, к сожалению, оно на Западе никому неизвестно. Но даже, если бы и было известно, совершенно очевидно, что там пробавляться такими статейками — это совсем не то, что писать их, сидя здесь. Теперь я (напоминаю: только тебя и никого больше!) хочу посвятить в свои планы на будущее. Ты знаешь: я женился на голландке и вот уезжаю, как предполагается всеми, в том числе и Варей и Лизкой, на три-четыре месяца. Варе я, правда, сказал, что если мне удастся там сделать операцию, то я продлю срок своего пребывания до восьми месяцев. Конечно, если уж делать операцию, так только там — здесь при всех связях, при том, что я могу лечь в самую лучшую клинику — шансов выжить после

операции практически нет: все московские клиники заражены стрептококком. Можешь себя представить, если сыну лауреата Ленинской премии, героя Соцтруда и т.д. вскрыли чирей на голове и внесли инфекцию — через три дня он умер — что можно ждать после той операции, что нужна мне? Варя это понимает, и Лизка тоже. Но тебе я скажу больше — я, вообще, не собираюсь возвращаться. Во всяком случае, я хотел бы иметь возможность не возвращаться. Но ты, наверное, сама догадываешься, что мой брак, если и не вполне фиктивный, то и не вполне сложившийся в нерасторжимую семейную связь, с женщиной хоть и достаточно обеспеченной, но только по нашим нищенским понятиям богатой, — не дает мне права рассчитывать на ее средства, необходимые на операцию, санаторий после операции, и вообще, на жизнь. Я не привык быть зависимым от кого-либо здесь и не хотел бы этой зависимости там. Одним словом, я должен обеспечить себе возможность безбедного там существования. И как это ни странно, я понял, что лучше всего мне решить эту проблему, находясь еще здесь. Из всего, что я на сегодняшний день имею, я ничего не могу вывезти. Единственное, что имеет смысл здесь продать со всей возможной выгодой, — это некоторые — я не склонен к преувеличениям — мои способности. Я имею в виду литературные способности. И представь себе: покупатель нашелся. Покупатель, заказчик, продюсер — как угодно — но человек, готовый заключить со мной договор на многосерийный фильм для израильского, не будем стесняться этого слова, Тель-Авивского телевидения. Казалось бы, все устроилось, как нельзя лучше: я уезжаю, пишу первую-вторую серии, исполняю условия договора и в качестве нормального миллионера начинаю благополучное существование в любой удобной мне западной державе. Потерпи еще минутку — я вижу твое нетерпение: сейчас тебе все станет ясно.

Он ошибся: то, что он принял за нетерпение, было ошеломлением! Голодное нытье под ложечкой, надежда на приятную (вовсе не такую бесправную) беседу за завтраком, тоска по сигарете — все решительно раство-

рилось и туманом окутывало мои ошеломленные мозги. Убийственно далеко Сашины планы лежали от моей маленькой надежды легкой наживы путем экранизации романа «Жатва», «Битва», «Новь» или «Бровь» — все равно какого! Я молчала не потому что согласилась молчать — я онемела!

А он продолжал:

— Сейчас ты поймешь, причем здесь ты и зачем я тебя вызвал. Видишь ли, я сказал, что мне удалось выгодно продать свои способности. Должен признаться, я их продал слишком выгодно: как человек, относящийся к себе вполне здраво, я признаю за собой профессионализм, умение кое-что делать. Но все это не стоит тех денег, на которые можно рассчитывать — такие деньги платят за талант. У меня его нет — он есть у тебя.

Вот слова, резко вытолкнувшие меня из оцепенения.

... Этой зимой на выставке одной очень старенькой ленинградской художницы, уже побродив по залу и наглядевшись на смутно-грустные пастели, мы вышли куда-то под лестницу, где уже толпились курильщики, все больше восхищающиеся преклонным возрастом художницы, нежели ее работами. Муж с кем-то стал спорить, говорить о верности теме и в это время к нам присоединился абсолютно некурящий молодой человек, с большими ушами, поклонник всех искусств, гость всех сколько-нибудь примечательных дней рождения. Обладатель великолепной памяти, он звонил, поздравлял и оказывался приглашенным — случалось и мной — но годы знакомства ни в дружбу, ни даже просто в расположение не превратились, а так и оставались только знакомством. Даже с легкой примесью неприязни. При всем том он слывет большим интеллектуалом, знатоком чего-то такого, чего никто другой не знает. Но главное за ним числится какой-то поступок — в точности не известно какой, но доподлинно известно, что именно этот поступок прервал его блестяще начатую карьеру, помешал идти по дорожке, проторенной знаменитым, много преуспевшим отцом, и, более того, навсегда поссорил папу с сыном. Это обстоятельство создало ему репутацию человека чрезвычайно порядоч-

ного, и она успешно уживалась с его «Жигулями» (при многолетней безработице), с его гастрономическими изысками и папиной дачей в одном из наиболее уважаемых ленинградских пригородов.

Большеухого молодого человека с маленькой головкой и по-лягушечьи растянутым ртом я, как нетрудно догадаться, назову Аблеуховым-младшим, хотя в моем рассказе роль ему зримо отведена самая небольшая. Так вот, подойдя к нашей компании, молодой Аблеухов соединил в любезнейшей улыбке губы с ушами и, всем корпусом устремившись ко мне, сказал:

— Я о вас наслышан чудес! Вся Москва говорит о том, что вы замечательная писательница!

— Да бросьте вы! Какие глупости! — прервала я с тем ерническим, которым всегда старалась скрыть горячую волну прихлынувшей к голове радости, едва услышу похвалу своим практически не видимым миру трудам. Эти выхлопы придушенного тщеславия всегда смущают меня до полного помутнения в глазах, и я панически стараюсь скрыть, смазать, но только не выдать свое состояние. Но когда рядом стоит мой муж, друзья, привычная обстановка, сигарета в руке — отчего ж тогда не найтись? И я, все так же ерничая, отвечаю:

— Чем всякие глупости говорить, уж лучше, миленький, пригласили бы меня погостить на дачу.

Я знаю, что после ссоры с отцом он съехал с ленинградской квартиры и постоянно живет в огромном загородном доме, комфортабельном двухэтажном замке.

— Что может быть проще и вместе с тем приятнее для меня!

«Миленький» как-то еще определенной сломился в корпусе, и я уже готова была отмахнуться от его на самом деле вовсе нежданного гостеприимства, как вдруг услышала:

— Тем более, что я уезжаю в Москву, и дом будет пустовать недели две-три.

Это решило дело — слишком долго у меня перед тем болели дети, слишком они были серенькие, блекленькие, как те пастельки, что мы только что рассматривали.

По договоренности, наш приезд совпал с его отъездом. Он спустился со второго этажа, муж помог ему отнести в машину множество каких-то коробок, и он передал мне ключи со словами:

— Убедительная просьба: никогда не оставляйте дверь открытой. Даже если вы дома. Обязательно держите ее на цепочке. Кто бы из каких организаций, то бишь органов, ни стал ломиться — ответ один: хозяина нет, я вас впустить не могу! Вообще я очень рад, что мне не пришлось оставлять дом пустым.

Помнится, я механически подумала о том, что, уж если придут из органов, вряд ли мой домработницкий ответ их остановит, но точно, что наставление показалось мне шуточным, однако двери справно запирались, и две недели прошли дивно: дети перестали кашлять, порозовели, мы надышались на весь остаток зимы и благополучно разминулись с хозяином, оставив ключи и благодарственную записку в условленном месте за два часа до его возвращения.

А зачем, собственно, я рассказываю об этих случайных каникулах? Ах, да! Вот что: я вспомнила о них потому, что в то субботнее утро, с трудом разомкнув слипшиеся связки, хриплым, не своим голосом спросила:

— Откуда ты знаешь о моем таланте?

Чудная, смущенная улыбка человека, говорящего от глубины души приятные сокровенные слова другому, осветила Сашино лицо, и даже румянец пробился сквозь пергаментную желтизну щек.

— Ты меня удивляешь! Я читал сам, кроме того, знаю мнение двух наших едва ли не лучших писателей. Поверишь ли, я человек, нелегко поддающийся очарованию дамской прозы, но ты обладаешь магической властью вести за собой. В том, что ты делаешь, есть та самая способность видеть изнутри, одним точным штрихом нарисовать живой мир из плоти и крови, есть та щемящая нота — словом, все то, что совершенно недоступно моему скромному дару и без чего нельзя создать маленький, тесный и теплый мирок еврейской семьи: разочарования, бушующие страсти — осуществить ту часть замысла, кото-

рую надо писать только так, как это можешь ты! Разумеется, это только часть общего — остальное я возьму на себя. Все, что касается чистой публицистики, исторически достоверного материала, крупных общественных фигур, не говоря, конечно, обо всех организационных делах. Но мне нужен твой талант!

— А им? Что им нужно?

— Конечно, это всего лишь схема, но примерно это должно выглядеть так: черта оседлости, маленькое местечко, отсюда, из тех предреволюционных лет начинается история одной семьи, клана, история разрушения патриархального быта, революционного бунта, возвышений и падений. Мы должны провести наших героев через гражданскую, через коллективизацию, через тридцать седьмой год, через войны, через дело врачей-вредителей — вплоть до отъездов, до Исхода и увидеть уже даже не внуков, а правнуков тех, кто когда-то начинал взрывать мир. У меня есть идея: их будут играть одни и те же актеры, — но уже в джинсах, уже у стоек баров, снова бунтующие, снова стремящиеся все поджечь, взорвать. Общая идея такова: не надо! Вы уже один раз породили гидру, железные челюсти, которые вас же перемалывали! Вглядитесь в страшный опыт своих отцов и дедов и поймите — больше ничего взрывать не надо! Причем самые разнообразные судьбы: кто-то был расстрелян, а кто-то расстреливал, кто-то превратился в так называемого «государственного еврея», но рано или поздно и он оказался обречен, есть такой великолепный тип идеалиста, полного идиота: я знаю потрясающую историю человека, который до войны сидел, во время войны получил Героя Советского Союза, но после войны опять сел, вышел в пятьдесят шестом, ничего не поняв, точно таким же фанатичным идиотом.

— Да. У меня самой семнадцать лет отсидела тетка, вышла и первым делом спросила меня: «Ты комсомолка?» Я говорю: «Тетя Фира, сейчас только порядочные люди не комсомольцы, а я как все» — мне было восемнадцать лет, и я была очень беспощадна. Она в крик: «Я не верю, что тебя воспитал мой брат!»

Саша задел во мне одну из самых звучных струн, его замысел взволновал меня.

— Вот: ты сама все это прекрасно представляешь! Каждая серия — одна законченная новелла.

— Ты знаешь, у еврейских мальчиков совершеннолетие в четырнадцать\* лет: в этот день старший брат моего отца перед всей мишпухой произнес речь на древнееврейском языке, в которой он должен был изложить свою жизненную программу. Это была его первая революционная речь, он клялся посвятить свою жизнь борьбе с эксплуататорами. Можешь себе представить, какой произошел скандал! Родственники разбежались, а дедушка кричал: «Вейзмир! Что ты со мной сделал, разбойник!»

— Великолепно! — Неподдельное удовольствие озарило Сашино лицо, его желтые, вялые руки, прогибаясь наружу, будто они лишены суставов, беззвучно аплодировали мне. — Это центральный эпизод целой серии!

О голоде я забыла совсем, но курить от возбуждения хотелось еще сильнее. Вообще эта невозможность при нем курить действовала на меня как-то странно, словно бы не давала способа овладеть собой, чем-то пригасить возникшую взвинченность. А он продолжал:

— Как видишь, я не ошибся: ты именно тот человек, который сможет скомпенсировать мой сухой профессионализм. Это будет широкое эпическое полотно, и в нем должны действовать крупные исторические фигуры — к примеру, Троцкий — но ты не пугайся: это как раз я беру на себя. Ты будешь делать только то, что лучше тебя никто не смог бы сделать. Конечно, работа потребует большая — я имею в виду подготовительная работа — тебе придется много ездить, побывать во всех еще сохранившихся провинциальных местечках, придется знакомиться с людьми, как-то входить к ним в доверие, расспрашивать — словом собирать материал.

— Саша (в эту минуту мне показалось, что я овладела своим взбудораженным сознанием), Саша, скажи мне, как же при том, что ты уезжаешь и даже не собираешься возвращаться, тебе представляется возможность совместной работы?

\*В тринадцать — Д. Т.

— Ну, это как раз самое простое: мы в общих чертах оговариваем объем твоей работы, и ты начинаешь собирать материал. Что-то небольшими порциями ты пишешь — пусть это будут совершенно разрозненные куски, неважно, но все написанное ты пересылаешь мне. А уж остальное — моя забота.

— Как пересылаю?

— Разумеется, не по почте. Есть три канала, которыми ты будешь пользоваться: небезызвестный тебе Флейш, Аблеухов и Морковин. Он, кстати, будет служить для тебя основным источником информации. Ты знакома с ним?

— Да нет... Только понаслышке от Флейша... или от Аблеухова... — странная мысль шевельнулась в голове и на минуту замедлила происходившее в ней кружение. Жить в бешеном темпе скачущей, возбужденной фантазии было в тысячу раз приятнее, и я отогнала ее. Уже отлетая от меня, она, видно, все-таки коснулась Саши и потребовала от него кое-каких объяснений:

— У него есть доступ к любому закрытому материалу, одно время он работал в Ленинской библиотеке, у него остались там связи. Ты сможешь получать через него и любую выходящую на западе литературу. Но думаю, что поездка в Биробиджан для тебя будет гораздо полезнее, чем вся литература вместе взятая.

— Саша, — опять маленькая заминка в трепещущем сознании, — я же очень прикована к дому...

— Ты все-таки не поняла, как должна измениться твоя жизнь с того момента, как ты дашь согласие на наше соавторство! Прежде всего — полное финансовое расширение! Кстати, поскольку тебя вызвал, всё связанные с поездкой расходы мы делим пополам. Варя!

— Сейчас, завтрак уже готов, я только переоденусь, — отозвалась Варя, но дело было не в завтраке.

— Варя! — с настойчивостью дрессировщика повторил Саша, и она тотчас появилась в дверях.

— Пожалуйста, принеси двадцать пять рублей.

Сердце мое в это время проделало несколько болезненных скачков. Но к тому моменту, когда Варя вышла из комнаты, успело занять свое место:

— Это невозможно, — сказала я, глядя себе в колени. — Я приехала потому, что хотела приехать...

— Не говори ерунды! Что за провинциальные ужимки: я деловой человек: вызвал тебя, считай, в командировку и как минимум обязан оплатить тебе дорогу. И имей в виду: когда я уеду, ты будешь у Варвары получать все требуемые суммы, включая расходы на бонну для детей, а после первых же переданных мне материалов твой муж сможет навсегда расстаться с заказной работой, перейти на твое иждивение и заниматься свободным творчеством.

Четвертак уже лежал у меня на коленях. Почему я не смахнула его? Просто твердой рукой не вернула Варваре? Может быть, потому, что в моем мозгу метались, налетая друг на друга, долги, шкурки, заложенный столик, сотня, занятая на дорогу, — и все это вперемешку с развалившейся на куски надеждой хоть что-нибудь заработать своим трудом.

Что-то грубо-глупое было в этом четвертаке. И я не понимала, почему Саша с такой убежденностью говорит:

— Вы, провинциалы, поразительно умеете создавать мелочные, неловкие ситуации, в то время как всего-то и требуется: понять суть деловых отношений и спрятать деньги в сумочку.

Чувствовала, он зазря меня шельмует, но не нашла в себе сил не то что превзойти, а хоть как-то уравновесить его барствленную уверенность и свою нищенскую суетливую добропорядочность. Я принесла ее ему в жертву и положила четвертак в сумку.

— Сашу нельзя волновать, — донесся из кухни голос Вари. — Кончайте торговаться и идите завтракать.

Положив деньги в сумку, я достала наконец из нее сигареты, но надежда на то, что сигарета вернет мне ощущение комфортности, не оправдалось, так же как и надежда на приятный завтрак. По тарелкам была разложена пшенно-тыквенная каша (о, если бы просто пшенная!), а посередине стояла литровая банка, наполовину наполненная зернистой икрой.

— Сделать тебе бутерброд? — спросила Варя, достала из банки столовую ложку икры и протянула ее Саше. —

Икра — это кровотворное, — объяснила она. — При его гемоглобине необходимо две ложки в день.

— Нет, спасибо. Мне бы чашечку кофе и, если можно, я закурю.

— Кури, конечно, только в форточку: Гарри не любит дыма. Да, Гарри? Ты не любишь дыма?

И Гарри — большой, с локоть величиной, цветастый попугай (как я могла говорить о тыквенной каше и умолчать об этом чуде в клетке, занимающей всю середину кухни?) ответил хозяйке из утробы вырванным криком, будто я не курить собиралась, а пытать его калеными щипцами. Потом он еще несколько раз издавал этот адский вопль, очевидно желая мне доказать, что он, единственный среди обилия вещей в квартире (пусть даже более ценных!) — живой! Словно его мучила мысль о том, что его, так неуклюже выставленного посреди кухни, сочтут просто имуществом. Но в то же время крик этот призван был объявить, что полноценным собеседником он быть не может и что бы ни услышал, никому не выболтает. Поэтому, как только Варвара вышла, Саша сказал:

— Разумеется, все должно делаться под «крышей»: я могу снабдить тебя официальной бумагой, скажем из Центра научфильма о том, что мы с тобой собираем материалы для сценария об истории Госета. И ты и я понимаем, что фильм о еврейском театре сейчас никому не нужен, но никто не может запретить нам — я ведь не лишен права здесь в Союзе работать — заниматься этим фильмом. Правда, для Варвары и Лизки я попрошу тебя твердо придерживаться иной версии: я предложил тебе работать над сценарием о русских модернистах начала века. Так нужно. По поводу этой версии тоже можно оставить тебе официальную бумагу, и она тебе тоже может пригодиться, — все, что ты будешь делать, должно делаться под официальной крышей.

Он говорил, я, безусловно, слушала — ведь запомнила же совершенно дословно. Но вместе с тем воображение уводило меня в даль невозвратных лет: я видела себя девчонкой-продавщицей книжного магазина и похожего на попугая книгоношу Яшу: крючился оседланный очками

нос и сквозь чудовищные линзы испуганно ширились зрачки почти слепых глаз. Он должен был стать гениальным математиком — с четвертого курса инженеров водного транспорта, где учился в одной группе с моей сестрой, он ушел и был принят на третий в МГУ; экзамены профессорам сдавал в их домашнем кругу за чашкой чая, очков тогда не носил, и глаза его излучали какое-то светлое смущение от необъяснимой удачи родиться с мозгами специально устроенными для теории и абстрактного мышления. Но эти мозги прикрывали слишком хрупкие кости — они дали трещину, когда здоровенный верзила с какого-то, забыла с какого, но совсем с другого факультета, однажды подошел к нему сзади, и с двух сторон обхватив, сжал его голову огромными лапищами, оторвал от пола, подержал в воздухе, а когда опустил — Яша упал без сознания. Была такая шуточка: «Хочешь, Москву покажу? А то все в Малаховку ездишь!» — это он говорил уже ничего не слышавшему Яше. И больше Яша нигде и никем, кроме как книгоношей у нас в магазине подписных изданий, работать не мог; у него была старенькая мама, и он с каждым годом слеп все больше, и голова болела все чаще, а потом он совсем ослеп.

О том, что он умер, я узнала от своей сестры уже через много лет после того, как ушла из магазина. Но я всегда помнила про эту Малаховку — Яша много про нее рассказывал: те два года, что он учился в Москве, он жил не в общежитии, а на квартире в одном из пригородов Москвы, где вокруг синагоги под сенью ее теснилась таинственная заповедная патриархальная жизнь. Здесь ходили в лапсердаках и камилавках, мальчики до четырнадцати лет носили косичку, здесь соблюдали субботу и на гортанном, как камни перекатывающиеся в стремительном течении ручья, языке толковали Талмуд. И все это — Малаховка.

— А-а! — истошно заорал попугай и дико расхохотался. Было отчего, потому что как раз в это время, вырванная его криком из тумана воспоминаний, я сказала:

— Саша, ты знаешь такое место: Малаховка?

— Вот именно! Мы с тобой завтра... нет, завтра я сдаю анализы... Послезавтра мы туда съездим. А сегодня я

хотел бы, чтоб ты посетила один очень интересный дом. Впрочем, ты не сказала самого главного?

— Да, — ответила я. — Да, Саша, не знаю получится ли у меня, но я согласна.

Однако, мне не хочется, чтобы кто-нибудь подумал, что, едва произнеся эти слова, я могла бы тотчас отречься от них, напротив: в ту минуту мысль моя работала как нельзя трезво. В одно угодливое мгновение я оглянулась и увидела всю свою прошлую жизнь: увидела своего отца, умершего, так и не узнав, что я пишу (я все надеялась, что хоть один из моих рассказов о Залмане Риккинглазе когда-нибудь напечатают, и я обязательно сделаю посвящение отцу, и это будет для него настоящий сюрприз), но он умер; мама, всегда считавшая, что если женщина пишет, так это наверняка про любовников, и очень из-за этого сердившаяся на меня, — тоже умерла.

Когда-нибудь кончится время сидения за столом, моего ночного труда, и я умру — сюрприза не будет! — и мой умный снисходительный муж, умирая, будет думать, что все-таки я была немножко сумасшедшей: жизнь, прожитая в страсти писать и твердо усвоенной привычке написанное складывать в стол, — это жизнь безумца! Нет, я сопротивлялась: однажды прочла в газете «Московский писатель» статью, автор которой на Красном знамени присягал, что все талантливое и пронизанное гуманизмом на самом деле находит путь в печать. Я поехала в Москву, пришла к нему, большому начальнику, и положила перед ним свои рассказы и два отзыва двух хороших писателей. Были времена, когда четверти того, что в них написано, хватило бы на то, чтобы сотворилась чья-то писательская судьба. Я сказала, что за гуманизм свой я отвечаю, а в талантливости моей расписываются вот они — прочтите! «Ведь не под пистолетным дулом вы писали свою статью, вы — критик, литературовед, вы сумеете мне, по крайней мере, объяснить, почему меня не печатают». И еще я попросила его, если дороги в печать для моих рассказов нет, переслать мне их. Через несколько месяцев я получила бандероль с запиской: «По вашей просьбе рассказы высылаю». Я храню эту записку. Ни одному критику, ни

одному литературоведу еще не удавалось быть более лаконичным. И вот что я скажу: ни одному писателю, может быть, не случилось получить такую весомую похвалу — пуды чиновничьего страха, груды бесстыдства, тонна жира, которым он обмазал в себе все щелочки, чтобы ниоткуда не просочилась струйка совести, — вот на что тянет эта записка!

А из редакций мне иногда шлют дружеские письма, не только на бланках, а просто так — ободряют в частном порядке. Но что они могут, эти редактора и завыв отделом, если они сами только зубная боль для своих начальников? Я всегда испытываю к ним слезную нежность за то, что среди вороха рукописей они находят мою, находят время и силы вчитаться в нее и написать мне теплое письмо, в конце приписав что-нибудь вроде: «... но журнальная ситуация такова... увы, все высказанное носит пока чисто платонический характер».

И вот нашелся заказчик, нашелся человек, который говорит мне: пиши о том, что знаешь, что волнует тебя, и тебе будут платить за это, так или иначе твой труд будет реализован — надо ли мне раздумывать? И я соглашусь.

— Безусловно получится, — говорит Саша. — В этом я не сомневаюсь; ты ведь ничем не ограничена, если что-то тебе не нравится в замысле, то можешь предложить встречный вариант. А сейчас организуем твой визит, — и он, придвинув к себе стоящий тут же на кухонном столе телефон, набирает номер...

Да, мне не все нравится в его замысле, собственно, он мне вообще не нравится. Мысль о том, что это евреи взорвали мир — гнилой и шаткий мир дореволюционной России — навязла в зубах и мне претит, но раз я могу предложить свой вариант, не сейчас, конечно, сейчас это трепыхание в груди и кружение в голове мешают мне думать...

— Алло! Флейш? — слышу я. — Да, ты не ошибся, дорогой. Приехала. Да, пожалуйста, позвони профессору. Хотелось бы сегодня. Ты все-таки попробуй. Да, вот что: скажи, что это замечательная еврейская писательница!

ца! Нет, русскоязычная разумеется, ну, словом ты сам понимаешь... Хорошо?

В мгновение ока он возвел еще одну «крышу» над моей головой — я стала похожа на пагоду — и повесил трубку. Я даже не успела поздороваться с Флейшем.

— Он сейчас перезвонит, — объяснил Саша. — Маленькое, непредвиденное затруднение: сегодня суббота, и юный талмудист, к которому я хочу тебя направить, не снимает трубку.

Заметно приободрившись то ли от икры, то ли от тыквенной каши, а скорее всего от того болеутоляющего, что он все прихлебывал из прихваченной на кухню бутылки, Саша поручил мне договариваться с Флейшем, а сам удалился в ванную. На кухне тотчас появилась Варвара.

— Ну, что? Как? Тебе понравилось Сашино предложение?

Боясь что-нибудь перепутать или выболтать, я ответила, сколько могла сухо:

— Вроде бы да.

— Вот и хорошо! Ты понимаешь, ему необходимо уехать: он должен прооперироваться там.

— Но здесь... — я хотела сказать, что здесь после операции его выхаживали бы близкие, любящие люди, но она перебила меня:

— Нет, здесь это безнадежно! По любому блату! Все больницы заражены стрептококком. Мальчику девяти лет вскрыли чирей на голове и все — барсик! Внесли стрептококковую инфекцию!

Тошнота не успела подползти к горлу этого мальчика с чирьем на голове, как Варвару, словно ледком, прихватило от страха: по-жабьи клокотнул в ее горле торопливый вопрос:

— А что он тебе сказал: на сколько он едет? — кругло в отеких подглазьях ее глаза пыливо уставились в мои.

В эту минуту, к счастью, зазвонил телефон.

Другу моему, Флейшу, наверняка не часто удавалось выступать в роли более благородной: его звонок избавил меня от необходимости путаться в словах.

— Привет, дорогая, надеюсь мы увидимся, — услышала я его густой, как черный бархат, голос. — Тем более, что

к этому сумасшедшему еврею ты сможешь пойти только через два часа, его брательник сейчас уходит и, пока в доме не появится кто-нибудь другой, некому будет открыть тебе дверь — сегодня суббота! Это мы с тобой, грешники, можем ездить в поездах, говорить по телефону, открывать гостям двери, а порядочные евреи, которые верят в мстливого еврейского бога — ты знаешь, что еврейский Бог мстлив? — ну вот, тогда имей в виду, что верующие евреи ничего этого не могут позволить себе в субботу. Они могут только беседовать — ты представляешь: беседовать он может, а дверь открыть не может! А с кем же беседовать, если не можешь открыть дверей гостю? Вот я могу открыть тебе двери и потому надеюсь через полчаса видеть тебя у себя!

О, надо знать Флейша так, как знаю его я, чтобы, ни разу не прервав, выслушать весь этот рокот, этот переливающийся через край души монолог. Флейш для себя одного говорит, сам себя слушает, сам себе отвечает — ты хочешь, присутствуй при сем, а хочешь положи трубку и сходи пописать. Заметит он твое отсутствие, только если услышит гудки в трубке, и то не сразу...

Сашу, которому я вкратце изложила суть услышанного, все устроило. Меня тоже: минут через пятнадцать мы уже ехали в такси — я к Флейшу, Саша дальше, к своей средней жене. От Флейша я должна через полтора-два часа направиться по растолкованному мне адресу, а затем меня ждал обед в кругу поклонников моего таланта.

— Да-да, ты напрасно улыбаешься, — сказал Саша. — С тобой безумно хочет познакомиться одна литературная дама, сама недурная сценаристка, ты знаешь, она просто напросилась на обед, узнав, что ты будешь.

В эту минуту мне показалось, что шофер пытался в зеркальце рассмотреть меня. Однако, стоп — я приехала. Дальше тебе, шофер, без меня ехать, можешь расспросить своего пассажира, кого это ты вез и с кем это все хотят познакомиться.

Я не успеваю перебрать в памяти все сказанное Сашей по дороге — вот она в конце лестничной площадки —

коридора дверь нужной мне квартиры. Звоню и вижу на пороге одетого в пальто Флейша.

— Ты уходишь? — спрашиваю вместо приветствия, удивляюсь.

— Бог с тобой! Я оделся, чтобы ты оценила мое новое пальто. — Именем Бога врет Флейш. — Представь себе: я был провинциальным поэтом, потом стал москвичом, жителем столицы, но совершенно бездомным нищим скитальцем, и вот теперь, когда у меня появился дом и завелись кое-какие деньжата, мне повезло невысказанно: лучший в Москве магазин уцененных вещей, магазин, в который поступают вещи из ломбарда (ты понимаешь, вещи, не выкупленные разорившимися богачами!), так вот, именно этот замечательный магазин находится непосредственно в моем доме! Думал ли я когда-нибудь, что смогу приобрести пальто из настоящего английского коверкота за какие-то ничтожные семьдесят рублей! — врет Флейш.

Его массивная двояковыпуклая фигура с круглой спиной и круглой грудной клеткой, как-то по-бабьи подпоясанная, облаченная в долгополое пальто с накладными карманами, занимает все пространство маленькой прихожей. То так, то эдак он поворачивается перед зеркалом и врет собственному отражению. Может быть, он отдал за эту довоенную хламиду четвертак, а может быть, все сто пятьдесят — не знаю, но Флейш не может не врать, и единственное, в чем я не сомневаюсь, так это в том, что сшито пальто из настоящего английского коверкота. Друг мой Флейш — истинный поэт, и в этой же мере неподдельный потомок мануфактурщиков. Он пробует жизнь на ощупь, не кончиками пальцев, а всем беззащитным нутром касаясь ее. Одного беглого взгляда ему достаточно, чтобы отметить в толпе пиджак из твида, костюм от Кордена, брюки из натуральной шерстяной фланели — и уж если он говорит, что это английский довоенный коверкот — значит это коверкот. Ну, может быть, не английский, ну, может быть...

— Ты ничего не понимаешь в элегантной одежде! — говорит он в ответ на мою безмолвную возню с сапогами.

— Молнию заело, я боюсь ее порвать и в конце концов

решаю остаться в сапогах. — Ты никогда не одевалась красиво: дорого — еще не значит красиво! Дорого каждый дурак может одеться! Но прости: я не хотел тебя обидеть! Ты, кстати, прекрасно выглядишь. — Наконец-то я попала в поле зрения его черных, как потухшие угли, глаз. — Ты надолго в Москву?

Он снимает пальто, и мы идем в кухню, но у меня не проходит ощущение, что он спешит. Не то, чтобы ему непременно надо было уйти, спешка внутренняя, ему не остановиться на одной теме, на одной минуте — так, будто мы разговариваем на перроне и поезд сейчас отойдет... И только настойчиво спрашивает:

— У тебя обратный билет есть? Покажи!

— Да зачем тебе?

И быстрая неправда:

— Я поеду с тобой в Ленинград. Мы поедem с тобой в одном купе.

— Врешь, не поедешь. И потом — в одном купе?

— Тоже мне проблема! Даешь кассирше лишний рубль. Я клянусь тебе: мне действительно нужно в Ленинград: покажи билет!

Он не спрашивает меня, зачем я приехала, что за дела у меня с Сашей, это не озадачивает меня. Где-то на периферии сознания мелькает мысль, что он в курсе дела и знает, что можно спрашивать, а что нельзя. И, должно быть, от этого я подчиняюсь его настойчивому желанию своими глазами посмотреть мой обратный билет.

— Господи, — облегченно вздыхает он, беря себя в руки, как будто это и было всего-то, что ему от меня нужно. — Тоже, велика сложность, дать человеку билет посмотреть. У меня великолепная зрительная память: вот я вижу — поезд номер два, четырнадцатый вагон, место... Кстати, тебе нужно поторавливаться. Чашечку кофе выпьешь?

Выпью, Флейш. И буду поторавливаться. Но еще успею послушать стихи. Еще коснутся моего сознания строчки: «За два года до собственного полувека невозможно изображать полубога, если не вышло из тебя человека». И врежется в память: «Я попробую обойти Фортуны и пристроиться за ее спиной».

И уже в дверях, в последнюю минуту он вдруг говорит о самом главном, потрясающем событии — о нем бы только и говорить, да не с тоской, а ликуя: «Вот, наконец-то со мной подписали договор на книгу...»

О, Флейш! Если б ты знал, как я за тебя рада! Но мне уже не выговорить своей радости, я бегу, ловлю такси и еду. Я тоже, можно сказать, подписала договор — я еду работать.

Странно начинается моя работа. Шишнарфиев по дороге к Флейшу сказал:

— У меня есть идея — титры фильма пустить на фоне старых дагерротипов. Когда ты будешь ездить по маленьким еврейским местечкам, ты должна интересоваться семейными альбомами, в средствах ты стеснена не будешь, так что сможешь покупать то, что тебе покажется пригодным, но я уверен, что тебе охотно будут дарить фотографии. Ты обаятельная, ты должна вызывать доверие...

... А как же все же в Законе сказано о том, что по субботам нельзя говорить по телефону? — вспоминаю я вдруг Флейша.

— В нем сказано, — спокойно и терпеливо объясняет мне тоненький, длинноногий мальчик в комбинезончике и ковбойке, в камилавке на пышноволосой голове, сидящий передо мной на диване в комнате, погруженной в полутьму. — В Законе сказано: нельзя в субботу раздувать искру, посланную соседом через тростниковую трубку. А знаете, почему в субботу нельзя летать на самолетах? — его не раздражает моя непосвященность, он призван учить, и он старается придать учению занятную форму — он мудрый учитель:

— В Законе сказано: в субботу нельзя летать ни на крылатом крокодиле, ни на крылатом тигре.

Но как же он не замечает изящной уловки светской собеседницы, когда я, вспомнив наказ Шишнарфиева, выуживаю у него адреса ленинградских единоверцев. Он только просит меня подождать, пока он совершит молитву: вот уже взошла звезда, окончилась суббота, можно зажечь свечу и, опустившись перед ней на колени, без-

звучно произнести благодаренье Господу и пророку его Моисею, передавшему людям закон добра и зла.

Окончена суббота — теперь можно взять в руки записную книжку и карандаш и на листок бумаги выписать для меня несколько ленинградских адресов!

...Но кажется мне: стоя на коленях перед свечой, он не забыл попросить у Господа покоя и моей грешной душе.

Вдруг унялось дрожание и кружение сегодняшнего дня, неизъяснимая еще мысль вытолкнула из темной дремы инстинкт самосохранения, и к званому обеду в обществе поклонницы моих талантов я пришла с полной мерой равнодушия к своей сомнительной славе.

Маленькая квартира средней жены Шишнарфиева в новом кооперативном доме, в так и оставшемся неуясненным мной районе. Я ведь туда-сюда на такси, благо расходы оплачены. Хранилище ценностей второго разбора, уютное гнездышко маленькой востроглазой птички пахло мне в нос аппетитным запахом жареного и печеного, от порога обволокло ласковым щебетом:

— Мы уж заждались вас, все остыло, скорее к столу, у Саши посетитель, ему все равно ни есть, ни пить нельзя, так что уж мы сами...

Я тотчас с удовольствием подчинилась этому милому щебетанью, светясь улыбкой, быстро сошлась с гостьей, пришедшей якобы меня ради, про себя нашла ее симпатичной, только немного нудной с тем непоправимо тоскливым взглядом, что раз и навсегда приобретают женщины моего возраста, внезапно брошенные мужьями. Роль веселого клоуна я взяла на себя, и она прекрасно стала мне удаваться, едва я допила стакан вина. Как-то лихо я перевернула начатый было моей визави разговор о безысходности нынешней литературной ситуации на смешные анекдотические случаи из жизни пишущей братии и с наивно преувеличенным восторженным ужасом стала рассказывать, как у нас в Ленинграде эти, не попавшие на ковчег, в котором и без них уже всякой твари по паре, мытари от литературы, добившись собственного клуба при музее Достоевского, первым делом завели своих вышибал. При всяком случае те кричат: «А вы не член! Вам

не давали слова!» — я изгилялась как могла и лишь краем глаза, кончиком уха, сама того не желая, примечала и прислушивалась к происходившему за матовым стеклом закрытой кухонной двери. Я сидела за столом боком к ней, и в какой-то момент мне показалось, что кто-то из темного коридора, оставаясь невидимым, на меня смотрит. Но через мгновение хлопнула дверь, и тут же в кухню вошел Саша:

— Ну как вы тут? Ты прости: у меня посетитель за посетителем. — И точно: звонок в дверь снова лишил трех сидящих за столом дам мужского общества.

— Это Морковин, — сказала Лиза.

Беседа Саши с Морковиным оказалась недолгой, и вскоре оба появились на кухне.

— Я спешу, меня жена ждет, — стоя на пороге кухни, отнекивался от Лизиного гостеприимства Морковин. — Я только хотел познакомиться с вашей гостьей, — он принял позу человека, ожидающего протянутой руки, и я ее протянула. — Счастлив с вами познакомиться, так много слышал о вас удивительного!

— От кого же?

— От любимейших своих писателей, от людей, мнению которых я не могу не доверять (он назвал тех двух, чьи отзывы я храню), они говорят о вас...

— Нечто неправдоподобное! — ерничая, перебила я.

— Ну, самому мне трудно судить: я к сожалению не имел возможности сам ознакомиться.

— Да выпейте вы с нами водки! — присоединилась я к призывам хозяйки — мне искренне надоело сидеть меж двух женщин, пить в обществе одних женщин я вообще не люблю, а надежды на то, что Саша выпьет, быть не могло.

— Но разве что рюмку... — и присаживаясь к столу напротив меня, так напрямки и спрашивает:

— А где, скажите, можно прочесть ваши рассказы?

— Там, где вы о них слышали, — говорю, — там и можно!

— Ну там это как-то не совсем удобно. А вы не можете дать?

— Вы мне не поверите, — говорю я очень искренне, доверительно, — но у меня совершенно нет экземпляров:

я вечно все теряю, сама печатать не умею, то есть я печатаю, но то, что я печатаю, читать невозможно, а машинистки теперь берут дорого.

— А почему невозможно читать то, что вы печатаете?

— Ой, господи! Я пишу с такими ошибками — это просто невероятно, но я же высшего образования из-за этого не получила: вы представляете я два раза писала вступительное сочинение, и оба раза — двойка! Да давайте выпьем, что ж мы так-то сидим! — раздухарилась я необыкновенно, но из рюмки своей отпила не более Морковина, а он едва пригубил свою и, полагаясь на мое возбуждение, аккуратно спрятал ее за стаканом с водой.

...Э, Морковин! Человек с плакатным лицом отличника по стрельбе не компануется ни со старинной мебелью, ни с людьми, занимающимися искусством. Особенно, если он не пьет — делает вид, что пьет, а сам не пьет!

И свободы в движениях нет, выправка у вас какая-то, я бы сказала, не такая. И эта манера бросить глаза в глаза и тут же свои убрать, будто толкнуть человека. Вам же говорили, что я талантливая — значит, приметливая, выходит, вы не поверили, если задаете мне, прямо скажем, бестактные для первого знакомства вопросы, вроде вот этого:

— А вы все-таки не хотели бы напечататься, ну хотя бы...

— Что вы, — говорю, — кто ж меня там будет печатать?! Это ж надо что-нибудь такое эдакое написать, а я ничего такого не писала никогда, я вообще еще очень мало написала, так что даже считаю, что и говорить не о чем, у меня и претензий-то никаких нет.

Говорю, а сама замечаю, как неприметно из-за стола словно не вышел, а вытек Саша; вернулся, минуточку другую посидел, давая мне закончить фразу, но едва возникла пауза, мягко влагая слова в душу, обратился к своей соседке:

— Я давно тебя не видел и страшно рад, поверь. Мне хочется подарить тебе что-нибудь на память, — он вроде бы поискал глазами это что-нибудь на себе и тут же нашел: — возьми вот этот перстенок! — И серебряный перстенок со своего мизинца — к ней в ладонь.

— О, Саша! — она неподдельно тронута. — Ну, что ты! Такой подарок! — и примеряет перстенок и любуется, и все это рождает какую-то заминку, будто никто не знает, как реагировать на сей пассаж и будто эту неловкость надо разрушить чем-то. И Саша тут же спохватывается:

— Нет, что ж я! Одной даме сделал подарок, а другой нет?! Немедленно исправить! — И нарочитой прытью в комнату.

Дам за столом очевидно три, но жена, даже бывшая, в подобных обстоятельствах в расчет братья не может, это понятно. Однако какая-то неловкость есть, мне кажется, она ощущается всеми. Я подумала, что она исходит от меня, от моего неумения просто, естественно принимать неожиданные подарки, но не только от меня — еще от чего-то, неопределимого. И словно предчувствуя мое сопротивление и сразу желая одним жестом его отмести, Саша еще из коридора кричит:

— Закрой глаза!

— А теперь открой! — я открываю и вижу припавшего передо мной на одно колено Сашу. На столе передо мной лежат пять книг в одинаковых обложках.

— Тебе подарокиного рода, — со значением, вкладывая какой-то лстящий мне смысл в слова, произносит еще с колен Саша. — Выбирай любую!

Передо мной лежат пять книг в серийных обложках одного и того же западного издательства с сельскохозяйственным названием, пять книг, не знаю, как каждая в отдельности, но вместе спокойно тянущих на пять невыносимых лет без отягчающих обстоятельств. Мысль эта так резанула по мозгам, что я не все названия прочла, а минув то, одно, что само по себе наверняка двух лет жизни стоит — честь тебе и хвала, мой любимый писатель, прости, что от тебя я отдернула руку! — потянулась к самому безвинному — к простаку Джойсу.

— Великолепно! — говорит Саша, подымаясь с колен: — «Портрет художника в юности!» Выбор интеллигентного человека.

— Ах, Саша, что за подарок! — повторяю я вслед за окольцованной дамой, и мы пьем — она и Лиза вино, а мы

с Морковиным поднесли к губам рюмки с водкой. Но на этот раз номер не проходит:

— А вы не пьете, — замечает Морковин.

— А вы?

— Меня дома жена ждет, она манты приготовила, их надо под рюмку есть, мне нельзя напиться.

— Что приготовила?

— Манты. Это, знаете, узбекское блюдо, вроде пельменей.

— Узбекское?

— Да, мы же в Ташкенте жили..

И тут я вспоминаю: мне о нем когда-то, года два назад, рассказывал Флейш. Но Саше завтра утром в клинику, к знаменитому профессору, — вставать рано, Морковина манты ждут, и мы прощаемся.

Даму они прихватили с собой, меня Саша оставил у Лизы. Перед выходом, зазвав в комнату, в которой я должна буду провести ночь, напомнил: «Лизе ни слова! Послезавтра едем в Малаховку. Ты понравилась человеку, о котором я тебе говорил». Его позвали из передней, и возникший у меня вопрос остался невысказанным.

Едва за ним закрылась дверь, как Лиза заговорщицки повторила:

— Ну, все хорошо. Вы понравились тому человеку.

— Кому?

— Ну, продюсеру. А вам нравится Сашино предложение?

Я едва не спросила: какое? Но спохватилась.

— Да, очень.

— Вот и прекрасно. Знаете, ему необходимо уехать: он должен сделать там операцию. Конечно, мы могли бы здесь положить его в любую клинику, но это какой-то ужас: в Москве буквально все клиники заражены стрептококком! Мальчику девяти лет вскрыли чирей на голове, внесли инфекцию, и он умер! Какой-то ужас!

Ужасом действительно наполнились ее маленькие острые глазки, но мне почему-то стало смешно: над огромным городом нависла тень мальчика с чирьем на голове!

Она постелила мне в комнате, где Саша принимал посетителей, на роскошном диване мастера Гамбса. Голосом бывалого экскурсовода она пыталась просветить меня: «Это Лентулов, это Кузнецов, а это Сомов. Здесь у меня Саша держит живопись начала века — как раз то, о чем вы будете писать». Ах, вот о чем мы будем писать! Я делаю вид, что всматриваюсь, но до чего же я все-таки вздорный человек: почему навязчивая мысль о том, где, когда, у какой старушки за какие гроши куплены эти натюрморты, пейзажи и портреты, мешает мне взглянуться и насладиться? А может быть, я просто смертельно устала, я хочу спать. Пусть мне приснится гамсуновский сон на гамбсовом диване.

Но снов мне не снилось. На спине, вытянув руки поверх одеяла, я уснула и в той же позе проснулась. И настолько глубокий был сон, что ни руки, ни ноги не затекли, не ломило спину от неизменности позы. Так, вероятно, расслаблена была каждая клетка моего существа, что мозг и тело получили за ночь полный и такой необходимый отдых. Вот уж точно, что рюмка водки перед сном бывает целительной. Но вытолкнуло меня из этой безмятежности отчетливое воспоминание. И сразу вселило тревогу и сбросило с дивана: я вдруг отчетливо увидела руки Саши, его руки до того момента, как он первый раз незаметно, не обращая на себя внимания, встал из-за стола — руки, на которых никакого кольца не было! Ни там, в квартире первой жены, когда сидя на кровати он аплодировал мне, ни здесь, когда он с Морковиным пришел на кухню и сел за стол, — кольца на его руке не было! Оно появилось у него на пальце после его возвращения из комнаты, он за ним ходил, но не принес его в руке, а надел на палец и, выждав паузу, преподнес свой подарок как бы по внезапному порыву. Мысль снять с пальца кольцо пришла ему в голову как бы мгновенно, как бы в минутном душевном порыве от полноты чувств захотелось что-то оставить на память о себе доброй приятельнице. Но это было не так. Он только старался изобразить этот минутный порыв, он даже обыскал себя глазами, чтобы от себя оторвать, но сделал все это, как плохой актер, за которого сидящим в зале стыдно.

Вот отчего над столом нависла та неловкость, которой я не могла найти объяснение.

Роль еще не была доиграна — это была только преамбула: подарок одной вызывал необходимость преподнести подарок второй госте. Я оглядела комнату. Так же, как в квартире его старой жены, эта комната тоже была не обставлена, а заставлена мебелью самого разного назначения: сказать кабинет это или гостиная, столовая или спальня, при всем желании никто не мог бы. Ну, разве что, точно не спальня — в ней не было ни кровати, ни шкафа, ни туалета. Обитает здесь мужчина или женщина, тоже неопределимо, как неопределим и род занятий обитателя.

На стенах картины, много разнообразной мебели, много фарфора — ваз и ваз, превращенных в настольные лампы, в часы стенные, напольные и настольные, очевидно требующие починки, молчаливые, ценные той внешней оболочкой, в которой умерла их живая душа. Но не было разбросанных по креслам и диванам вещей, не было ни бумаг, ни книг на столах, и понять, откуда он извлек, второй раз выйдя из-за стола, те книги, было невозможно.

Я даже встала и подошла к секретеру: крышка его заперта, как, вероятно, заперты и ящики какого-то замысловатого комода. Даже если книги лежат где-то в ящиках столов или комодов, они были приготовлены, нельзя было так мгновенно извлечь их — все пять — для того, чтобы предоставить мне выбор. И непонятно, когда он убрал оставшиеся. А не Морковин ли принес их с собой? И не унес ли те, что остались, в том объемистом черном портфеле, что был с ним?

Я не стала ни о чем думать дальше. Странное чувство, что не сейчас, а еще вчера, по дороге в этот дом, я уже несколько не верила ни в замысел Шишнарфиева, ни в продюсера, ни в истинность своего соавторства — это странное чувство поразило меня. Мысль, что я должна немедленно уйти из этого дома, сделалась главной.

В квартире стояла тишина. Я вышла из комнаты и тотчас увидела на кухонном столе записку: «С добрым утром! Я ушла в магазин, приду, будем завтракать! Лиза».

Нет уж, никаких завтраков. Скорее отсюда, но куда? Ни к кому из знакомых ехать я не могу и не хочу. С людьми надо разговаривать, а я сейчас не могу ни слушать, ни говорить ни о чем, что лежит вне прожитого накануне дня. Где-то я должна остаться одна, совсем одна. И я вспомнила о своей приятельнице, у которой есть все, что нужно современной, самостоятельной женщине: прекрасная профессия, отдельная однокомнатная квартира на Звездном и постоянный любовник на другом конце города. Она иногда проводит у него несколько дней кряду. Он живет, на мое счастье, вблизи от места ее работы, и я знаю с ее слов, что обычно у себя она бывает лишь по пятницам и субботам, а в воскресенье уезжает к нему, на всю рабочую неделю.

Если в ее жизни ничего не изменилось, я смогу к ней поехать — только бы сейчас застать ее дома! Помолвившись об ее женском счастье, я набрала номер, и все сложилось, как в сказке: часика через полтора она как раз собиралась покинуть свой дом до следующей пятницы. Ключ она мне оставит у соседки и я, уезжая, оставлю его там же!

Она удивилась, когда на вопрос: «а ты не хочешь со мной увидеться?», я сказала «нет!»

— У тебя что-то случилось? — должно быть, моя тревога передалась ей, и она велела мне записать телефон ее друга. Если она понадобится мне, она придет немедленно. Спасибо, но сейчас мне лучше побыть одной.

Я стала собираться, подошла к дверям и проверила, смогу ли выйти до прихода хозяйки и захлопнуть их. Заглянула в ту, другую комнату. Она точно так же была заставлена и завешана. Только разбросанные на полу среди старинных кресел и столов детские игрушки напоминали о том, что обычно в этой комнате живет ребенок. Вчера, в связи с приходом детолюбивого папы, девочку отправили к бабушке. Но и в этой комнате, кроме неприбранной Лизиной постели и очень заграничных игрушек, никаких примет живой человеческой жизни.

С Лизой я все-таки столкнулась в дверях.

— Вы уходите? — Мне даже жалко стало ее, такой ужас

округлил ее глазки. — Но это невозможно! — лепетала она, и я в ответ буркнула что-то вранливое про заболевшую подругу, про врача и лекарства. Я чувствовала, что сильно подвожу Лизу, должно быть Саша велел ей кормить меня на убой — в руках у нее были набитые сумки — и занимать приятной беседой.

Метро, автобус, небольшая прогулка пешком как раз поглотили те полтора часа, через которые квартира на Звездном опустела, и вот оно, вождеденное одиночество, так нужное мне, чтобы спокойно перебрать в памяти все происшедшее со мной. Собственно событий не так уж много — много сказанного — вот это сказанное я и должна наконец обдумать.

Но прежде я с облегчением оглядываю свое укрытие. Правда, я не раз бывала здесь, но сейчас на все смотрю новыми глазами, как будто в поисках аленького цветочка, пережив грабеж и бурю в океане, я наконец попала в замок невидимого мне, доброго, гостеприимного хозяина.

На столе свежезаваренный чайник, еще горячий, сахарница, масленка и баночка открытых шпрот, на плите сковородка и в миске десяток яиц; день пасмурный, но в комнате светло. Шторы — простой серый холст с вшитыми в него квадратами и кружками рукодельного нитяного кружева — отдернуты, и пыль только что вытерта, цветы политы, по стенам удобно и красиво прилажены застекленные полки с книгами, развешаны старинные фотографии.

В изголовьи тахты, покрытой необъятной шамаханской шалью, ветхой от времени, но все еще прекрасной, сложено чистое белье для меня и даже ночная рубашка. «Господи, как хорошо, вот он, покой и отдых!» — думаю я, и в это время раздается телефонный звонок. Я снимаю трубку, уверенная почему-то, что это моя хозяйка хочет узнать, приехала ли я, попала ли в квартиру, но едва услышав голос, сразу поняла, как я чудовищно ошиблась — это был голос Лизы. Как же я могла забыть, что они знакомы! Не дружны, а только так знакомы, как бывают знакомы те, кто встречается на одних и тех же обедах, премьерах, вернисажах.

— Ее нет, — механически, еще ничего толком не сообщив, ответила я на вопрос и собственного голоса испугалась и уже с чувством идущего ко дну, ответила еще на один вопрос:

— Не могу вам сказать. Я посторонний человек.

И резко повесила трубку. Я же не сказала Елизавете, к кому иду. Она меня вычислила. Она позвонила наобум, но голос мой узнала наверняка. Вранье о врачах и лекарствах стало очевидным. Но с другой стороны — какая разница? Это ли самое главное, разве она может быть на сто процентов уверена, что слышала именно мой голос? И точно: телефон снова зазвонил. Но дудки, больше не подхожу. Должно быть, ей крепко влетело от Шишнарфиева, что упустила меня, должно быть, под страхом лишения наследства он приказал ей найти меня. Но он зря волнуется: я сама позвоню ему — только несколько позже. А сейчас мне надо выстроить по порядку толпящиеся в голове вопросы и постараться найти на них ответы.

Но по порядку не получается — получается все сзади наперед: меня всю от головы до пят, рождая страшную ломоту в суставах, заполняет уверенный ответ на один самый главный вопрос.

— Никакого кино нет и не будет, сценария не нужно. Не нужно никому моей писанины — это все блеф, это ловушка!

Зачем Саша сообщил мне то, что тщательно скрывает от людей самых близких, самых преданных. Варвара предана ему так, будто ее несли в мешке топить, а он за рванный рубль ее выкупил. Он доверяет ей кассу — не только свою, но как выяснилось, и нашу, общую — кассу предприятия, стало быть она во многое посвящена, но и от нее скрывает свое намерение не возвращаться и с бухты-баракты сообщает о нем мне. Зачем?

Единственный вопрос, который я все-таки умудрилась ему задать, — откуда он знает, что я именно тот человек, который ему нужен? Он видел — он не мог не видеть, как удачен его расчет, как быстро под шквалом обрушившихся на меня похвал я млею и таю и лишаюсь здравого смысла. Заметьте: это был первый вопрос, который мне

было позволено задать, но к этому моменту я была уже подготовлена, он полностью сделал меня, завел, раскрутил мысли мои в заданном направлении и тут заговорил о необходимости поездок по стране!

Вот оно! Минуточку, надо сделать перерыв. Есть еще один вопрос, на который нет ответа: если есть действительно сюжет и действительно есть заказчик — тот самый, что оставаясь невидимым мне, меня видел! — то, позвольте спросить, о какой свободе решений может идти речь?

Мне страшно в пустой квартире, меня колотит дрожь. Я иду на кухню, зажигаю газ под чайником, я пытаюсь крепчайшим чаем унять эту дрожь, но только начинает бухать сердце — оно слишком колотится в груди, мешает мне думать. Я шарю по полкам, по каким-то затейливым резным шкафчикам и наконец натякаюсь на аптечку: три таблетки валерианки должны вернуть мне покой.

Интересно, к каким это людям я должна буду входить в доверие?

Я, Саша, знаете ли, происхожу из семьи революционеров, конспираторов. Мне, Саша, известно, что затевая что-либо противозаконное, лучше не пользоваться услугами сомнительных людей. Я помню этот тогда насмешивший меня наказ Аблеухова дверь держать на цепочке и никому, «даже органам не открывать» — это был нешуточный наказ; раз он может служить «каналом» — какие уж тут шуточки?

Поехали дальше: Флейш. Флейш мой друг. Флейш поэт. Жизнь его никогда до сих пор не была легкой. Но в последнее время что-то изменилось в судьбе Флейша — ведь сказал же он мне, что с ним заключили договор. Сказал как-то наспех, в дверях, как мне показалось с грустью, но эту грусть я легко объясняю чудовищной запоздалостью договора. А вот чем объяснить мне его настойчивый интерес в моем билете в Ленинград? Я уверена, он не поедет ни в одном купе со мной, ни в одном поезде, ни даже в любом другом — ему не надо в Ленинград (и чтобы эта моя уверенность не показалась абсурдной, сразу скажу: и не поехал!) Но зачем он должен был точно, на память слуха не надеясь, запомнить номер

вагона и место? Нет, вы только начните об этом думать, и никакая валерианка вам не поможет! Я возвращаюсь в комнату, вырываю из блокнота страничку с адресом помолвившегося за меня юноши и жгу ее. Я ясно вижу себя в купе поезда, медленно причаливающего к ленинградской платформе, вижу входящих в купе двух стройных — Боже, до чего на Морковина похожих! — мужчин и слышу спокойный голос одного из них: «Вам придется пройти с нами...» Мальчик! Мальчик, читавший книги Пророков, мальчик, стоявший на коленях перед зажженной свечой в час, когда взошла звезда, и возносивший молитву к Господу Богу за всех грешных, беспокойных душой, ты все-таки верь мне: я сожгла все адреса, я не помню их и не смогу назвать, даже если меня будут пытаться каленым железом!

А вот и сам по себе безобидный Джойс — это другое дело; Джойс-то он Джойс, а вот настоящий «ой-с!» немного пониже фамилии автора — впрочем случайно выбранного — и заголовка книги — мелкими буквами название западного издательства с сельскохозяйственным уклоном, вполне оправдывающим пословицу: «Что посеешь, то и пожнешь»...

«Откуда у вас эта книга?» — слышу я вопрос, на который «откуда-откуда: от верблюда!» — не ответишь.

Неплохо придумано!

Да. Мне надо вам позвонить и сказать. Надо сказать, что в Малаховку мы завтра не поедим. Но встретиться надо. Я хорошо помню, что никто меня за язык не тянул — я сама дала согласие. Правда, я дала согласие писать сценарий, а тут... Я не знаю, что тут, но что-то другое... Нет, этого я не должна говорить. Я просто должна отказаться. И конечно, не по телефону.

Сейчас я позвоню и смогу спокойно думать дальше.

Номер занят.

«Но, минуточку, — слышится мне ваш, Саша, голос, — с чего ты взяла, что Морковин? Что ты вообще о нем знаешь?»

Да, действительно: что я знаю о Морковине?

«... Только понаслышке от Флейша!»

— Это потрясающий человек! — говорил Флейш. —

Полтора года назад он приехал в Москву из Ташкента и уже знает полгорода! Он всем нужен! И можешь себе представить, у него уже есть в Москве квартира, ты помнишь квартиру оставшегося в Швеции... Ты можешь себе представить: через полгода жизни в Москве получить трехкомнатную квартиру в центре города! Потрясающий человек, — восторгался Флейш. — У него колоссальные связи!

— Но чем же он занимается?

— Он человек энциклопедических знаний. Невзирая на свою молодость. В наше время редко встречаются люди энциклопедических знаний, учти! Некоторое время он работал в Ленинской библиотеке, но потом послал к черту это заведение с его нищенской зарплатой и теперь занимается книгами.

— В каком смысле?

— Ты задаешь глупейшие вопросы! Ну если бы я сказал: он спекулирует книгами — ты поняла бы меня? Но интеллигентные люди об интеллигентных людях так не говорят. В наше время многое изменилось, вы, жалкие провинциалы, не способны уследить за происходящими в жизни стремительными переменами... — тут я некоторое время не слушала Флейша, пустившегося в пространные и уже надоевшие мне рассуждения о том, насколько мы тут погрязли в тине провинциализма, в то время как они там...

Вот и все, что я знаю о Морковине. Нет, еще, мелочь, пустячок: он сказал, что Морковин женат, у него есть ребенок, нет, он женился не в Москве, он привез жену из Ташкента, а мать его жены — не отец, а именно мать — главный прокурор Ташкента.

Вот теперь все.

«У него есть доступ к любому закрытому материалу... Ты сможешь через него получить любую выходящую на западе литературу...»

Спасибо, Саша, уже получила!

И я снова, на это раз удачно, набираю номер.

Голос Саши слаб, он утомлен процедурами. Интересуется, куда же я пропала. Он и сам думал, что в Малаховку завтра поехать не удастся — вряд ли он будет в состоянии

сесть за руль.. Но что произошло? Ничего? Вот и прекрасно, тогда завтра мы просто можем встретиться часов в пять. Нет, не раньше. Да, конечно, у Варвары.

Я пью валерианку, я хожу, как загнанный зверь, по комнате, снова и снова перебираю в памяти каждое сказанное вами слово, Я вспоминаю почему-то горько-смешной рассказ друга моего отца о том, как в одной камере с ним сидел темнее чернозема крестьянин, от которого следователь добивался признания в том, что он немецкий агент. Крестьянин приходил с допросов с разбитым лицом и кто-то из сокамерников ему присоветовал: «Да признайся ты! Ну, пошлют тебя в лагерь, ну, будешь ты там вкалывать — так ты и так всю жизнь вкалывал, а все лучше, и бить не будут...» И крестьянин согласился — действительно лучше. Но со следующего допроса он пришел битый пуще прежнего, и тут выяснилось, что признаться-то он признался, а на вопрос обрадованного следователя, как его завербовали, ничего лучше не придумал, как сказать: «Ну, значит пашу я у поле... Атут летак — у-у-у-у! — летыть и садиться утут же на моем поле и выходыть из него маленький, черненький з вусиками — Гытлер! — и говорыть: «Будишь ты, Понас, у меня шпиеном!» Ну тут следователь и не сдержался! В самом деле: кто ж так вербует?! Чистая выдумка! Нет, вербуют иначе. Пришлось интеллигентным сокамерникам сообща придумать Панасу хорошую, настоящую версию о том, как его завербовали.

Так вот что, Саша, это я знаю: так не вербуют. Тем более интеллигентных людей. Интеллигентного человека, самое малое, надо сначала скомпрометировать, подловить на чем-нибудь, запугать, потом уж можно с ним разговаривать в открытую...

... А сейчас я лягу спать — вот приму димедрол, он на меня как снотворное действует — и буду спать завтра хоть до трех, просплюсь и к вам, любезный Шишнарфиев, и шиш вы меня получите!

И проспалась-таки! Влезла под душ и струей теплой воды вымывала из себя все лишние мысли. Мне сейчас единственное, что нужно — это твердо на зубок вызубрить

все, что я должна сказать — ни больше, ни меньше и ничего лишнего.

Перед выходом из дома я позвонила своей подруге. Я хотела поблагодарить ее за приют и сказать, что постараюсь сегодня же — все равно каким поездом — уехать, свой билет на завтрашнюю «стрелу» я решила сдать. И вдруг уже попрощавшись с ней, я сказала:

— Послушай, часа через два, самое большое, я выйду из дома, в который иду. Если я не позвоню тебе через эти два часа, подожди до утра и организуй розыск тела.

Я говорила это почти шутя, слова отлетали от моих губ легко, как лепестки шиповника, но по мере того, как длилось ответное молчание в трубке, смысл произнесенных мной слов доходил до меня во всей своей страшной нелепости.

Так же, как в прошлый раз, Шишнарфиев открыл мне дверь в пижаме и шлепанцах на босу ногу и слабым голосом сказал:

— Извини, я страшно устал, — но признаюсь, сквозь мою сосредоточенность не пробилось ни капли сочувствия, единственная мысль стучала в виски: «Спокойно! Только спокойно!»

Но на это раз все благоприятствовало тому, что я бы могла отдышаться, взять себя в руки и совершенно подготовиться к беседе: в квартире никого кроме меня и Саши не было. В момент моего прихода он разговаривал по телефону. Я слышала, что он кому-то называл содержание гемоглобина в крови, сказал, что белка в моче нет, эритроциты в порядке — словом я поняла, что на первый взгляд анализы его вполне благополучны, и это мне понравилось: больше всего на свете я боялась, что плохое состояние помешает ему уехать, навсегда исчезнуть из моей жизни.

Но когда я вошла в комнату, Саша уже лежал и совершенно непонятно зачем, делал вид, что читает журнал «Нева» с моим рассказом. Откладывая журнал, он сказал:

— Я далеко не сентиментальный человек, женскую прозу вообще воспринимаю несколько иронически, но,

черт возьми, тебе удастся что-то такое задеть в душе, что я каждый раз не могу удержаться от слез!

«Так, — думала я, — еще одно доказательство, что он никогда никаких моих рассказов в глаза не видел, иначе не попросил бы кого-то (Морковина?) раздобыть ему уже не свежий журнал с моим единственным опубликованным рассказом».

Тянуть было нечего.

— Саша, — я подняла глаза и больше уже их не опускала: я сказала, что дала ему ответ, не воспользовавшись правом подумать, но я все-таки подумала и поняла, что я решительно не могу взяться за эту работу. И тут я увидела, как багровые пятна, выступив сначала на его яйцеобразной лысине, медленно расползаются по лицу. Если бы он сам увидел себя в эту минуту, он на всю жизнь дал бы себе зарок никогда ничем сомнительным не заниматься.

— Что случилось? — спросил он. Пожалуй, это был испуг.

— Ровным счетом ничего не случилось, кроме того, что я все обдумала и поняла, что не имею права связывать себя никакими обязательствами, тем более финансовыми. Ты уж прости, но те двадцать пять рублей лежат вон там в прихожей, на столике, вложенные в книгу, которую я тоже принять не могу.

Что-то вроде ужаса мелькнуло в его глазах, улыбка не получилась иронической, я видела, что он пытается выправить ее и тут помог задребезжавший телефон.

— Видишь ли, я уезжаю, буквально через неделю и естественно нуждаюсь в средствах. Да, уж будь добр. Желательно все... — говорил он, как я поняла какому-то своему должнику. — Вот и хорошо, прекрасно.

Повесил трубку и, уже вполне владея собой, сказал: «Итак завтра у меня на две тысячи станет больше плюс твой четвертак — я богатею с каждой минутой! Но это безумие — ты меня просто режешь. Объясни все-таки...»

И я объяснила. Я сказала, что никогда не умела работать по заказу, все равно какому. Потом я сказала, что я вообще очень скованный домом человек, пишу вообще

очень мало из-за детей (я уже говорила ему об этом и он снова напомнил мне об обещанном миллионе и своре гувернанток). Я объяснила ему, что с гувернантками жить не умею, что домработницы не держу не из-за крайней бедности, но не могу никем управлять и всякая домработница быстро становится человеком, мной обслуживаемым, — и все это чистая правда — говоря только правду, я могла говорить убежденно и это как раз то, что нужно. И наконец я сказала:

— Есть еще одна причина, Саша. Видишь ли, я ужасно болтлива — и, видя как он опять покрывается этими жуткими пятнами, поспешно добавила: — Нет, чужие тайны я могу хранить, я просто о них забываю, но свои решительно не могу удержать в себе. Мне было бы очень тяжело жить такой таинственной жизнью.

Пока я говорила — на этот раз не вполне правду — я подумала: а ведь Саша ни на какую мою способность к конспирации и не рассчитывал, максимум, что ему нужно — это молчание до его отъезда, а потом сам род моей деятельности не будет требовать от меня уж очень большой тайны — ибо от кого же она, тайна? Те, кому надо, будут знать, чем я занимаюсь. Иначе он на меня не положился бы!

— Твое решение окончательное? — спросил Саша. — А не могла бы ты просто присылать мне без всяких условий, ну, все, что захочешь, все, что будешь писать, или уже написано?

Ей-богу, он так сказал.

Я ответила:

— Нет, это уж совсем бессмысленно. Решение мое окончательное.

И Саша встал.

— Рюмку коньяка хочешь? — он спросил так недобро, что в пору было отказаться, но мне смертельно хотелось выпить, как никогда в жизни.

Он ушел в комнату Варвары, я слышала, как там открываются какие-то дверцы, звякает хрусталь — очень тихо было во всем доме: ни с улицы, ни из-за стен не доносились ни звука, какой-то холодный зеленоватый полумрак

разливался по комнате, освещенной только маленькой настольной лампочкой у кровати.

— К сожалению, — сказал Саша, все еще позвякивая чем-то там в комнате, — мне нельзя выпить, придется тебе одной.

— Да, конечно, — отозвалась я, но совершенно не ожидала, что он появится только с рюмкой в руке. Бутылка осталась там, в комнате.

И вдруг мне стало страшно. И тут же я почувствовала, что Саша знает, что мне страшно, что по его расчету мне и должно сейчас стать страшно и теперь он холодно и недобро ждет: выпью я эту рюмку или вдруг откажусь? И что отказаться нельзя: он тотчас поймет, что я знаю больше, чем мне следует знать. И я выпила и, выпив, зажмурилась и мысленно спросила свою подругу: помнит ли она о том, что если?

И Саша тотчас расслабился. Он легко встал с края кровати, прошел в глубь комнаты и сказал откуда-то у меня из-за спины: — Бывают же такие сумасшедшие люди, безумцы, для которых ничего не значат в этом мире материальные блага! — я обернулась и вдруг увидела: тот тревожный зеленый свет исходил от стоящего у стены электрического камина с искусственным костром. От дверей его загораживало кресло, но, повернувшись на придвинутом к кровати стуле, сразу можно было увидеть: Саша простер над неживым огнем руки и зябко потирал их, и они светились холодным мертвым светом. И зеленоватый отблеск снизу ложился на лицо, искажая его, придавая ему шутовское сходство со всеми, кто перешел черту... Все в комнате говорило о своей подлинности, сумрачным блеском старинной бронзы, массивностью, гармонией форм, бархатно и глухо говорило, что сотворено для вечной жизни, чуждо всему сиюминутному, преходящему, всему, что неважно. А этот искусственный костер и Саша над ним — они оба были откуда-то не отсюда, как из дурной постановки. И глухо, голосом уставшего актера Саша дочитывает кем-то плохо написанный монолог:

— Я никогда не мог вот так легко отказаться от любой возможности обогащения. Бедность унижительна, только

деньги дают свободу. Но завидую безумцам, которым ничего в этой жизни не надо — им чужд мир материальных благ.

Не так уж и чужд, Саша, однако пора уносить ноги. И я встала.

Мы очень трогательно прощаемся в прихожей, я желаю ему счастливого пути и полного выздоровления — я очень искренне желаю ему благополучно отбыть и когда он будет там, откуда я стану недосыгаемой для него, пусть он будет здоров и счастлив.

Что-то все-таки в нем есть, какая-то игра воображения... наверное в жизни такие люди тоже нужны, что-то они в нее вносят, какую-то острую ситуацию.

В последнюю минуту он напоминает мне:

— У меня к тебе одна просьба: кто бы, когда бы не интересовался, зачем я тебя вызывал, что предлагал...

Я хотела сказать: «держи дверь на цепочке». Но промолчала.

— ... помни, я предлагал тебе работать над фильмом об истории еврейского театра... или над фильмом о русском модерне — словом, все что угодно.

— Конечно, Саша, — говорю я и сама открываю французский замок. Толкаю дверь, и она упирается в грудь стоящего за ней Морковина.

— Здравствуйте! — говорю я. — То есть прощайте! — и бегу вниз по лестнице.

Розыск тела отменяется. Я спешу к поезду, номер которого, час отбытия и прибытия мне и самой неизвестен...



*Валерий ЧЕРЕШНЯ*

## ОТПЕВАНЬЕ ПО УШЕДШИМ И ПРОПАВШИМ

Бог дарует тихую обитель,  
Ясный день, нежаркую погоду,  
Трезвый ум, способность ярко видеть  
Раз в году, и реже год от года.

Вот и мне, быть может на неделю,  
Осенью, порою листопада,  
Достается райское безделье,  
Золотая соразмерность взгляда.

Достается комната в три роста,  
Зеркало в витой старинной раме;  
Зеркало бесчувственно и просто  
Отражает прожитое нами:

Пастушка с пастушкой на салфетке,  
Пианино, море с облаками,  
Женщину, грустящую в беседке,  
Мальчика, играющего гаммы.

Мальчик полон страхов и печалей,  
Он боится смерти и болезни,  
Он не видит смысла в том начале,  
Что со временем сотрется и исчезнет.

Я не трону женщину в беседке,  
С ней и так все было слишком сложно,  
Пусть сидит в своей зеленой клетке, —  
Есть стихи, в которых все возможно.  
Можно очутиться в прошлой жизни  
Так, как очутились эти двое,  
Замогильный запах жухлых листьев  
Их приводит к счастью и покою.

Путь ведет скрипучим черным ходом,  
Длинной итальянской галереей,  
В комнату, откуда мальчик родом,  
Где стоят шкафы, как иереи.

Грузным соглядатаям зачатий  
И смертей в дряхлеющей квартире, —  
Что им скрип продавленной кровати,  
Тонкий вскрик живого в этом мире?

Комнаты предутренние тени —  
Отпеванье по ушедшим и пропавшим.  
После стыдной суеты забвенья  
Прошое становится всегдашним.

В этом дар твой, тихая обитель,  
Строгий смысл за легкою игрою,  
Словно кто-то обделил или обидел  
И потом одаривает втрое.

\* \* \*

Обнимаешь руками себя  
(будто так ты скорее уснешь),  
только собственной плоти тепло  
уверяет еще, что живешь.

Заклучив эту теплую дрожь,  
упираясь зрачками во тьму, —  
«чем ты дышишь и как ты поешь?» —  
выдыхаешь себе самому.

Столько ночи собралось в вещах,  
столько здесь над тобой темноты,  
что коснувшись чужого плеча,  
удивишься, что есть и не ты.

Так нелепо и хлипко вокруг,  
так ведет жизнесмерть свой помол,  
что ее жернова не сомнут  
лишь того, кто действительно гол.

Конец 70-х — начало 80-х, Ленинград.

\* \* \*

Тот край, где чувственным узором  
Зной зыблет жаркие границы,  
И переливчатым пробормотом  
Проходит ветер по пшенице.

И берега сползают к морю,  
Как раб к ногам, прося пощады,  
И, словно ропот в древнем хоре,  
Листвы взволнованное стадо.

Но вот, — гроза. Потоки между  
Лопаток улиц взбухнут вскоре, —  
То мокрый город, сняв одежду,  
ее выкручивает в море.

А через час — закат лимонный,  
 Опять светло, омыто, людно.  
 Так улыбается спасенный  
 Улыбкой вымученной, чудной...

### Отрывок

... и мысль о смерти так меня пугала,  
 что я готов был сбросить одеяло  
 и, в кашле задыхаясь, убежать  
 из комнаты ночной, чей тусклый взгляд  
 осколком зеркала, настольной лунной вазой  
 был устремлен на старую кровать,  
 на темное молчание — и сразу  
 деревьев шепот за моим окном  
 приобретал зловещее значенье  
 бесстрастной сплетни о моем мученье,  
 но что-то так еще пугало в нем,  
 и чудился мне в шелесте ночном  
 какой-то облегченный вздох бессмертья,  
 как будто им приснился странный сон  
 о длинной жизни, неизбежной смерти,  
 и так всю ночь, и ни о чем другом,  
 пока, осыпав тяжесть сновиденья,  
 от ветви к ветви, дальше, под уклон,  
 не пробуждались стоном: обречен,  
 имеющим к больному отношенье,  
 ко мне, больному, ждущему спасенья  
 с рассветом, не спешащим, как назло.  
 И здесь, в отчаяньи, пока темно,  
 я доходил до крайнего смиренья:  
 ну что же, смерть — так смерть, мне все равно,  
 среди знакомых стен, картин, ковров,  
 всего, что собрано распахнутым окном,  
 и дальше: улиц, уводящих косо  
 к заросшим тупикам булыжный свой покров,  
 сводящих воедино душу, кровь,  
 ведущих в смерть, как в небольшую осыпь,  
 я засыпал...

### Затмение

Наше счастье так непрочное,  
 Что во всем испуг:  
 В бликах на воде проточной  
 И в движеньи рук.

Мне понятен этот чуткий,  
 Страха полный взгляд:  
 Только одного приручишь —  
 Сотни налетят.

А потом ведь нужно скоро  
 Выходить во двор.  
 У людей одна опора —  
 Узкий кругозор.

И в любом, любом начале  
 Сразу есть конец.  
 Мы творим свои печали,  
 Маленький мудрец.

Лишь деревья понимают  
 Как людей спасти,  
 Но у них свои заботы —  
 Слушать и расти.

И в разгадке их терпенья,  
 Вечной немоты,  
 Ищем мы успокоенье  
 В путанные дни.



*Лев ДАНОВСКИЙ*

## СКЛОНИЛАСЬ ГАРМОНЬ КОСОБОКО

Выше планку и выше стропила,  
Глубже слово, свободнее звук.  
Уносило меня, заносило  
И весло выбивало из рук,

Говоря фигурально, течение  
Безразлично бурлящей реки.  
Выручай, выручай порученье,  
Расширяй смысловые круги.

А иначе затянет в воронку  
Разъедающей все нелюбви.  
Возмущай, не щади перепонку  
Барабанную. Где визави?

## СКЛОНИЛАСЬ ГАРМОНЬ КОСОБОКО

99

Или так же он точно морочит  
Разговором осеннюю мглу.  
Ибо загнанный в угол бормочет  
Только то, что понятно углу.

### В переходах метро

1.  
Беженка просит на хлеб  
Ребенок просит на гроб  
Лучше бы я ослеп  
Дед продает укроп

Лучше бы я ослеп  
Впрочем это клише  
Я подаю на хлеб  
Я не могу уже

2.  
Раскинулось горе широко  
И войны бушуют вдали.  
Товарищ, но где подоплека?  
Товарищ далеко, далеко  
Далеко от нашей земли.  
Склонилась гармонь кособоко,  
На рейде ночном тишина,  
В пыли и тумане дорога.  
На лицах тревога, морока —  
Кому еще песня нужна.  
«Когда это все прекратится?» —  
Кричит неопознанный псих.  
Монах начинает молиться,  
Уборщица вдруг матерится,  
Летят перелетные птицы  
И много парней холостых.

3.

Это те, кто не успели,  
Не вписались, не смогли.  
Это те, кто в самом деле  
Оказались на мели.

Кто отброшены за скобки  
И опущены на дно,  
Для кого Приют Похлебки  
Строят в городе давно.

Перепутья и развилки —  
Государева стерня.  
Это — стружка и опилки  
Под копытами коня.

4.

Капля не переполнит чашу —  
Превратится в кристалл.  
Ангел стоять на страже  
Петрограда устал.  
Уж больно ты озабочен,  
Кошелек теребя.  
Но стих евангельский точен  
И настигнет тебя.  
Вот тогда, под алмазом,  
Блещущим правотой,  
Ум заходя за разум  
Там столкнется с такой  
Переменою взгляда,  
О которой пока  
И толковать не надо,  
Если бы не тоска.

### Выздоровление

Я лежал в палате с одним бомжем, читавшим  
Мне стихи о советском паспорте. За окном  
Шел тяжелый и мокрый снег с бесконечно уставшим  
выражением ходока. И все время снился боржом.

Через день протирали полы, окуная в хлорку  
Видавшую виды швабру. А сосед  
Сообщал торжественно, что обожает Лорку  
И Константина Симонова, да и сам — поэт.

И тогда я подумал, что смерть и карикатура —  
Вещи две несовместные, как кровать  
Поприщина и трон короля Артура,  
Что сердечная выдержит арматура  
И не стоит паниковать.

Что королевство кривых зеркал ничуть не хуже,  
Чем одно идеальное, но завешенное с утра.  
И что, как правило, внезапным припадком стужи  
Заканчивается оттепели хроническая хандра.

\* \* \*

Мальчик возвращается из школы  
Синеватая густеет мгла.  
Страха вертикальные уколы  
Радость освещенного угла.

Нежная искрящаяся крошка —  
Слабая под каблуком пурга.  
Хулигана ловкая подножка  
Ненависти вольтова дуга.

Кулаки, румяные от злобы,  
Рыжее в подпалинах пальто.  
Паиньку воспитывают, чтобы  
Никогда не спрашивал «за что».

Навсегда бы отвыкал от жеста  
Побежденного перед врагом.  
Чтобы время знал свое и место,  
Смахивая слезы рукавом.

## Песенка

Снежок, снежок, превращайся в метель,  
Не кружись вразнобой.  
Летучую созывай артель,  
Вычисти город пургой.

Снежок, снежок где верх, где низ?  
Денис, Абрам, Абдулла.  
Легкость, вьющийся твой девиз,  
Ни разу не подвела.

Снежок, снежок, а за мной должок:  
Пока не поздно, успеть  
Нескончаемый твой стежок  
Еще и еще воспеть.

Снежок, снежок обещают плюс,  
Синоптику не перечь.  
Поминальный послушай блюз,  
Близорукую речь.

Исправно, исправно службу неси,  
Пехотинец Белой Орды.  
А подробности расспроси  
У родственницы — воды.

1996 г. С.-Петербург



ВСЕАМЕРИКАНСКИЙ ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

# Вестник

САМЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ И АВТОРИТЕТНЫЙ ЖУРНАЛ!

«ВЕСТНИК» ВЫПИСЫВАЮТ В 48 ШТАТАХ США,  
В 6 ПРОВИНЦИЯХ КАНАДЫ!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «ВЕСТНИК» СЕГОДНЯ!

### Постоянные рубрики «Вестника»

«Актуальный комментарий» А Сиротина, «Вашингтонский калейдоскоп» С. Левченко, «Обмен политическими мнениями» В Енютин, «Американская политика» А Лазарева, «Очерки по истории религий» В Лебедева, «Бизнес с Россией» Р. Кашлинского, «Новости Голливуда» М Шатерниковой, «Инфосмесь» В. Зубова, «Калейдоскоп» Г Бурганского, «Автомобиль и мы» Л. Светлосанова, «Видеоклуб» А. Канторовича, «Холистическая медицина» Т. Зильбертер, «О шахматах с улыбкой» В Каминского, «Советы юриста» М. Котлярского и А. Дранова. «Финансы» А. Зельцера.

В последних номерах «Вестника» вы найдете следующие материалы

— интервью с В. Войновичем, М. Шемякиным. П. Шапиро. Э. Кузнецовым. Я и Н. Посельскими, В. Мирзаяновым

— рассказы Э. Дрейцера, Л. Железняк, Д. Рубиной, Н. Циписа

— В. Агафонов «К. Паглия — героиня и проклятие феменизма», И. Алиханов «Согретье сталинским солнцем», Т. Волынский «Старик Державин нас заметил», М. Гольденберг «Отец и сын», Б. Голдин «Контракт .. на смерть», Л. Дыхно «Проблемы программ Медикейр и Медикейд», Б. Езерская «Огонь на себя», Л. Кафанова «Убийца: прав или виноват», В. Клантантис «Романтик, герой, юдофоб». К. Кожевникова «Птицы нашей молодости», В. Левин «Чаепитие со скунсом, или повара антисемитской кухни», М. Лемхин «Американский Чехов Генри Джеглома», В. Люлечник «Руководитель РОД в годы войны», А. Малиевский «Адмирал Касатонов сообщает», В. Малиновский «Несколько штрихов к портрету В. Шукшина», А. Наумов «По следам жизни», В. Нузов «Ушедшее тревожит», М. Прицкер «Забытые мюзиклы», К. Сапгир «Окаянное дело», Л. Рудский «Личный архитектор Сталина», В. Снитковский «Россия глазами советника Ельцина», В. Соснора «Изгнание и литература», И. Туфельд «Загадка 54-летней давности», А. Харьковский «Роберт Стивенсон — творец мифов». Ш. Черток «Как убили Садата», Б. Шлаен «Парижский Сезар», М. Шейнис «Дайте мне Гарвард — или смерть»

— стихи Б. Кушнра, Я. Торчинского, И. Ландо,

— кроссворд, гороскоп, шахматы, анекдоты и мн. другое

Стоимость подписки на год (26 выпусков) в США и Канаде \$48, на полгода \$25. В Европе, России, Израиле и Австралии на год \$59, на полгода \$36. С этим объявлением для жителей США на год \$35.95. Для оформления подписки и заказа бесплатных ознакомительных номеров пришлите свой адрес и телефон вместе с оплатой на адрес редакции «Вестника»: VESTNIK, 6100 Park Heights Ave., Baltimore, MD21215 3624, U.S.A., tel. (410) 358 0900. fax (410) 358-3867. Принимаем кредитные карты. Подписка начинается через 4-6 недель после получения оплаты

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ

## «ПРЕКРАСНОЕ» ВСЕГДА РЯДОМ

**Какой порядок маячит за спиной Ельцина?**

*Полемические заметки*

— Ах, как хорошо, что не победили коммунисты! Если при Ельцине возможны такие истории! То при коммунистах от одной мысли становится страшно! — вот так реагировал на этот рассказ мой собеседник, американский политолог.

Я уже привык к тому, что происходящее в России обычно рассматривается под углом выборов. Даже самые будничные вещи. И всюду одно и то же: слава Богу, что победил Ельцин. И коммунисты провалились.

Ниже я еще вернусь в этой теме. И сколько это ни рискованно, попробую сделать некий прогноз, рассмотрев два варианта возможного развития России — один на основании реального хода событий: что значит победа Ельцина? А другой как бы в сослагательном наклонении, что бы изменилось, если бы победили коммунисты?

Читатель, возможно, еще увидит, что не так все просто, и вопрос далеко не сводится к тому, де рынок и демократия (при Ельцине) и коммунистическая диктатура (при Зюганове). Дело, как мне кажется, пойдет совершенно в другой плоскости, например: демократия или военная диктатура? И только на первый взгляд все выглядит просто: демократия — это Ельцин, а фашизм или диктатура — это коммунисты. Просто, когда мы оперируем готовыми клише, от которых так часто приходится отказываться при рассмотрении конкретных фактов истории и реальной расстановки политических сил.

Впрочем, все по порядку, и для начала я вернусь к истории, происшедшей со мной в Москве и всколыхнувшей в моем собеседнике-политологе столь горячие эмоции. История, по словам моего друга, адвоката П.С. Рабиновича, почти классическая, как он сказал, казус из учебника уголовного права. Но если и казус, то с моей точки зрения, довольно примечательный, хотя и не связанный ни с правлением Ельцина, ни с коммунистами, а просто на тему, какой я увидел российскую действительность, оказавшись накануне выборов в Москве.

Итак, что же произошло? Сняв в день прилета номер в одной из центральных гостиниц, волей случая я оказался через парадней на Ленинградском шоссе. Сошел с 12-го троллейбуса у остановки «Академия Жуковского», свернул направо и пошел себе по направлению к приобретаемой в Москве все большую известность гостинице «Аэро-стар», в ее лобби мы договорились встретиться с одним из приятелей.

Шел я, о чем-то своим задумавшись, и менее всего подозревая, что произойдет случай, который едва не вовлечет меня в весьма опасную криминальную ситуацию. Последнее, впрочем, ничто вокруг не предвещало — ни на редкость прозрачный день, ни светившее в глаза ласковое солнце, ни мирное шествие вокруг пешеходов — ничего на свете!

И вот в шагах ста от входа в гостиницу я вдруг услышал звук падающего на тротуар кошелька, — какого-то старомодного, длинного мешочка, затянутого сверху бечевкой, — из тех, что когда-то, в стародавние времена пользовались наторговавшие на рынке крестьяне.

Я хотел было его поднять и вернуть по назначению человеку, быстро удалявшемуся в раскинувшийся по правую руку парк. Но кошелек уже был в руках у оказавшегося рядом мужчины, который тотчас, на моих глазах, его развязал: я не поверил глазам, этот деревенский, неведомо из какой лавки древности кошелек оказался туго набитым долларами. Поднявший его подмигнул мне — де надо какой сюрприз! «Пошли в гостиницу, разделим!» — весело предложил он. «Да вы с ума сошли!» Я стал

говорить ему, чтобы он вернул находку хозяину, который еще не успел скрыться с глаз. «Да вы что! Может, вам деньги не нужны? А мне нужны до зарезу, пошли разделим!» Кончилось тем, что он, окинув меня странным взглядом (де не перевелись еще такие чудачки), пробурчал себе под нос: «Ладно уж, пойду, отдам!» и не спеша побрел следом за удалявшимся в парк хозяином кошелька, явно не собираясь догонять его.

Какая нелепая история! — не мог я успокоиться, — отчего, интересно, он так рвался делить со мной находку? Боялся моего свидетельства? Но ведь я предложил вернуть кошелек, и ни во что ввязываться не собирался.

Я рассказал о происшедшем знакомому бизнесмену, слышшему в кругах человеком бывалым. Он с улыбкой слушал меня (словно улыбаясь моей наивности!) и весьма красочно дорисовал возможный конец этой истории: на тот случай, если бы я отправился делить деньги. Во-первых, после дележа мой напарник наверняка бы сгинул и словно из-под земли вырос бы владелец кошелька, утверждая, например, что было там две тысячи долларов. «Но послушайте, какие две тысячи? Туда столько бы и не вошло!» — стал бы я тщетно искать сгинувшего в небытие «партнера».

Но вместо него стали бы один за другим появляться подозрительные личности, которых в Москве с чьей-то легкой руки прозвали «крутыми».

По мнению моего знакомого, самым удачным исходом было бы то, если бы я срочно раздобыл две тысячи боксов. Неудачный исход он обсуждать отказался в силу его абсолютной непредсказуемости. «Хорошо отделались! — заключил он, — мог бы случиться и вынос тела!»

Повторяю, происшедшее не имело ни малейшего отношения ни к ельцинской демократии, ни к коммунистам — был это просто «взгляд и нечто». Но знал я по опыту: если случалось нечто подобное, жди очередного сюрприза хотя бы потому, что в Москве подобные неприятности всегда рядом.

Когда-то в советские времена говорили: «прекрасное всегда рядом», а теперь всегда рядом вот это. Так или

иначе, я сел в метро и восвояси отправился к себе, в гостиницу.

По телевидению показывали одну из предвыборных поездок Ельцина, кажется, в Воркуту: в шахтерской каске он выглядел исключительно мужественным и благородным, затем последовала передача о Зюганове, который в тесном кругу своего электората, собравшегося на окраине Волгограда, ужасно глупо и комично отбивал чечетку.

Передачу прервал телефонный звонок, часы показывали четверть двенадцатого. В трубку приятный девичий голос сказал мне: «Добрый вечер!» и поинтересовался, чем я занимаюсь. Не успел я подумать, что бы это значило, как тут же услышал: «С девушкой провести время не желаете?» «Этого еще не хватало!» Разозленный бесцеремонностью ночной собеседницы, уготовил и я ей маленькую месть, правда чисто словесную.

— Провести время с девушкой? Почему бы нет? Кстати, а как вас зовут?

— Наташа! — ответил на другом конце провода голос.

— Послушайте, Наташа, с чего это вас вдруг, за здорово живешь, потянуло ко мне в номер?

— Почему же за здорово живешь? — почувствовал я удивление. — За определенную сумму. У меня ставка — 120 долларов, но понимаете, — замялась она, — у нас сейчас сэйл, для вас будет только 100 долларов. К тому же мы рядом, на одном этаже.

«Сэйл» меня настолько умилил, что я на мгновение растерялся.

— Соглашайтесь, я очень спешу, тут у меня неприятный нюанс...

— Спасибо, Наташа, но, пожалуй, в другой раз, — положил я трубку, опасаясь, как бы не влипнуть в другую историю.

Потом по телевизионным «Новостям» сообщили, что в час дня произошло ограбление пункта обмена валюты. Валютный кассир ранен. Грабители скрылись. Ведется следствие.

Не успел я положить трубку, как телефон зазвонил

снова — это был уже настоящий сюр: звонили из администрации гостиницы. На этот раз мужской голос — опять же в высшей степени вежливый — поинтересовался, из какой я страны прибыл и «когда планируете съезжать?»

— Что это, допрос? — не выдержал я.

— Да, помилуйте, просто небольшое выясненьце обстоятельств, вам, случайно, передо мной девушка не звонила?

«Идиот!» — выругал я себя в сердцах. С улицы в окно, сквозь тяжелую портьеру, били в глаза прожекторы. Несмотря на них, усталый, я быстро погрузился в дрему, и приснился мне такой сон, что я уже безо всякой связи с темой просто не вправе не поделиться с читателем — ну хотя бы для того, чтобы показать, насколько вздорна в последнее время вся моя жизнь. Так вот, приснился мне не больше, не меньше, как Геннадий Зюганов, будто пришел я к нему брать интервью. А он, пожав мне руку, вдруг заявил, что политику он в последнее время забросил — надоело! И решил обратиться к главному делу жизни, «вы же знаете, что я доктор философии». Так вот, все эти годы он писал книгу и достал с полки увесистый кирпич, озаглавленный «Философия музыки», на обложке которой красовались фамилии двух авторов: Геннадий Зюганов и композитор Гедике, так черным по белому и было «композитор Александр Гедике, профессор Московской консерватории».

Когда Зюганов открыл обложку, собираясь сделать дарственную надпись, в комнате неизвестно откуда появился его зам по партии Купцов и спросил, не слышал ли Зюганов о новой сионистской подлянке. Зюганов осторожно показал ему глазами на меня, в этот момент в номере снова затрещал телефон, разбудивший меня.

На этот раз — коридорная. За окном уже рассвело. Коридорная сообщила, что по распоряжению администрации всем гостям обмениваются гостиничные визитки. В чем причина? А вы что не слышали? В четыре утра произошло убийство, женщину застрелили, как раз на вашем

этаже!» «Сон в руку, — подумал я, — не иначе как сионисты!» И не без грусти вспомнил девушку — Наташу на «сэйле».

Мне уже было интересно, как и чем кончится эта моя московская эпопея. Я дал себе слово ни с кем не заговаривать — нигде и ни о чем, тем более завтра отлет в Нью-Йорк.

Выйдя из «Мак Дональда» на Пушкинскую, я купил газету, кажется, «Аргументы и факты». Сел на лавочку возле памятника Пушкину, развернул и глаза уткнулись в маленькую петитную заметку, сообщающую, что в 1995 году покончили самоубийством 300 работников органов внутренних дел.

Вот и все: кого-то грабили, кого-то убивали, стражи порядка стрелялись.

На этом, пожалуй, закончу этот и без того затянувшийся рассказ о моей последней московской поездке. А заодно поставлю точку на литературе.

Да и тема моего эссе — не российская преступность и, вообще, не описание российской жизни. В этом случае я должен был бы остановиться на изобилии продуктов и товаров в нищей еще вчера России, на свободе слова, печати, демонстраций. Что ж, сегодняшняя Россия — это, действительно, свободная страна. Даже сны в этой стране демократические — лидер коммунистов пишет книги в соавторстве с выдающимися композиторами-мастерами органной музыки, такими как Гедике. И, если я начал с преступности, то исключительно для того, чтобы показать, как она становится неотъемлемой частью жизни общества — не то, что на улице убивают, а дома спокойно. Никакого спокойствия вообще! Где жизнь — там и преступность. Настолько все срослось, что без этого «прекрасного», которое всегда рядом, не проходит и дня. Так же, как и во время моей московской поездки, атмосферу которой я попытался описать. Не без помощи, конечно, литературы: описать жизнь накануне выборов, когда в острой политической схватке столкнулись две наиглавнейших политических силы: Ельцин со сторонниками (или как еще их называют рыночники и демок-

раты) и восставшая из пепла и рвущаяся к власти коммунистическая партия.

Но время расстаться с литературой — атмосфера передана! — и можно, напрямую, переходить к политике, о которой и пойдет весь дальнейший разговор.

### **Почему победил Ельцин!**

И в самом деле, почему все же победил Ельцин? Если не растекаться по древу, то ответ такой: «Ельцин победил потому, что население не видело другого выхода. Если коммунисты, то ведь это конец всему: демократии, свободе, возврат к нищете». Просто и ясно. Дальнейшее вообще не требует комментариев, особенно для людей, заставших эпоху сталинизма.

Коммунисты есть коммунисты. Последнее так глубоко засело в головах избирателей, что Ельцину, похоже, даже и не требовалась вся его зубодробительная антикоммунистическая пропаганда. К тому же за него горой стоял Запад, который также облегченно вздохнул, снова увидев его, поборника рынка и демократии, в президентском кресле.

Пробыв 16 лет в партии, я хорошо знаю ей цену, испытав на собственной шкуре, что такое коммунисты. Знаю-то знаю, но все равно, ради постижения ситуации, хочу отказаться от штампов и эмоций, в плену которых находятся так много людей, начиная от президента Клинтона и кончая рядовыми российскими обывателями, из уст которых на каждом шагу как раз и слышим: «ах не дай бог... Чтобы снова сталинизм... Надо молиться богу...» и прочая и прочая.

### **Коммунисты и власть**

Так вот, отказавшись от всего этого, перейдем к анализу российской действительности. Вот и положим на одну чашу весов политику коммунистов, на другую —

сторонников Ельцина. И попробуем пункт за пунктом сравнить их и взвесить. И для начала зададимся вопросом. «Что, если бы события повернулись по-другому и победили коммунисты? Гибель демократии? Нищета? Возврат к сталинизму?» Во всех своих выступлениях Зюганов отрицает это. И абсолютное большинство комментаторов — в России и на Западе — не верят ему. Де какой же нормальный человек, вообще, верит коммунистам! Горбатого могила исправит. Вот подождите, пройдет год-два и они покажут вам кузькину мать. Это то, что мы слышим. А теперь трезвый анализ. Безо всякой риторики и эвфемизмов.

Начнем с того, что, победи Зюганов на выборах, ни к какому сталинизму он возвращаться бы не стал. Не потому, что он и его сподвижники отказались от марксизма и стали другими, уподобившись социал-демократам на Западе.

Допустим, в душе они остались теми же, что мы их знали в советские времена. Допустим. Но возможен ли в принципе поворот вспять? К сталинизму? Под силу ли он им? Сталин создавал свою империю десятилетиями. Пришел к ней через коллективизацию, тридцать седьмой год, через массовый геноцид и идеологический террор. Сталинская империя представляла собой нечто дьявольски законченное, в своем роде гармоничное. Сталин был дьяволом во плоти, злодеем, пожалуй, единственным в своем роде в истории.

Спрашивается, способен ли на это «Зюганых», бывший инструкторишка ЦК партии и его сподвижники, сплошь ничтожества и посредственности? Это если не брать в расчет саму ситуацию, а, если бросить взгляд на жизнь? Право же, коммунистическим лидерам не может быть не ясно, насколько изменилось российское население. Не только люмпенский и пенсионный электорат коммунистов — а население, вообще, которому рыночное хозяйство помогает вырваться из нищеты. Для десятков миллионов это путь надежды и благоденствия. Станет ли Зюганов, вот так, ни за что, ни про что, отказываться от этого пути? Во имя ублюдочной плановой экономики? Станет ли, ради

голой марксистской догмы, отказываться от помощи Запада? Наконец, рискнут ли коммунисты пойти на отказ от демократии и свободных выборов, утвердившихся по всей России, снизу доверху? Втайне, может быть, они и хотели бы этого. Но как это сделать? Как лишить свободы народ, который уже изведal ее? Как отказаться от плюрализма в пользу тоталитарной однопартийной системы, цену которой хорошо знает население?

Но, если и рынок и демократия и контакты со свободным миром сохранятся, то что же мог бы значить приход коммунистов? В чем-то мог бы значить многое. Для самих коммунистов. Достаточно вспомнить Владимира Ильича, который не уставал утверждать, что главным в политике является вопрос о власти. Так вот, коммунисты (не обязательно старые, ортодоксы, пытавшиеся совершить в августе 1991 года путч), но и новое поколение — все они как раз и рвутся прибрать к рукам власть. И вместе с ней все колоссальнейшие преимущества, которые она дает правящей партии. Вот и все. В этом все начала и концы.

Конечно, выполняя свои предвыборные лозунги, коммунисты попробуют поддержать государственные предприятия, попытаются хоть в какой-то степени вернуться к так называемым социальным завоеваниям (соцстрах, детсады, дома отдыха и т.д.). Насколько они окажутся способными все это вернуть — другой вопрос. Но главное — власть — победив на выборах, они ее получили бы.

### **Близнецы-братья. Кто опаснее!**

Итак, если мы сравним зюгановскую партию с окружением Ельцина и заглянем в прошлое тех и других, то не трудно будет прийти к выводу, что и те и другие — выходцы из одной и той же коммунистической номенклатуры, так сказать, близнецы-братья. Если посмотреть, что руководство Ельцина и его ставленники творят в стране, как присваивают себе народное добро, как помогают своим приспешникам в бизнесе перекачивать капитал за грани-

цу, то вряд ли увидим в их лице реформаторов, демократов, — демократическая у них только фразеология — а во всем остальном это те же коммунисты. С теми же мафиозными приемами и грабительскими устремлениями. (Достаточно вспомнить таких «демократов», как начальник ельцинской охраны и ближайший его сподвижник Коржаков, чьи «ребята» дадут двадцать очков вперед сталинско-брежневским гэбистам или взять начальника контрразведки, недавно снятого Барсукова, или собиравшегося стать президентом Сосковца, да, наконец, самого Ельцина с его чисто большевистскими замашками, когда в любое время на пути власти он готов устроить кровопускание.)

Вывод из сказанного более чем прост — с приходом коммунистов вряд ли уж так многое изменилось бы, кроме того, что власть из рук одной группы номенклатурщиков перешла в руки другой.

А теперь посмотрим, что нам обещает дальнейшее правление Ельцина. Тут надо прежде всего вспомнить конституцию, которую Ельцин со своими сподвижниками готовил — не столько для страны, сколько лично для себя или как говорят в России, под себя, стремясь обеспечить себе максимум власти. Но говоря о самом Ельцине следует признать, что вряд ли выглядит реальной опасностью, что он сам сделается диктатором, отказавшись от демократических завоеваний. Слишком много он поставил на эту карту, благодаря ей взобрался на самый верх, обретя беспрекословную поддержку свободного мира и получив на старости лет возможность упиваться властью. Именно упиваться — но не править. Церемониальное президентство, кажется, его все больше устраивает. Править реально у него, номенклатурщика обкомовского масштаба, нет ни таланта, ни государственной мудрости, ни дара предвидения — черт в высшей степени необходимых для управления такой сверхдержавой, как Россия. Так вот, есть у него лишь качества номенклатурного большевистского деятеля, одаренного талантом избавляться от своих политических соперников, который он блестяще демонстрировал в течение всех лет своего

правления. России не привыкать к такого рода лидерам — достаточно вспомнить Хрущева, Брежнева, Андропова, да самого Сталина, воистину гроссмейстера в самой грязной политической игре.

Именно на примере Сталина народ знает, как опасно доверять полноту власти подобного рода лидерам, которых от захвата власти и установления тоталитарного режима ограждает не демократические и правовые устои государства, но лишь их физическое состояние, лишь мера их честолюбия и амбиций.

Хорошо, допустим, что со стороны Ельцина — хотя бы в силу его состояния здоровья — такой угрозы сегодня не существует. Слабое здоровье президента красноречиво говорит о том, что ему осталось недолго править страной (по мнению некоторых западных экспертов он более шести месяцев не протянет). Что же тогда? Тогда-то как раз и может наступить наиболее опасная ситуация. Практически неограниченные диктаторские полномочия, данные президенту конституцией, перейдут к другому персонажу российской политики с неограниченным властолюбием и амбициями. Опасность перехода к тоталитарному, фашистскому или полуфашистскому режиму в этом случае может оказаться много реальнее, чем от прихода к власти коммунистической компании. Если говорить о скомпрометированных самой историей коммунистах, то любая попытка установить диктатуру будет лучшим подтверждением, насколько правы их политические противники, предупреждавшие народ об их опасности. В этих условиях пойти на диктатуру для компартии — это потерять последние остатки доверия населения, а вместе с ним и доставшуюся им с таким трудом власть.

Другое дело преемник Ельцина. Он-то возьмет власть во имя самых возвышенных идеалов — уроков в советской истории более чем достаточно.

Все эти рассуждения можно было бы охарактеризовать как род спекуляций, если бы под ними не было определенного фактического развития событий. Имеется в виду рвущийся к власти генерал Александр Лебедь, получивший на выборах 11 миллионов голосов, открыто заявляю-

щий, что его идеал Пиночет и не скрывавший того, что рвется стать президентом. Для чего? Чтобы захватить полноту власти и установить военную диктатуру? Но подобного не заявлял даже Гитлер. Последний провозгласил своим идеалом установление немецкого порядка ради высших интересов арийской расы. Вот и Лебедь, получивший высшую военно-политическую власть в стране, заявляет, что он видит свою цель в том, чтобы покончить с анархией и преступностью и установить в России порядок — именно то, о чем мечтает российское население. Не правовой, демократический порядок, которым гордится любая из стран Запада, а порядок, вводимый железной рукой диктатора. Но возможно ли это? Не возникнет ли угроза выбросить вместе с ванночкой и ребенка? И не будет ли все это означать конец российской демократии? Скажем ли мы после этого: «Ах, какое счастье, что победил Ельцин!», за спиной которого маячит такого рода перспектива.



*Дмитрий БЫКОВ*

## НОВАЯ РОССИЯ

Я собирался писать другую статью. О том, как и в какой момент мы проиграли демократию, как позволили красным все, что позволили, на каком повороте споткнулись — и прочая, и прочая. Сегодня мне это неинтересно. Потому что ничего мы не проиграли. Судьба подбросила мне поездку в подмосковный город — такой, по выражению Валерия Попова, «шаг в сторону», симпатичный зигзаг, вольность без всякой служебной необходимости. Весна с ее запахом запретной свободы способствовала некоторой легкости и как бы необязательности происходящего. Во время таких зигзагов, вырываясь из контекста повседневной своей рутины, видишь, что представляет собою твоя страна в ее новом варианте. Об этом — о живой фактуре — писать всегда приятнее. Текст буквально оживает под руками. Размышлизмы оставим прохановцам — им теперь ничего другого не остается, ибо фактура жизни никогда не работает на них.

Я получил письмо от читателя, что по нынешним временам редкость, — и от СВОЕГО читателя, что редкость по любым временам. В письме оказались стихи — не для публикации и не для оценки, а, как писал автор, в подарок. Поверить, что эти стихи принадлежат восемнадцатилетней девушке, было сложно. В целом это одно из тех писем, ради которых только и стоит работать, — от Понимающего Человека из своего клана, типа, карасса, по-воннегутовски говоря.

Девушку звали Елена Румянцева.

Поскольку письмо отправилось из Коломны, городка на полпути к Рязани, я решил в относительно свободный день поехать туда и посмотреть живьем на Елену Румянцеву, которая пишет такие стихи и письма. Отправлять ей ответ мне совершенно не хотелось — что я мог бы написать, кроме обычных пошлостей вроде «Стихи ваши хороши, и вы хороши»?

Как всякий интеллигентного вида человек, я несколько смущаюсь, едуци в провинцию. Во-первых, москвичам долго внушали чувство вины перед провинциалами. Во-вторых, чувство вины это возникает само собою всякий раз, стоит выехать из Москвы. Сначала перед вами бесконечно тянутся гаражи, затем — какие-то малопонятные служебные помещения, которые у меня всегда, вне зависимости от их истинного назначения, ассоциируются со словом «пакгауз» — что-то жестяное, царапающее есть в самом его звучании. Потом вы едете вдоль пустырей, пустошей и пустот, вдоль грязной полосы отчуждения, вдоль чахлах перелесков и тех станций, вид которых еще бывает приятен днем и летом, но зимой и ночью доводит до дрожи: одинокий фонарь, нечитающееся название и перебрех окрестных собак, ненавидящих поездов. За десять километров от Москвы города уже не похожи на города — по большей части они деревянные. Такой город стандартен: два кинотеатра (одно время, после перестройки, в них особенно рьяно дрались на так называемых «молодежных вечерах отдыха» — молодежь таким образом откликнулась на вибрирующую в воздухе энергетику перемен), улицы Карла Либнехта и Розы Люксембург, площадь

Восстания, танк или пушка на пьедестале, страшное изобилие кооперативных киосков образца 1988 года... Вообще время под Москвой идет вдесятеро медленнее. Но люди тут, как ни странно, доброжелательней и щедрей, так что чувство вины перед ними за их быт возникает даже у тех, кто понятия не имеет о вечной вине интеллигенции перед народом. Я, в отличие от фарисействующих публицистов, не думаю, будто культура сохранилась только в провинции, — напротив, ее там куда меньше, но в немногих своих проявлениях она куда мужественнее, ибо развивается под более тяжким прессом.

Путь до Коломны не столь долог по меркам Московской области — два часа; после невыносимых калек Казанского вокзала, после жалости-ненависти к московским нищим в метро — электричка выглядит почти умиротворяюще, хотя бы и будучи нетоплена. Попутно успеваешь умилиться славному соседству станций «Люберцы» и «Панки», что в далеком восемьдесят шестом служило темой нескончаемых каламбуров — любера били в основном панков, и наоборот. На втором часу пути всякий нормальный человек задремлет. В Коломне этого человека подхватит от станции трамвай, распадающийся на вид, однако на самом деле маневрирующий довольно бойко. Вы спросите водителя, где купить билет. Он скажет вам, что контролера на маршруте нет, так что езжайте так.

Лены Румянцевой не оказалось дома — она ушла в парикмахерскую. Час мне предстояло где-то провести. В командировках, которых у меня лет пять назад хватало (тогда редакция оплачивала их, и даже считалось необходимым окунуть молодого сотрудника в гущу по самое оно), я больше всего любил бездельно болтаться по городу и таким образом с ним знакомиться. Напротив дома Лены Румянцевой пускали бутылку по кругу миролюбивые алкаши. Они предложили и мне (то была зубровка), но перед беседой с автором такого письма я почел за лучшее не надираться. За углом располагался кинотеатр «Горизонт» — я подумал, что пересажу часок на какой-нибудь американской ерунде вроде «Книги джунглей», которой сейчас на детских и взрослых сеансах наводнена

вся Московская область, — но в кассе мне сказали, что на этот сеанс пускают бесплатно. Проповедь.

Это меня уже взволновало. Прибыл проповедник из Москвы! Он, правда, не сообщил, какой он конфессии, — в объявлении стояло просто «проповедник», такие финты выкидывают чаще всего либо мунисты, либо американские баптисты вроде Билли Грэма, но рангом поменьше. Зал изрядно обшарпанного кинотеатра, медленно разваливающегося, как все советское кино, был полон на две трети. Предположить, что все эти люди приехали к Лене Румянцевой или просто должны были где-то пересидеть часок, я не мог при всей своей любви к фантастическим допущениям. Публика была разновозрастная — разумеется, несколько старух в платках, но и несколько мужиков средних лет, а все задние ряды занимала совсем уж школьная ребятня в диапазоне от третьего до восьмого класса. Их явно никто сюда не привел — учителей рядом не наблюдалось, и вообще организованный культпоход на проповедь выглядит редкостью даже в провинциальной школе. Страшно сказать, до чего людям должно быть нечего делать, чтобы вечером, в конце рабочей недели, они собрались в кинотеатре на бесплатную проповедь — первую из цикла о конце света.

На сцене, передвидавшим видом экраном, появились двое — один в белом халате и с каким-то бревном под мышкой, другой в строгом коричневом костюме, впрочем, не первой свежести. Тот, что в костюме, взял микрофон:

— Дорогие... — он замешкался, подбирая слово. — Дорогие горожане! Коломчане! — решил он наконец. — В Коломну прилетела Весть! И мы пришли к вам о ней благовествовать!

Дети в задних рядах захихикали, я тоже не удержался и прыснул в кулак. С этого момента мы с ними стали переглядываться в особо чувствительных местах.

— Мы принесли вам ангельское послание! — продолжал костюмный (я записал его фамилию, но зачем она?). — Все мы знаем, что такое конец света...

— А кто не знает, тот скоро узнает, — внятно сказал

невысокий круглый парень лет пятнадцати, сидевший чуть выше меня.

— И конец света близок! (нет, это был явно не мунист; диакон Андрей Куваев, конечно, живо идентифицировал бы его, — но, судя по апокалиптическим настроениям, тут было чистое сектантство).

— И эту благую весть они нам принесли, — сказал тот же парень, который начинал мне нравиться.

— И все, кто будет ходить на все наши лекции — а их пять! — получают о нем полную, исчерпывающую информацию! Даже если вы пропустите одно звено в цепи, вы можете пропустить то главное, что касается лично вас!

Самые младшие из детей начинали потихоньку ерзать и переговариваться. Остальные сидели смиренно.

— Мы приехали не только благовествовать, но и помочь вам! Ведь дух, душа и тело едины! Вот скажите: у кого из вас болят зубы?

Это был вопрос настолько неожиданный, что в зале произошло смутное движение. Ошарашивать аудиторию по методу Карнеги проповедник явно учился не один год. Кое-кто выкрикнул: «У меня!»

— Я привез к вам врача из христианской стоматологической клиники! — возгласил проповедник, беря за руку человека в халате и только что не поднимая эту руку жестом рефери. Ни о какой христианской стоматологической клинике я не слышал сроду и в Москве здорово удивился бы, узнав, что такая есть вообще. — Этот врач сейчас расскажет вам о вреде курения! — такой зигзаг беседы был даже круче зигзага, занесшего меня в Коломну.

Я был уверен, что зал заржет, или осыплет проповедника издевательствами, или начнет рассасываться, — но, видно, никаких альтернативных планов на вечер тут ни у кого не было, а доброта в русских еще не иссякла. Молодой в белом развернул свое бревно и сказал:

— Дорогие... горожане! (На «коломчан» он так и не решился; ох, трудно было бы ему в Пензе!) Если собрать все сигареты, которые курильщик выкуривает за год, — то получится вот такое! Вот столько вы за год выкуриваете! Да! Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас курит!

Поднялось рук десять-пятнадцать.

— А кто не курит?

Вдвое больше. Значительная часть зала воздерживалась от ответов, и я тоже почему-то не доверял этому человеку.

— Дайте мне, пожалуйста, сигарету! — попросил он, спрыгивая со сцены и бойко взбегая к нам, в верхние ряды. Круглолицый вынул сигарету и протянул ему. Я думал, он ее сейчас растопчет, но обошлось.

— Прикурите! — попросил христианский стоматолог.

Круглолицый прикурил и с наслаждением затянулся. На него смотрели завистливо.

— Теперь дайте вот этой гражданке! — жестом фокусника стоматолог извлек из-под халата куклу с двумя большими рыжими косичками и резиновой грушей, приделанной сзади. Круглолицый с сожалением отдал сигарету, врач вставил ее в рот кукле под одобрительный смех аудитории и при помощи груши стал курить.

— Она покурит, — сказал он интригуяюще уже со сцены и стал там расхаживать, дымя куклой. Минуты через три ему это надоело. Зал сидел, затаив дыхание.

— Вот! — сказал стоматолог, извлекая откуда-то из кукольных недр листок бумаги. — Видите этот листок? Он был белым, а стал черным! А ведь она покурила всего несколько минут!

— А мы не видели листок! — запищали девчонки из задних рядов. — Он, может, уже и был черный!

— Так что вот, господа, — сказал стоматолог.

— Этот врач примет вас бесплатно, — снова вступил проповедник, выходя из кулисы. — Если у вас будет сердечная... простите, зубная боль, — поправился он под хохот зала, — то обращайтесь. А впрочем, я не так уж и ошибся. Зубы и сердце — они ведь очень тесно связаны!

От этой анатомической революции я приходил в себя, кусая кулаки, еще минут пять. Тем временем стоматолог в разных видах варьировал одну и ту же мысль:

— Токсины, — говорил он, — сплошные токсины! Они расширяют сосуды, а потом спазмируют их! — Он прочел

по бумажке, сбиваясь и запинаясь, список из восьми токсинов, названия которых ничего не говорили аудитории. — Что лучше — почувствовать краткую работоспособность и потом опять усталость или все время чувствовать себя хорошо? — Этим сравнением стоматолог пытался доказать, что сигареты вредны. О зубах он не говорил ничего.

— Дайте советы, как бросить курить! — крикнул мужик из зала. В программке, которую раздавали в фойе, действительно были обещаны практические советы.

— Это на следующей лекции, — пояснил за стоматолога проповедник. — А сейчас... Вы не устали?

Аудитория довольно дружно ответила «Нет!», чем потрясла меня окончательно. Смеялись все, чем демонстрировали нормальный здравый смысл. Экстаза, слава Богу, не проявлял никто. Но и агрессии, что меня добило, — тоже! Сколько я наслушался о голоде и озлобленности этих людей! — но кротость, с какой они слушали откровенный, бессовестный бред, подкупала меня.

— Сейчас будут слайды! — воскликнул костюмный проповедник с таким воодушевлением, как если бы собирался вытащить из шляпы кролика. Но кролика у него не было — был проектор. Выключили свет. На экране стали появляться кадры из фильма «Иисус» с печатными пояснениями. Проповедник зачитывал эти пояснения вслух, в слове «Апокалипсис» стабильно ставя ударение на четвертый слог. Поскольку час уже прошел, я стал красться к выходу, а за мной деликатно спускались изнемогшие дети. Я вышел как раз на том волнующем моменте, когда на экране появилась надпись «Holy Bible», а рядом с нею — два ангела с лицами бойскаутов.

— Это ничего, что по-английски! — утешал всех проповедник. — Ведь и по-русски, и по-немецки, и по-английски Библия — одна и та же книга!

Под эту свежую мысль я и выскользнул на свет Божий. Мне все казалось, что их непременно побьют. Я вспоминал рассказ Тэффи о фокуснике в провинции, — гениальный, смешной и грустный рассказ, — и с некоторым ужасом думал о том, что таких проповедников сейчас по

Родине разъезжают тысячи. Слава Богу, люди наши здоровы и сдержанны.

Лена Румянцева успела вернуться за это время. Она и открыла мне дверь своей квартиры в одном из немногочисленных коломенских многоэтажных домов. Многоэтажным здесь по праву может считаться все, что выше четырех этажей.

Румянцева оказалась стройным существом с одуванчиковой коротко стриженной головой, абсолютно детским лицом и умными зелеными глазищами. Она не удивилась моему приезду, хотя я никого не предупреждал о нем, и провела в комнату, на полках которой я с облегчением увидел все, что надо.

Я не стану пересказывать нашего с ней разговора, длившегося часа два. Я перечислю имена, которые привлекают ее в мировой культуре: Бодлер, де Костер, Рабле, Толстой, Дэвид Боуи, Дэвид Линч («Человек-слон» в особенности), Алан Паркер, Осип Мандельштам («Tristia» в особенности), Сэлинджер, Капоте, Мориц, Вийон, Антокольский, Шекспир. Она счастливо принадлежит к тому поколению, которое начало что-то понимать году в 1985, когда на голову советского читателя низвергся поток запрещенной прежде литературы. Это был краткий период, когда еще модно было читать. Конец этого периода она заметила четко — но читать продолжает.

Давненько мне в Москве не случалось вести разговоров такой интенсивности — прежде всего потому, что я не всегда успеваю за ее мыслью. Расслабившись духом среди коллег, которые за ненадобностью стремительно растрачивают свою былую интеллектуальность (газеты переполнены многословной, по-детски скучной светской хроникой), я отвык от разговоров на темы, которые всю жизнь интересовали меня. Для этой девочки литература была повседневной жизнью и вообще живым делом. Это была работа. Без придыханий, столь свойственных провинциальным библиотекарям, она говорила о культуре как о своем деле, о гигантском цехе, в котором у нее свое незыблемое место. Мы говорили об утрате критерия, и о мучительном и необходимом одиночестве, и о важности

балладного начала, и о моветонности ассонансной рифмы; и о длиннотах у Сэлинджера, и о том, что Шекспира, скорее всего, никогда не было, и о том, что она пишет пьесу о французской революции — и сама иронизирует над этим: «Куда же нынче без Робеспьера!» — и каждую секунду я чувствовал, как ко мне возвращается ощущение нужности моего дела.

— Лена, а как у вас со средой? В смысле — кому вы читаете?

Она рассказала мне о местном литобъединении, где ей пытаются править стихи, а она сопротивляется. И о городской газете, которая напечатала ее однажды, но тоже так при этом изуродовала, приглаживая, что подборку стыдно показать. Среда, как ни странно, была. У нее были друзья-ровесники и друзья старше. Они собирались и разговаривали о серьезных вещах — все эти люди, чьи пятнадцать-семнадцать лет пришлись на самую кризисную эпоху, а восемь-десять — на самую счастливую и недолгую, полную обещаний и освещенную верой в консолидацию.

Потом я попросил ее почитать.

Война ушла. И над землей бессонной  
 Чуть стонет воздух, как Христос распятый.  
 Не спрашивай, парнишка пораженный,  
 Зачем враги сожгли родную хату.  
 Там были мать, отец, сестра и братья.  
 И кто тут виноват? Все виноваты.  
 Ты убивал. Ты совершал распятье.  
 И был врагом. И жег чужие хаты.

Я не стану цитировать ее более длинных и, может быть, по-своему не менее серьезных стихов — о Вийоне, о любви, о разговоре с Богом. Они совершеннее и, если угодно, культурнее. Но это стихотворение — самое живое; и самое личное; и важность его для меня еще в том, что человек, в восемнадцать лет так сформулировавший свое отношение к происходящему здесь и сейчас, готов к тому, чтобы внутренне сопротивляться самым подлым временам.

Я уезжал от нее поздним поездом, долго добираясь до станции в таком же распадающемся и никак не могущем

распасться трамвае. Я был там единственным пассажиром. На станции все так же лаяли собаки, и дома ближе к станции, по мере удаления от площади Восстания, становились все деревяннее. С полчаса я ждал поезда, глядя на Луну и прямо около нее висящую комету Хиякутаки — вестницу перемен и катаклизмов, прилетевшую к нам во второй половине марта.

С собой Лена Румянцева дала мне свою пьесу, прозаическую, одноактную, рукописную, — ее я и читал, промерзая в вагоне на обратном пути. Сюжет: далекое будущее, неопределенная страна. Четверо поэтов преподают в университете (нормальный заработок западного, а в будущем и всякого поэта). Трое респектабельны, один старомоден — пишет от руки, интересуется живой жизнью и не следит за собой, демонстративно не чистит ногти и обуви. Один из поэтов гордится шедевром «Компьютерному вирусу, который я уничтожил нажатием клавиши» (автор делает примечание — он намекает на стихотворение Бернса «Полевой мыши, гнездо которой я разорил моим плугом»). Один из четверки собирает остальных, зовет и старомодного грязнулю — единственного настоящего поэта из всех. Сам инициатор сборища отсутствует. Все собираются в домике на болотах, домике, старательно стилизованном под старину, но на самом деле только что построенном. Окна в нем почему-то высоки и зарешечены.

Поэты спорят о Шекспире, которого в будущем никто не помнит. Иное дело Киршепс! (эту анаграмму автор тоже оговаривает). Из спора мы узнаем, что Киршепс писал все то же, что и Шекспир, но в упрощенно-ухудшенном, жалком варианте — все равно что похлебка в концлагере, формулирует нонконформист-грязнуля. Но ваши стихи, компьютерные оды и технократические фантазии — еще менее питательны, чем эта похлебка.

— А зачем Майк собрал нас? — не выдерживает один из поэтов.

— Обещал показать старые книги на чердаке, — отвечает другой.

— Но здесь нет чердака! — замечает грязнуля, единственный из всех, кто что-то замечает. — И дом только

декорирован под старину, а на самом деле только что выстроен — взгляните!

И тут на жестяной крыше раздается грохот шагов Майка. Он сообщает, что запер дверь изнутри и сейчас подожжет дом. И погибнут все трое, а он успеет спрыгнуть.

— Но почему? — в ужасе кричит компьютерный поэт.

— Вас двоих я убью за то, что вы бездари, отвратительные вруны, отрицающие все живое. А третьего, настоящего поэта, — потому, что только после такой его смерти хоть кто-то обратит на него внимание.

И он поджигает дом.

И в подожженном доме грязнуля читает компьютерным поэтам, не желавшим знать всей бывшей до них культуры, бернсовского «Макферсона перед казнью». А когда они теряют сознание от страха, он успевает крикнуть Майку, чтобы тот забрал его собаку и отдал соседу.

— Слушай, — кричит ему Майк. — Я тоже скоро покончу с собой. Ты скоро увидишь Его. Скажи ему, что я приду, ладно?

— Скажу, — отвечает поэт из горящего дома.

Эту пьесу она написала еще в семнадцать. И при всей наивности каких-то ее построений я поражаюсь не только живости диалога, не только обилию реалий, не только сюжетной изобретательности, в конце концов, — нет, меня поражала та «тоска по мировой культуре», о которой применительно к акмеизму говорил Мандельштам.

Этой тоской по культуре пронизано все, что пишет девочка из провинции, а провинция начинается у нас сразу за Москвой. Сэлинджер и Капоте учили эту девочку бескомпромиссности, Шекспир — достоинству, Бернс и Вийон — веселью, несмотря ни на что. Эта девочка и такие, как она, — а их много, и я чувствую это, — и есть новая Россия, которая якобы решила что-то там себе выбирать

И с ними уже ничего не сделаешь.

Я описал эту поездку без единого допущения и без малейшего преувеличения, все так и было, и контраст между проповедью и пьесой, городом и его жителями, нашим мнением о России и подлинным ее лицом показался мне

достойным упоминания и не нуждающимся в комментировании.

Все это я излагал попутчику, единственному, кроме меня, кто ехал в этом вагоне электрички. Он угостил меня пивом, — сам набрался уже достаточно, — и до какого-то момента слушал очень внимательно, вставляя дельные замечания, а потом заснул. Его милое, вполне интеллектуальное лицо во сне было особенно симпатично.

Контролер зашел в вагон, но билетов спрашивать не стал и присоединился к беседе.



Евгений МАНИН

## НЕЛАДНО ЧТО-ТО В ДАТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ

*Конфликты, раздирающие Соединенные Штаты*

В Датском (то бишь в нашем, Американском) королевстве действительно что-то неладно. И в воздухе носятся предвестники чего-то тревожного. Сейчас, в июле, когда я заканчиваю эту статью, несколько разрозненных событий, происшедших одно за другим за последние два месяца, соединились в некую странную и многозначительную смысловую мозаику. Рассмотрим эти события.

Первое. Вечером 13 июня закончилось продолжавшееся 81 день противостояние федерального агентства ФБР и так называемых Фрименов — одной из многочисленных ныне в Штатах антиправительственных групп. Эта осада началась еще 25 марта, в окрестностях города Джордан, штат Монтана: хорошо вооруженные Фримены, после того, как ФБР арестовало двух членов их группы, обвиняемых в нарушении закона, и хотело арестовать прочих,

засели в укрепленном комплексе своего поселения. Они предупредили, что всякий, кто без их разрешения пересечет условную границу, называемую ими «Линия Яхве», будет арестован и судим их собственным судом. После этого занятая ими территория и была окружена цепочкой пропускных пунктов ФБР с сотней агентов, следивших за каждым шагом осажденных.

Что это такое — антиправительственные группы? Они называют себя по-разному: например, Фримены (Свободные); или Патриоты; или «We the People» (первые слова Декларации Независимости — «Мы, народ Соединенных Штатов»); или же это разнообразные и многочисленные милиции-ополчения. Они могут быть вооруженные и не вооруженные, могут быть самых разных политических оттенков, но все они при этом твердо убеждены в двух вещах: 1. Федеральное правительство бесстыдно нарушило и предало первоначальные идеи, заложенные в Американской конституции, незаконно узурпировав чрезмерную власть, в ущерб простым гражданам;

2. Белое население Америки превратилось в рабов «меньшинств», главным образом негров и евреев, всячески унижаясь и заискивая перед ними.

Вследствие этого с федеральным правительством (то есть с президентской администрацией, Верховным судом и Конгрессом) надлежит, во-первых, бороться любыми средствами, как со своим смертельным врагом, и, во-вторых, ни в коем случае не подчиняться ныне действующим государственным законам.

Поэтому члены таких антиправительственных групп презрительно фыркают, когда их спрашивают об американском гражданстве и гордо именуют себя «независимыми гражданами» («sovereign citizens»). Законы? Плевать они хотели на законы, придуманные узурпаторами: они живут по своим собственным законам, законам добрых старых времен.

Налоги? Но это просто наглое вымогательство федеральных властей! Согласно оригинальной Конституции, федеральные налоги — штука сугубо добровольная, в отличие от налогов штатных, обязательных для граждан

каждого штата. Не говоря уже о том, что эти деньги тратятся на цели, совершенно не нужные и чуждые народу. Поэтому налоги они не платят и платить не собираются. Точно так же не желают они регистрировать свои машины и делать прочие подобные глупости: не дело государства вмешиваться во все детали частной жизни граждан и помещать водительские права в полицейскую компьютерную сеть. Их за все это будут преследовать в уголовном порядке? Пусть попробуют, увидим, что из этого выйдет и кому от этого будет хуже.

А если кто-либо из федеральных чиновников рискнет угрожать или отказывать им, он получит в ответ угрозу, и многие, убедившись, что эти угрозы не пустые слова, попросту избегают иметь с «независимыми гражданами» дело и, по возможности, предпочитают, вообще, не замечать их.

У Фрименов в их поселении имелась своя воскресная школа, где детально излагались их идейные принципы и законы, противопоставляемые государственным принципам и законам. Излагались их социальные взгляды, взгляды белых радикалов. Эта солидная постановка дела привлекла сюда и других многочисленных антиправительственных активистов со всей страны, полагающих, что дело Фрименов — это их дело.

Становясь все более воинствующими и дерзкими, они запугивали своих соседей и даже выпускали приказы об аресте местных федеральных чиновников. Несколько человек получили угрозы убийства, в том числе и федеральный судья. Федеральные власти потребовали выдачи виновных в описанных выше преступлениях и передачи их в руки правосудия. Фримены, естественно, отказались.

Все попытки извлечь этих дерзких бунтарей из их крепости путем переговоров кончались быстро и неудачно: руководители Фрименов упрямо повторяли, что сдадутся лишь в том случае, если такое решение примет их собственный «законный» суд.

Но вот с кем они вели переговоры довольно охотно, так это с Чарлзом Дюком, сенатором штата Колорадо и главой тамошней антиправительственной организации «Пат-

риоты». Что эти переговоры также кончились неудачей — другой вопрос, но оценим пикантность ситуации: федеральное агентство приглашает в качестве посредника штатного сенатора, и оный сенатор — ни больше ни меньше, как сам является руководителем антиправительственного движения! Вот как далеко зашло дело в нашем «королевстве».

Фримены категорически отвергли предложение ФБР о встрече в мэрии с помощником генерального прокурора и представителем штата в Конгрессе. При этом в письме, содержавшем предложение об упомянутой встрече, указывалось, что если дальнейшие переговоры будут отвергнуты, «ФБР оставляет за собой право принять любые меры, которые покажутся необходимыми для разрешения данного вопроса». Весьма многозначительная фраза, поскольку это не первое противостояние и не первая осада ФБР антиправительственной группы, и всем известно, какие принимались в прошлом «меры для решения вопроса».

В 1993-м осада комплекса «Ветви Давидовой» в Уэйко, Техас, продолжалась 51 день и кончилась тем, что 81 человек, включая женщин и 20 детей, сгорели заживо.

В 1992-м белый сепаратист Рэнди Уивер выдерживал в течение 11 дней осаду в Руби-Ридж, Айдахо, при этом были убиты жена и сын-подросток Уивера.

В 1973-м сторонники Движения американских индейцев за независимость, после 69-дневной осады в бою с агентами ФБР потеряли убитыми двоих и многие были ранены. Дело в Руби-Ридж, между прочим, связано с событием номер два нашей «мозаики», касающейся антиправительственных настроений в Штатах: в мае телекомпания CBS показала двухсерийный кинобоевик «Американская трагедия: Руби-Ридж», где подробно показано все происшедшее с семьей Рэнди Уивера, причем совершенно очевидно, что симпатии создателей фильма (а следовательно, и зрителей) отнюдь не на стороне властей.

И вот, наконец, осада в Джорджане. В этом случае ФБР

неожиданно вело себя совершенно иначе, применяя «спокойную стратегию», по выражению одного из агентов, наблюдая за комплексом издали (над ним развеялся американский флаг, подвешенный в порядке протеста вверх ногами, и военный флаг конфедератов времен Гражданской войны). Разве что устроили Фрименам «изоляцию» (отключение электроэнергии на 73-й день осады) и пригнали для устрашения три бронемашины и вертолет. Ни то, ни другое особого впечатления не произвело.

В чем причина этой неслыханной сдержанности, позволившей установить рекорд осады, без малого три месяца?

Здесь, конечно, имеет значение «потеря лица» ФБР в предыдущих осадах. Министр юстиции Джанет Рено на специально устроенной пресс-конференции заверила присутствующих, что ни о каком штурме, ни о какой крови не может быть и речи. Но дело не только в этом. В большой степени это было вызвано еще и тем, что происходящее в Джордане привлекло к себе внимание многочисленных антиправительственных групп по всей стране. И ФБР официально подтвердило появившиеся сообщения о том, что ряд не определенных пока вооруженных милиций разработал единый план, названный ими Проект «Наихудший Кошмар» (Project Worst Nightmare). В соответствии с этим планом, в случае применения силы против Фрименов, как это бывало в прошлом, федеральные агентства и учреждения по всей стране станут объектами террористических нападений. Как в Оклахоме.

Противостоять такому террору, естественно, много сложнее, нежели, скажем, ближневосточному: проследить за каким-нибудь подозрительным арабом более или менее просто, но попробуй уследить за одним из десятков миллионов «средних американцев»!

И вот событие номер три: в Ларедо, Техас, в здании на Уокер-плаза, где размещается ФБР, 21 мая, в 6.50 утра взрывается бомба. Судя по раннему времени взрыва (жертв не было, лишь причинен материальный ущерб), это было не мщение, а только напоминание, что к обещанному террору надлежит отнестись со всей серьезностью. И в Техасе, Оклахоме, Арканзасе, Луизиане и Нью-Мексико

немедленно были введены особые меры по охране федеральных учреждений. Так что если вдруг у федеральных агентов лопнуло бы терпение и они прибегнули бы к штурму комплекса Фрименов, это могло обернуться трагедией для множества ни в чем не повинных людей. Сила не была применена. Осада закончилась мирно, Фримены (без наручников) проследовали в поджидавшие их автобусы и были отправлены в Боннсвилль на суд. Там они сразу же заявили, что не признают его полномочий, не нуждаются в адвокатах, и стали, словно с трибуны, излагать свои антиправительственные взгляды. Хочешь не хочешь, а приходится признать, что в воздухе носится нечто тревожное. 5 июля «Паблик телевижн» (39-й канал в Филадельфии) показал неслыханную до того программу: Могут ли штаты делать это лучше? Это была дискуссия известнейших специалистов гражданского права, обсуждавших проблему чрезмерной концентрации власти в руках федерального правительства.

Событие номер четыре. 19 мая, в популярнейшей телепередаче «60 минут» первый из трех сегментов, составляющих программу, был опять-таки посвящен угрожающему росту антиправительственных групп и настроений в стране. Ведущий Майк Уоллес интервьюировал идеолога и вдохновителя этого движения Уильяма Пирса. Этот благообразный человек средних лет, физик с докторской степенью, в прошлом профессор университета, теперь живет в живописном имении в Западной Вирджинии. Он — глава организации «Нация распрямляется» (The Nation Aligns) и автор скандально известного бестселлера «Дневник Тернера» (Turner Diary).

Собственно, в интервью речь в основном и шла об этой книге. Написанная в форме романа и изданная в первый раз в 1981 году, книга рисует ближайшее будущее Америки: белая раса благородных арийцев полностью подчинена евреям и неграм; если первые сосут из нее кровь в переносном смысле, захватив власть в Вашингтоне, захватив средства массовой информации, шоу-бизнес, банки и гигантские корпорации и задавив народ непомерными налогами, то вторые делают это в самом буквальном

смысле. В главе *Ночь веревок* (Rope Night) описываются толпы бесчинствующих негров, останавливающих машины с белыми людьми, выволакивающих их оттуда, вешающих на чем придется, затем волокущих трупы в ближайший ресторан и пожирающих их.

И тогда доведенные до отчаяния белые восстают, взрывают главное управление ФБР в Вашингтоне, олицетворение ненавистной власти, истребляют поганых евреев и черных каннибалов, а заодно и прочие меньшинства в жестокой гражданской войне и возвращают Америку на путь истинный, завещанный отцами-основателями. «Дневник» имел бешеный успех, разошелся двумя тиражами по 60 тысяч экземпляров и, по мнению экспертов, представляет собой наиболее опасную для существующего строя книгу, когда-либо изданную в Америке. (Между прочим, издатель ее, Лайонел Стюарт, еврей, и на вопрос Уоллеса, как он мог взяться за издание подобной книги, открыто призывающей к погромам, этот издатель безмятежно ответил: «Во-первых, она принесла доход, а во-вторых, — это книга-предупреждение: большинство американцев наивно полагают, что все эти антиправительственные группы занимаются тем, что охотятся на оленей, дуют пиво и болтают всякую чушь. На самом деле они стремительно растут в числе, ставят своей целью истребление федеральных чиновников, и, если так пойдет дальше, в один прекрасный день они действительно развяжут кровавую гражданскую войну».)

Сейчас целый ряд обозревателей крупнейших газет и телепрограмм пытаются как-то объяснить происходящие в последнее время систематические пожары в негритянских церквях, особенно в южных штатах. 30 июня сгорела 40-я по счету такая церковь, в Северной Каролине, а незадолго до этого пожар произошел в пригороде Вашингтона — уже дошло до федеральной столицы! Эта целенаправленная частота наталкивает на вполне естественный вывод, что поджоги — дело рук белых сепаратистов, быть может, вдохновленных «Дневником Тернера».

— Неужели вы не понимаете, — спросил Майк Уоллес Уильяма Пирса с драматическими интонациями в голосе,

— что подстрекаете молодежь к восстанию, к жестокостям, что взрыв в Оклахоме — прямой результат влияния вашей книги, ставшей настольной книгой всех тех, кто противостоит властям? Неужели вы не чувствуете, что несете моральную ответственность за это? На что доктор Пирс хладнокровно ответил: «Ни в малейшей степени. Оклахома — это реакция не на мою книгу, а на жесткость ФБР в Уэйко. Я же чувствую ответственность за страдания своего народа, превращенного правительством в безответных рабов».

\* \* \*

Конечно, гораздо проще и безопаснее произносить речи на тему «Что нам дала Америка и как мы ей благодарны», и спеть (кто может) в патриотическом порыве «God bless America», нежели взглянуть на наше «Датское королевство» открытыми глазами и осознать, что в нем что-то неладно. И что огромное внимание средств массовой информации к антиправительственному движению недвусмысленно указывает на то, что «в воздухе пахнет грозой».

Я приблизительно догадываюсь, какой огонь рискую на себя вызвать, и все же хочу нарушить некое табу, неизвестно когда и неизвестно кем введенное: кроме льстивых славословий Америке, которая нас впустила, которая нам все дала, которая освещает весь мир факелом свободы, и прочая, и прочая — кроме этого категорически запрещается о чем-либо спрашивать, что-либо критиковать и вообще совать свой эмигрантский нос не в свое американское дело. Имеешь свою зарплату, свой ЭсЭсАй или вэлфер, сиди и не чирикай.

Но ведь, говоря откровенно: такой взгляд на Америку попросту оскорбителен для нее — это взгляд паразитов: вы нас кормите, вы нам платите, а до всего остального нам нет дела. На самом деле: если мы здесь живем, если мы — американские граждане, если мы пользуемся благами, предоставляемыми Америкой, нас, как и всех американцев, не могут не волновать наблюдаемые здесь сейчас поразительные явления. Не могут не волновать и не могут не вызывать вполне естественные вопросы.

Итак, откуда в этой замечательной, демократической стране, в которую все так стремятся, — откуда в ней столько граждан, противопоставляющих себя федеральным властям — президентской администрации, Верховному суду и Конгрессу, и совершенно неопределимое число тайно сочувствующих этим американским диссидентам? Новое это явление, или, выражаясь словами Екклезиаста, «это уже было под солнцем»? А если было, то чем это порождено, когда это началось и кто в этом повинен? И к чему это в итоге может привести? Вот вопросы, над которыми стоит задуматься.

\* \* \*

До самого недавнего времени даже среди большинства американских историков, не говоря уже о простых смертных, бытовало глубокое убеждение, что американская демократия — нынешний идеал демократии — родилась безболезненно в одночасье и также безболезненно прошла она сквозь 220 лет своего существования. Это ложное представление по-настоящему начало исчезать лишь теперь, после появления книги «Американская политика в период ранней республики» Джеймса Шарпа, известного историка и специалиста по самому раннему периоду истории Штатов (1796—1801). Лишь теперь по-настоящему стало ясно, насколько историческая правда далека от расхожего мифа об «однажды запущенной машине конституции». Нет, нынешняя Америка начиналась весьма беспокойно и трудно, неся в себе семена будущих потрясений.

Когда в 1787 году в Филадельфии, первой столице США, собралась Ассамблея для утверждения конституции, обнаружился глубокий раскол между делегатами различных штатов — южанами-антифедералистами и северянами-федералистами.

Чтобы Конституция была принята, как минимум девять из тринадцати штатов должны были ратифицировать ее. Только при этом условии она становилась высшим законом государства.

Дебаты были воистину яростными. Авторы и сторонни-

ки конституции доказывали, что только сильная, централизованная федеральная власть может обеспечить нормальное функционирование создаваемого государства. Но именно эта сильная федеральная власть больше всего страшила противников конституции в ее предлагаемом виде — антифедералистов. Как выразился один из них — «Эта конституция попросту проглотит нас».

Антифедералисты были глубоко убеждены — и, как показала жизнь, не без основания, — что места в Конгрессе в конце концов окажутся в руках профессиональных политиканов, со всеми человеческими пороками: снобизмом, жадностью, карьеризмом, продажностью, погоней за собственной выгодой в ущерб избирателям. А потому, полагали они, штат должен сам решать свои проблемы и сам защищать права своих граждан, иначе мощная централизованная власть постепенно превратит этих самых граждан в бессловесных рабов, существующих лишь для того, чтобы сдирать с них налоги, и не имеющих возможности жаловаться на притеснения. А всякая попытка сбросить с себя иго этого рабства будет караться с беспощадной жестокостью. Увы, эти их опасения впоследствии подтверждались не раз.

Так неутешительно обстояли дела. И вот итог: пять штатов, где преобладали федералисты, ратифицировали конституцию тотчас, но на этом все застопорилось. Штатная конвенция Массачусетса ни за что не соглашалась на ратификацию, пока не был найден компромисс. Конституция будет утверждена лишь в том случае, если Конгресс даст свое согласие на одновременное утверждение Билля о правах — свода поправок к Конституции, обеспечивающих защиту прав и свобод личности от слишком могущественного центрального правительства. И лишь когда такое согласие было достигнуто, Массачусетс ратифицировал Конституцию, вслед за ним последовали Южная Каролина, Мэриленд и Нью-Хемпшир. Конституция и Билль о правах вступили в силу.

Обратим внимание на одну существенную деталь: та конституция, которую предлагали федералисты, даже не

упоминала о таких привычных нашему слуху вещах, как свобода совести, свобода слова, свобода собраний и ассоциаций, неприкосновенность личности и частной жизни граждан и все прочие подобные свободы.

Федералисты попросту были несовместимы с идеей любого ограничения диктаторской власти государства. Они считали благо государства первичным, а благо отдельной личности делом второстепенным и малозначащим. В этом смысле федералисты практически ничем не отличались от представителей любого тоталитарного режима. Это еще более подтвердилось в дальнейшем, по мере того, как федеральная власть крепла за счет слабеющей власти штатов. Создание всемогущих и тайных федеральных агентств, подсматривающих, подслушивающих и «ликвидирующих» — это дело федералистов Рузвельтовской эпохи (1930-е годы), первоначальная Конституция и Билль о правах не знали ничего подобного. А многокольцевая компьютерная сеть, практически охватывающая все население страны, где о частной жизни гражданина известно все, — это уже дело федералистов новейшего времени. Именно по поводу подобных нововведений нынешние диссиденты антифедералисты говорят, что правительство в Вашингтоне «исказило и предало идеалы оригинальной Конституции».

\* \* \*

В 1957 году Конгресс поручил специальной комиссии под председательством сенатора Джона Кеннеди, будущего президента, определить пятерку самых выдающихся сенаторов в истории Соединенных Штатов. Поручение было выполнено, и одним из этой пятерки оказался Дениел Уэбстер (1782—1852). Этот человек, властитель умов своего времени, блестящий оратор, непреклонный федералист, сенатор и государственный секретарь, был первым, кто открыто заявил, что Конституцию, как и Библию, надлежит понимать не буквально, а толковать и интерпретировать, причем широко и свободно.

Он категорически отвергал право штатов игнорировать федеральные законы, если штат находил их для себя

вредными. А уж право штатов на выход из Союза, даже если абсолютное большинство граждан этого пожелает на референдуме, или право народа Соединенных Штатов менять систему правления, если он сочтет это необходимым, — этот нонсенс не вызывал у Уэбстера ничего, кроме презрительной улыбки. Его политическое кредо выражалось эффектным девизом: «Свобода и Союз, ныне и присно, единые и нераздельные!» («Liberty and Union, now and forever, one and inseparable!»)

Именно этот девиз впоследствии был прочно усвоен Авраамом Линкольном, именно этот девиз привел страну к Гражданской войне, а эта последняя раз и навсегда уничтожила Америку отцов-основателей и положила начало Америке нынешней.

Призыв к нераздельности Свободы и Союза — эффектен и волнующ, но на практике невыполним: оказывается, эти понятия весьма далеки от «нераздельности», и приходится выбирать, что именно считать высшей ценностью — Свободу или Союз.

Свобода была приоритетом для отцов-основателей. Вот что записано в декларации Независимости и оригинальных конституциях штатов: «Вся политическая власть принадлежит народу, и все свободные правительства учреждаются для блага народа и держатся его авторитетом; и народ имеет право во всякое время изменять форму правления, как найдет нужным».

И вот что добавлял к этому Томас Джефферсон, автор Декларации: «С этой точки зрения гражданин, который видит, что политические одежды его страны изнашивались, и в тоже время молчит, не агитируя за создание новых одежд, является неверным родине гражданином, но — изменником. Быть может, он единственный во всей стране не видит непригодность существующей власти — это не может быть извинением для его пассивности. Его долг — агитировать несмотря ни на что, а долг осталь-

ных — голосовать против него, если они с ним не согласны».

В понимании тех, кто создавал Америку, Союз штатов был делом сугубо добровольным и отнюдь не постоянным. Когда была утверждена и принята Конституция, ряд штатов ратифицировал ее лишь при условии, что они, эти штаты, оставляют за собой неотъемлемое право в любое время «вернуться к прежнему состоянию», то есть вернуть себе власть, которую они, на определенных условиях в р у ч и л и («делегировали», как тогда выражались) федеральному правительству. Фактически, само это слово «вручили», повторяемое снова и снова в период ратификации Конституции, подчеркивало, что федеральное правительство играет второстепенную роль по отношению к правительствам штатов и их народу. Вручение власти на неких условиях, естественно, вовсе не равнозначно безусловной передаче ее на вечные времена.

И выражение это — «вручение власти» — начало быстро исчезать из употребления во время президентства Авраама Линкольна (1860—65) и окончательно исчезло после Гражданской войны.

Да, Линкольн был принципиальным противником рабства, но сам он признавал, что рабство вовсе не было главной причиной Гражданской войны. Главной причиной было сохранение Союза и создание мощной централизованной власти, ни Декларацией, ни Конституцией не предусмотренной. И Линкольн признавался откровенно, что он уничтожил бы или оставил рабство, в зависимости от того, как бы это отразилось на его «главной цели», когда 13 южных штатов, воспользовавшись своим конституционным правом, вышли из Союза и создали собственную Конфедерацию.

В процессе Гражданской войны стремление Линкольна сохранить целостность Союза любой ценой неизбежно привело его к конфликту с основной идеей Революции 1776 года — с движением за независимость. В 1848 году молодой, тогда еще «джэфферсоновский» Линкольн говорил: «Любой народ, где бы он ни находился,

если он угнетен и если он находит в себе силы восстать, имеет право на это и право на смещение существующей власти и замены ее на другую, которая подходит ему больше» («have the right to rise up, and shake off the existing government, and form a new one that suits them better»).

Но конечный результат президентства Линкольна явился как раз отрицанием этого декларируемого им же права выбора власти по своему вкусу. На практике Гражданская война привела к жесткому установлению: ни один штат не имеет права выйти из Союза ни по какой причине, и граждане Соединенных Штатов бессильны в попытке «смещения существующей власти и замены ее иной», даже если федеральное правительство превратится в правительство тиранов, поработивших собственный народ.

С победой северян-юнионистов в Гражданской войне федеральное правительство впервые прибрало к рукам все внутренние дела отдельных штатов. Сначала это было на разгромленном Юге: он считался оккупированной территорией. Потом это распространилось и на северные штаты, и сегодня вся страна безропотно подчинена Вашингтону во всех отношениях. Абсолютная часть власти федерального правительства отныне не «вручена» ему, но — хочешь не хочешь — приходится пользоваться термином нынешних антифедералистов — «узурпирована» им.

Конечно, весьма немногие из американцев понимают разницу между словами власть «вручена» и власть «узурпирована». Наивное большинство полагает, что они и сегодня, как двести лет назад, живут под благодатной сенью оригинальной Конституции и Билля о правах, нисколько не подозревая, что за эти столетия первоначальный смысл этих установлений полностью изменился. А то меньшинство, которое пытается роптать против существующего положения, и, следуя Декларации Независимости, начинает агитировать прочих граждан, тотчас объявляется подрывным элементом, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Если какой-либо штат захотел бы выйти из Союза в

первой половине прошлого века, федеральное правительство практически не могло помешать ему: выход из Союза был неотъемлемым правом штата. Если бы некая политическая группа стала ратовать за немедленное изменение структур власти, обвиняя федеральное правительство в превышении данных Конституцией полномочий и требуя всенародного референдума — такой референдум был бы проведен, а не физическое уничтожение возмутителей спокойствия.

В те времена никто не полагал, что С о ю з и С в о б о д а — это синонимы. Наоборот, Билль о правах потому и был принят, что в глазах народа федеральное правительство представляло угрозу свободе, то есть было п о т е н ц и а л ь н ы м в р а г о м . Линкольн это прекрасно понимал, и именно поэтому, начиная Гражданскую войну, он делал упор не на «выход» южных штатов из Союза, не на их борьбу за свою свободу, а на благородную борьбу с рабством на Юге, которое его, Линкольна, до мятежа южных штатов трогало мало. « С в о б о д а и С о ю з , н ы н е и п р и с н о , е д и н ы е и н е р а з д е л ь н ы е ». И все дала!

Именно в этом смысле известный американский политолог Эдмунд Уилсон поставил Линкольна в один ряд с Бисмарком и Лениным, как одного из величайших консолидаторов современных государств-империй. Правда, эти двое — Бисмарк и Ленин — никогда не опускались до того, чтобы уговаривать самих себя или своих подданных в том, что они действуют во имя свободы и демократии. Но все трое добивались своей цели с одинаковой жестокостью: американцы заплатили приблизительно 700000 жизней за воплощение в жизнь девиза Дениела Уэбстера и превращением почти половины своей территории в выжженную пустыню.

Когда несколько штатов, включая Нью-Йорк, ратифицировавших Конституцию, добивались существенной оговорки, что они сохраняют за собой право «восстановить» власть, которую они «делегируют» федеральному правительству, они никогда не предполагали, что это станет причиной будущей гражданской войны. Они, тем более,

не могли предполагать, что на этом будет поставлена точка на их праве свободно решать свою судьбу и выходить из Союза, если народ сочтет это необходимым. И уж совсем им было невдомек, что разгневанные нарушением духа Декларации и Конституции американские граждане, как два века назад (мятеж Шейса, мятеж изготовителей виски) или как 130 лет назад (Гражданская война), будут противостоять центральному правительству с оружием в руках, будут этим правительством беспощадно уничтожаться и перейдут к такому отвратительному виду борьбы, как террор.

В своей хрестоматийно известной Геттисбергской речи Линкольн обвинил южан в игнорировании принципа Декларации, гласящего, что «все люди от рождения равны». На этом принципе, сказал Линкольн, построены Соединенные Штаты, они впредь будут незыблемо верны этому принципу. Но он, разумеется, не упомянул о том, что сам нарушил другой основополагающий принцип, на котором создавались Штаты: любое правительство является законным лишь постольку, поскольку оно устраивает граждан и гарантирует их «неотъемлемые права» и что оно может быть изменено или совсем устранено, едва нарушит эту гарантию.

Кто знает, что произошло бы, получи сейчас штаты право на мирный и законный выход из Союза (как, скажем, Квебек в Канаде), или получи американцы право без всяких для себя последствий агитировать за свержение правительства, в соответствии с духом и буквой Декларации. На практике этот вопрос закрыт раз и навсегда: у штатов не существует возможности выйти из-под юрисдикции федерального правительства, независимо от того, насколько нестерпимыми являются его злоупотребления или превышения конституционной власти. А у американцев нет возможности менять «износившуюся одежду» нынешнего правительства. Этот тупик носит официальное название « С о х р а н е н и е ц е л о с т н о с т и С о ю з а » и практически он ничем не отличается, скажем, от «сохранения целостности Российской Федерации» (вспомним попытку Чечни нарушить эту целостность, и не усом-

нимся, что любой штат, дерзнувший бросить вызов сохранению целостности Союза, схлопотал бы нечто подобное). Именно этот тупик порождает ранее и порождает ныне движение антифедералистов, принимающее подчас столь жестокие и уродливые формы.

В этом отношении интересен пример Техаса. Два года назад (1994) небольшая антиправительственная группа оформилась в политическое движение, назвавшее себя «Республика Техас». В манифесте д в и ж е н и я акцент был сделан на то, что США, как и всякая другая империя, расширяли свои владения путем захватнических войн, аннексирования чужих территорий и истребления или депортации местного населения. В особенности это касается Техаса, захваченного в 1845 году, а до того существовавшего как суверенное государство — единственный из соединенных штатов.

Официальное требование о выходе из Союза и восстановления статуса независимой республики было послано в штатный верховный суд, в Верховный суд США и в Международный суд в Гааге. Мало того, в мае 1996 года «Республиканский совет» послал полицейским шерифам всех 254 графств штата требование принести присягу «свободной республике», угрожая в случае неповиновения сместить их. Разумеется, все это выглядит несколько комично. Но вся беда человека в том, что ему никогда неизвестно, какой оборот в дальнейшем могут принять события, кажущиеся сегодня пустяковыми и смешными. Ведь сама Американская революция начиналась с полуканекдотической ерунды, вроде «Бостонского чаепития».

\* \* \*

Анализируя то или иное историко-социальное явление, надлежит это делать, говоря словами древнего историка, «без гнева и пристрастия», временно отложив в сторону такие категории, как патриотизм, эгоизм, симпатию и антипатию. К сожалению, это не только крайне редко удается пишущему, но еще реже — читающему. Он, читающий, не преминет тут же обвинить автора в самом страшном грехе — в том, что тот льет воду на соответству-

ющую мельницу. Поэтому я хочу сразу оговориться: я не совсем беспристрастен, меня волнует будущее Америки, будущее демократии; но я категорически не приемлю расизм и террор как средства борьбы за эти идеалы. И вообще, если по-честному, я хотел бы — из чисто эгоистических соображений — чтобы в Америке все было прочно, спокойно и стабильно. А уж если перемены, то, конечно же, к лучшему.

К сожалению, на практике так не получается. На практике к какой бы животрепещущей проблеме мы ни прикоснулись, она оборачивается своей негативной стороной: массовые увольнения с работы, социально-демографические перемены, вызванные чрезмерным притоком легальных и нелегальных иммигрантов, катастрофическое сокращение пособий, роль страны как международного жандарма и посылка американских парней кто его знает куда и кто его знает зачем, их бессмысленная гибель, как в июне в Аравии, и так далее, и тому подобное. В итоге многие миллионы избирателей, недовольных существующим порядком вещей, сплачиваются вокруг «сторонников коренных перемен», вроде Пэта Бюкенена, и эти же миллионы питают стремительно растущее число антиправительственных групп, которые сегодня еще в большинстве своем декларируют, а завтра — кто знает? — вполне могут последовать примеру героев «Дневника Тернера».

Когда я уже заканчивал эту статью, внимание всей прессы вновь было приковано в сенсации: 1 июля были арестованы 12 членов антиправительственной военизированной милиции из Аризоны, именующей себя «Гадючья милиция» (Viper Militia). Ее члены готовились взорвать правительственные здания в столице штата Финиксе, наподобие того, что было сделано в Оклахоме. Эта милиция существовала легально, как множество ей подобных, но перешла на нелегальное положение в 1994 году, после трагедии в Уэйко. Мало того, федеральная агентура располагает сведениями, что тогда же еще как минимум полтора десятка прежде легальных милиций ушли в вооруженное подполье.

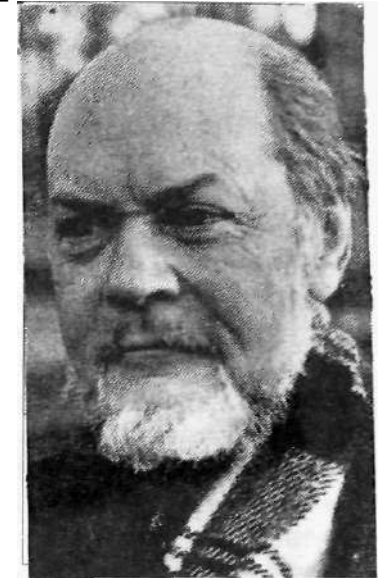
Внедрившийся в «Гадючью милицию» федеральный

агент, благодаря которому она была раскрыта, привел текст присяги, которую принимали члены организации. В ней, в частности, говорилось: «Если понадобится, я готов вступить в смертный бой (mortal combat) против врагов Конституции Соединенных Штатов и с радостью пожертвовать жизнью во исполнение этой клятвы (to give up my life to carry out this oath). Да поможет мне Бог». Не правда ли, почти «Дневник Тернера»?

Меня могут упрекнуть в паникерстве, в сгущении красок — я был бы только рад, если бы подобные упреки оказались справедливы. К сожалению, такой чуткий барометр, как большая пресса, чуть ли не ежедневно возвращающаяся к этой теме, говорит совершенно определенно о том, что Америка стоит в начальной точке каких-то будущих потрясений. Достойны презрения разного рода доморощенные политические пророки, самодовольно и безапелляционно предсказывающие, что вследствие чего произойдет, кто победит, а кто проиграет, и куда повернет история.

Я знаю, что американцы ныне совсем не те, какими они были всего каких-нибудь пару десятилетий назад, и Америка, следовательно, тоже никак не может оставаться прежней — что-то должно будет произойти. Федеральные власти могут прибегнуть к беспощадному истреблению антиправительственного движения — реакцией на это будет разгул «домашнего» белого террора по всей стране. Правительство могло бы резко «поправить» — результатом был бы черный террор! Или фантазия вдруг бы стала реальностью: американцам было бы предложено открыто ответить на сакраментальный вопрос, что они предпочитают, Союз или Свободу? И совсем не исключено, что солидный процент американцев ответил бы «Свобода». А тогда — прощай Америка-сверхдержава, прощай Америка, исполняющая роль международного жандарма. И здравствуй совсем другая Америка, не берусь предсказать, какая.

## ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА



*Лев АННИНСКИЙ*

## ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ ПУТЬ ВЕНИЧКИ ЕРОФЕЕВА

Вы, конечно, поняли, о чем я. В разгар Застоя, или, лучше сказать, в расцвет Запрета — ходил по рукам призыв великого писателя: «Жить не по лжи!» Высокий нравственный смысл этого требования как не подлежащий сомнению был немедля подхвачен мыслящей публикой. В общей форме против такого правдолюбия и я не имел возражений — сомнения точили в плане практическом. Как все это осуществить в родной каждодневности? Или сам Солженицын, когда первую повесть свою прятал от сексотов в ссылке, — не отступал от максимы? А когда пересылал главы «Архипелага» за кордон? И имена помощников прятал? Глупость моих вопросов была очевидна. Но не очевидна была ситуация, которая могла бы соответствовать умным к ней вопросам. Когда такой призыв в жанре категорического императива обваливается на головы всех и каждого, приходится соображать: а каковы

критерии? А где та грань, за которой ложь во спасение становится самоотрицанием правды? И кто определит?

«Жить не по лжи»... А мы правду о себе — выдержим? Правду о нашей собственной, исконной, врожденной немощи? Мы в этой немощи самим себе — признаемся?

Такие мысли мучили меня, когда в начале 70-х годов ходил по рукам манифест опального сотрясателя основ, и я не знал ответа. Меж тем, ответ в ту пору тоже гулял по рукам. Хотя никому в голову не вступало читать его именно так: как альтернативу солженицынскому призыву. Во-первых, потому, что имя автора, сравнительно с именем создателя «Матренина двора», было совершенно невесомо и мало кому ведомо: Венедикт Ерофеев. Во-вторых, потому, что основ этот Венедикт всерьез не сотрясал, а сотрясался сам, если говорить о его герое, от немощи и соблазнов. И, в-третьих, ключевая фраза, с которой, как с паролем, продвигался этот парень из Москвы в Петушки, была совершенно из другой оперы.

Фраза, которую увлеченные читатели восприняли как ключевую, звучала у Ерофеева так: «И немедленно выпил».

А ведь ключ там другой:

«Я лгу перед лицом Твоим, Господь».

Диалог получается.

Кто тут кому отвечает? Или порознь, не оглядываясь друг на друга, берутся за противоположные клеммы?

Я это только теперь почувствовал, двадцать лет спустя, когда волна мирового признания вознесла автора «Москвы — Петушков» в те надзвездные выси, в которых давно уже прочно пребывает автор «Ивана Денисовича». Теперь вышел однотомник Ерофеева — в таком академичном виде, какой и в страшном сне не привиделся бы бомжу, там описанному. Обложка из «телячьей кожи». Супер. Роскошная бумага. Полное собрание произведений. Вернее, как скромно уточняет издательство «Х.Г.С.», — «наиболее полное» на сегодняшний день. Все, добытое из черновики и отвалов. Драмы, записные книжки... Биография, некролог. Философская статья Михаила Эпштейна «После карнавала, или Вечный Веничка». Остается приба-

вить в качестве комментария хотя бы те материалы, что обнародовал в специальном «ерофеевском» номере журнал «Театр», да еще «Дмитрия Шостаковича», украденного когда-то у автора, вернуть — и будет полная Academia.

В этом есть что-то провиденциальное: «Веничка», тенью просквозивший когда-то о бок привычной словесности, винным облачком прореявший сквозь нее, заблеванным ангелом пролетевший мимо устоявшейся литературы — и такое непостижимое вознесение. Какие были у него перспективы в 1969 году, когда сочинял свое безумное путешествие «на кабельных работах в Шереметьеве»? Или в 1970-м, когда пошло оно по рукам? В «легальной словесности» — никаких. Полная безнадега: водка, матюги, бред, глум, абракадабра. Но и в самиздатовской сфере шансы были призрачны: самиздатская публика, отогнанная от левых журналов, углубилась тогда в философию: в Бердяева, Федотова, Ильина, да и в Солженицына подпольного, а тут какой-то юродивый, в чем мать родила, зовет, чтобы волоклись за ним, и куда! Не в Вермонт, не в Сорбонну, не в Цюрих, а в какие-то застеганные Петушки.

А ведь угадал пьяной своей бредовиной. В самую точку попал. Фантастика!

Сколько лет понадобилось, чтобы бронированный мир интеллекта нашел этому вралю и скомороху место в своих литературных рядах? Двадцать. И еще пять прошло — посмертно. Теперь он где-то между Панургом и Франциском — этот «Веничка». Где-то в созвездиях.

Железным интеллектуалам остается понять: что произошло? Какая сила таилась в беззащитном забулдыге, которого все пинали и который сидел на ступеньках кабака, прижимая к сердцу чемоданчик? Почему он оказался взыскан? И как к этому факту должны отнестись прочие обитатели кабака?

Это-то обстоятельство — самое главное. И оно описано. «Получается — мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред...»

Так ему свойски ребята объясняют из общаги.

Не обольщайтесь «Манфредом» и, тем более, «Каином»: в этом сюжете все надо воспринимать в некотором

роде от противного. Мы говорим: «Каин», а подразумеваем «Авель». А поскольку такое даже и подразумевать опасно, не то что говорить, то Веничка и отрещивается мгновенно:

«— Позвольте! Я этого не утверждал!»

«— нет, утверждал, — говорят ребята. — Как ты поселился к нам, — ты каждый день это утверждаешь. Не словом, но делом. Даже не делом, а отсутствием этого дела. Ты негативно это утверждаешь».

Так. Тут нам прямая подсказка. Рецепт «проявителя». С помощью которого мы и попробуем из «негатива» вернуться в позитив. Позитив — это путешествие к святыне. Паломничество в прямом, точном, старинном смысле слова. Путь к Деве. Богородица живет в Петушках. Ее образ ослепителен...

Теперь — главный компонент в «рецепте»: черное означает белое, а белое — черное. Это — общий прием, а если тоньше, то так: цвет — сохраняется, но переводится из светящейся гаммы в тупую. У Богородицы «глаза белого цвета». Или так: «белый, переходящий в белесый». А уж когда этот фильтр сработал, можно и так: «рыжая стервоза». Или «рыжая сука». На всякий случай Веничка прибавляет: «гармоническая». Чтобы мы не забыли, что это — Мадонна, хотя и опрокинутая в «негатив». Главное — не оборонить фильтра. То есть помнить, что рай замаскирован под ад, и всякое доброе побуждение предстает как скотство.

Да как же иначе-то? Разве ж ребята стерпят такого праведника в своих рядах? Они-то как раз уверены, что если стоит село или город, или вся земля наша, то не на праведниках. А на взаимопонимании грешников. Они уже предупредили: ты что, нашим дерьмом брезгуешь? Мы, значит, «можем», а ты — «не можешь»? Выходит, ты лучше нас? «Мы грязные животные, а ты — как лилея!»

— Нет, я такой же, как вы! — с кротостью возглашает праведник и в доказательство достает из чемоданчика бутылку. А про себя — воем воет: «Господи, Ты видишь, где я и что я! Разве мне это нужно? Разве по этому тоскует моя душа? Вот, что дали мне люди взамен того,

по чему тоскует моя душа! А если б они мне дали то, разве я нуждался бы в этом?

«Смотри, Господь, вот: розовое крепкое за рупь тридцать семь...»

О, интуиция святого: как виртуозно напоминает он нам приметы райской веры (розовая... крепкая...), перед тем, как булькнуть ее в стеклотару.

Итак, ситуация: праведник среди дикарей. Миссионер среди варваров. Святой среди богохульников. Как пройти по ниточке, не сорвавшись в адскую бездну? Как выдержать роль, называя Мадонну сукой и рай — адом? Как солгать Господу — но чтобы Он понял, по чему Ему лгут?

И как заставить читателя поверить, что все это — не лукавый камуфляж, прикрывающий скуку нравственной проповеди, а реальное состояние души и мира?

Писатель Венедикт Ерофеев находит чудодейственный путь: он погружает действие в спиртовую среду. Не то, чтобы до него в мировой литературе такого не было. И пьяные матюги Венички — не такая уж невидаль. И ругались, и блевали, и бредили. Рабле записывал бред страницами и пересчитывал вино бочками. От праотца Ноя — мировая литература настоена на вине. Еще как пили. Да. Но нигде так не хвастались питием, претендуя именно им восполнять тоскующий дух, как на Руси.

Так что Веничка знает, что делает, когда уточняет рецепт с дотошностью аптекаря. Лекарство называется «Сучий потрох». Пиво «Жигулевское» — 100 г, шампунь «Садко — богатый гость» — 30 г, резоль для очистки волос от перхоти — 70 г, клей БФ — 12 г... и т.д. Когда-то, при первом чтении (в начале 70-х годов, в самиздате) мне этого было достаточно, и я испытал неодолимое желание отложить повесть. «В р е ш ь, не возьмешь», — сказал я словами Чапаева. Еще не хватало: вместо Шестова и Розанова — такой делириум. Это была ошибка — моя, читательская. Воспринять «Москву — Петушки» как рассказ о пьянице — значит упустить, потерять все в этом тексте. Между тем, элементарное филологическое чутье должно было сработать уже на подозрительно подробное, пунктуальное, аптекарски-самозабвенное расписывание вин и водок. Это же первый

признак «высокой лжи», то есть художественного форсажа, прикрывающего «уязвимое место».

Маскируется, подпирается, подкрепляется самое хрупкое, самое сокровенное и немыслимое в душевном движении Венички Ерофеева: чтобы спасти добро, он называет его злом. В перевернутом мире он становится с ног на голову и в этом положении продолжает... нравственную проповедь. Взывая к ангелам. Взывая ко Господу: Ты видишь, я лгу перед лицом Твоим, но это лгу не я...

...А кто?

Атело, погруженное в спирт. Только дикой алкогольной блокадой возможно психологически удержать перевернутую конструкцию. Этот-то пункт: стыковочный, замковый, и надо было укрепить изначально. Возвестить все — от имени пьяницы. Или, как в своей академичной статье корректно уточняет Мих. Эпштейн, от имени человека, который все время опохмеляется.

И что же? Способ спиритуализации, примененный Ерофеевым для подпора вывернутой проповеди, изумительно совпал с русским «национальным орнаментом»: традиционное веселие Руси обеспечило ангелам чертовскую убедительность.

Солженицын с этим орнаментом «совпасть» не захотел. Но такой прием (впрочем, без коктейля «Сучий потрох») можно найти у англичанина Клайва Стиплза Льюиса, который, опасаясь пресности назидания, тоже перевел свою душеспасительную проповедь в «негатив» и призвал возлюбленных чад делать гадости и глупости — он сделал это от имени некоего подлого Баламута, полагая (и не без оснований), что у читателя, шарахающегося от возвышенной правды, сработает обратная логика. Мне даже казалось, что Ерофеев вдохновлялся примером Льюиса («Письма Баламута», переведенные Натальей Трауберг, ходили в самиздате в ту же самую пору, что и «Москва — Петушки»). Но вот теперь я прочел в однотомнике ранний ерофеевский набросок «Благовествование» (1962 год), где варьируется ницшеанский припев: «Так говорил Сатана», и автор «уносится на крыльях блеющего смеха», — теперь я вижу, что все это было до Льюиса, что бесовский маска-

рад заложен в писательском сознании Ерофеева изначально, и формулируется задача так: «в самом сосредоточении хамства и дарвинизма» — «расслабить души разумных продуманной чертовщиной».

Мир, продуманный под таким углом зрения, превращается как бы в базар «краденого»: аллюзии, штампы, расхожие цитаты и захватанные банальности насажены на ядовитое жало. Идет переворачивание всего школьно-университетского багажа, перепахиванье интеллектуального поля мыслящей публики рубежа 70-х годов. Пушкин-Батюшкин... Если курят, то тринадцать трубок, если позвонки на клине. Иногда текст превращается в сплошной монтаж цитат, или, как любят говорить нынешние академики, в «центон»: «Хочешь ты, например, остановиться в Эболи, — пожалуйста, останавливайся в Эболи. Хочешь идти в Каноссу — никто тебе не мешает, иди в Каноссу. Хочешь перейти Рубикон — переходи». Раздолье будущим источниковедам-диссертантам, а также теоретикам постмодернизма. Вряд ли Ерофеев конструировал свою прозу по соответствующим рецептам — их стали выписывать позднее, Ерофеев же — что называется, слепой гений, стенограф душевной агонии, чуткий интуитивист, почти наугад попавший в солнечное сплетение эпохи.

Солнце ли тут погашено тьмой, тень ли сожжена солнцем, — однозначно не определишь, как и во всяком интуитивно-бездонном тексте (амбивалентном, сказали бы академики).

То есть, с одной стороны, праведная душа погружается в беспросветную грязь, но с другой стороны, даже в грязи, в родном беспросвете — сохраняет же душа праведность! Конечно, все залито водкой. Но и залив все водкой, мы тоскуем по Облику! Это уж как считать (как читать) и от чего отсчитывать. Веничка отсчитывает не от Курского вокзала — он отсчитывает от привычного, неотменимого, нерасчленимого скотства. Но тянет — в сторону ангелов! Можно сказать: «Москва — Петушки» — это идиллия, которая осквернена. А можно и так: это скверна, в которой идиллия спасена.

Двойной свет — загадка ерофеевской прозы. Это-то, наверно, и вывело исповедь алкоголика из тьмы безвестия. Фантастический читательский успех поэмы — чудо. Ерофеев не смог ни повторить, ни продолжить его. Оказавшись в роли мирового классика (к тому же гонимого на родине, что еще и усилило эффект), он написал еще некоторое количество профессиональных текстов. Пару крепких пьес с продуманной чертовщиной. Пару лихих этюдов о модных властителях умов — «глазами эксцентрика». Не удержался и от искушения вослед своему «земляку» Солоухину «вложить» пару горячих в новейшую издевательскую «лениниану» (прошу Вагрича Бахчаняна удержаться от соблазна и не выносить этот мотив на обложку). Ерофеевские тексты умелы и изобретательны. Но нет в них того наития, которое посетило душу однажды, в поезде «Москва — Петушки». И нет той правды, которая засветилась тогда во лжи. Хотя и не была прямо названа.

«Все, о чем вы говорите, все, что повседневно вас занимает, — мне бесконечно посторонне... А о том, что меня занимает, — об этом никогда и никому я не скажу ни слова».

Еще бы. Убьют! Разве что от имени Сатаны сказать, которого одного только и согласны слушать и за которым готовы и идти ребята. Только бы не спугнуть.

«Наше призвание совсем в другой стороне! В той самой стороне, куда я вас приведу, если вы не станете упираться».

А если станут?

Тогда — достать бутылку «Сучьего потроха»...

А если рискнуть приоткрыть правду?

«Я знаю многие замыслы Бога, но для чего он вложил в меня столько целомудрия?»

Осторожно, Веничка! Это про какое же целомудрие ты собираешься рассказать? И кому! Не заскучают ли ребята?

Он это предчувствует:

«Как же не быть мне скучным и как же не пить кубанскую?»

Насчет кубанской — понятно. А вот страх «скуки» в ходе забубенного бреда — признак интересный. «Скука», как

известно, — спутница положительной проповеди. От страха «скуки» хитроумный англичанин Баламутом прикидывался, Гнусуку комплименты делал. А тут откуда?

Да все оттуда же. От беззащитного целомудрия. Только прикидывается Веничка — забулдыгой. И почти не выдает себя. Разве что растерянным молчанием на вопрос: если все, чем мы живем, тебе посторонне, если все это для тебя вздор, то что же тогда не вздор?

«О, не знаю, не знаю. Но есть».

Что есть — ни им, не себе, ни даже самому Господу не скажет. Почему? Да от страха. Не за плоть страшно — плоть-то все равно уничтожат: догонят, затопчут. За душу страшно.

В самом деле: другие-то что: хуже тебя? Другие-то ведь тоже едут и не спрашивают, почему так долго и почему так темно. Тихонько едут и в окошко смотрят... Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Что может быть ответом на это резоннейший вопрос, обращенный к нашему праведнику?

Ответ один: тихонько ехать, как все, называя белый свет за окошком — темной ночью.

Или так: задернуть занавески и пошутить в кухонно-интеллигентном духе:

— Будем считать, что мы едем.

Или, наконец, хватить «Сучьего потроха». И слиться с родимой реальностью. И поставить ей нетленный словесный памятник. Чтобы будущее человечество могло расшифровать пьяный бред «ребят» (академисты сказали бы: язычников), у которых душа горит от желания любить, но никак не различит — кого.

Этот-то памятник и поставил нам всем Веничка, и с тем вошел в мировую культуру, заняв там почетное место между святым Франциском, легшим в грязь к свиньям, и героями Рабле, блевавшими в Мировой Океан.

«Господа, если к правде святой...»

А там разберемся.



## О СЕГОДНЯШНЕЙ ВЕНГРИИ, О ВРЕМЕНИ И СЕБЕ

*Интервью журналу «Время и мы»  
профессора истории Будапештского  
университета Миклоша Куна*

— Вначале, доктор Кун, пожалуйста, несколько слов о вашей жизни. Какова судьба семьи Бела Куна, который, как мы знаем, был виднейшим деятелем революции и организатором Венгерской компартии, расстрелянным в 38 году в подземельях Лубянки? Как сложилась ваша судьба, внука Бела Куна?

— Я родился в городе Кашине, Калининской области (теперь это опять Тверская область), в 1946 году, жарким летом. В Кашине жили мои родители. После войны наша семья в Москве жить не могла, и, вообще, не могла приближаться к Москве ближе 101-го километра. Когда я родился, бабушка моя находилась в лагере, на Колыме. И моя мама, Ольга Александровна (она была русская) написала бабушке письмо (которое хранится у меня до сих пор), что у нее родился сын. Бабушка ответила ей: «Дай

бог, чтобы в его жизни все сложилось хорошо, родился он в хороший летний месяц, когда тепло». Это был намек на то, что она, бабушка, от нас далеко, в далеком Колымском крае. Родители-врачи были постоянно заняты в больнице, поэтому бабушка, когда вернулась, и ее сестра уделяли много внимания моему воспитанию. А Кашин, который я покинул в пятилетнем возрасте, так и сохранился в моей памяти, как какая-то розовая мечта. Я мог бы, конечно, туда поехать и сколько раз пытался это сделать, чтобы окунуться в раннее детство, но всякий раз меня что-то смущает, я сам не понимаю что. В школу я поступил в городе Орехово-Зуеве, это тоже был сто первый километр, где разрешалось жить нашей семье. А потом пришел 56-й год, 20 съезд, и мы переехали в Москву.

В нашей семье весьма своеобразно реагировали на тогдашнюю жизнь. С раннего детства я понимал, что какие-то вещи говорить нельзя, что-то нужно скрывать. Бабушка, вернувшаяся из лагеря, относилась ко мне очень ласково и в то же время достаточно жестко. Она всегда мне говорила: это нельзя, то нельзя, в жизни нужно быть осмотрительным и осторожным. Когда я однажды принес из школы песню с хулиганскими куплетами, упоминающими партию и правительство, в доме началась настоящая паника. Это был 1953 год. В Москве мы прожили очень недолго, в 1959 году вернулись в Будапешт, где я и живу до сих пор.

— А чем же в вашей жизни стал Бела Кун?

— До февраля 1956 года и появления известных статей в «Правде» я не имел и представления о том, что у меня есть дед с такой судьбой. Мои близкие все это тщательно скрывали. Считалось, что если судьба семьи сложилась так трагично, то моя жизнь должна быть максимально спокойной. Это не значило, что меня воспитывали в тепличных условиях, и я был как растение мимоза в ботаническом саду. Наоборот, когда мы переехали в Венгрию, где стали жить в достаточно хороших условиях, бабушка часто мне говорила: «Ты не должен привыкать ездить на машине!» (которую за ней присылали), ты не должен получать от меня много денег, я бы, конечно,

могла дать их тебе из своей пенсии, но я этого не сделаю. У тебя начнется трудная, самостоятельная жизнь, к которой необходимо готовиться. Ты должен научиться печатать на машинке, изучить английский язык. Я готовлю тебя к тому, чтобы все в твоей жизни было по-другому. Ты должен стоять крепко на ногах». Бабушка была очень образованной женщиной. Учительница музыки, знающая несколько языков, она работала в последние годы перед арестом в Институте Марксизма-Ленинизма. Она провела около девяти лет в Сибири и на Колыме, в совершенно жутких условиях, но вернулась оттуда очень спокойным человеком, сохранившим свое человеческое достоинство. Хотя много лет бабушка жила в Советском Союзе необычной жизнью, среди необычных людей, но она знала и другую жизнь. В доме, где жили сотрудники Коминтерна, она встретила особую среду, вышедшую из горнила революции. После смерти Сталина, особенно после 1956 года, у нас побывала масса людей из ее лагеря, среди которых были старые члены партии, такие как Евгения Гинзбург, но были, например, и монашки, отправленные на Колыму, и даже какие-то русские княгини, сумевшие выжить в лагере. Возвращаясь через Москву домой, эти женщины какими-то неведомыми путями выходили на нашу семью, появлялись в нашем доме, о чем-то шептались с бабушкой. Это были представители самых разных социальных слоев — и всех их, отбывших лагерь, тянуло напоследок повидать бабушку, думаю потому, что все ее очень уважали.

Итак, в 1959 году мы переехали в Венгрию, там я и закончил школу. Кстати, мой родной язык — не русский, а венгерский. До шести лет, пока я не пошел в школу, я говорил в основном по-венгерски. Несмотря на русское окружение, мы жили очень венгерской семьей. Хотя Кашин был настоящей русской глубинкой и моя мама, как я сказал, была русская, я говорил, в основном по-венгерски. Интересно, что оказавшись в Венгрии, я настойчиво стремился сохранить свой русский язык. Да и жизнь моя сложилась так, что до сих пор я больше читаю по-русски. Пишу я также по-русски, как, впрочем, и по-английски. Я

слушаю по-русски радио и телевидение, неизменно сохраняя в себе этот билингвизм, двуязычие. Единственно что — считаю я только по-русски, и сны мне тоже снятся по-русски. Но когда я устаю, то говорить хорошо могу только по-венгерски.

Мое увлечение историей началось с того, что моя тетка Агнесса (довольно известная переводчица, она дружила с Леонидом Мартыновым, Николаем Заболоцким, Тихоновым, недавно я прочел очень интересные письма Пастернака к ней), — так вот, она принесла мне роман Алексея Толстого «Петр Первый» и сказала: «То, что ты здесь прочтешь — это, конечно, тривиально, но я просто не могу видеть эти ужасные книги, Осеевой, «Васек Трубачев и его товарищи»! Вместо всего этого, читай лучше что-то путное, у тебя будет свободное лето, возьми и прочти Алексея Толстого». Было это где-то в 54 году. И вот, когда я три раза прочел «Петра Первого», я решил, что стану историком, буду заниматься эпохой Петра, изучать русскую историю. В общем, с этой стези я уже не сошел. Позже в университете, в Будапеште, где я учился на историческом факультете, я прочел «Былое и думы» Герцена, и решил, что буду заниматься не Петром и не 18-м веком, а другими, более поздними эпохами. Моя диссертация, а затем и книга, были посвящены Михаилу Бакунину. Я читал издаваемое в те годы «Литературное наследство», и думал, что когда-нибудь появится такой том «Литературного наследства», где будут и мои публикации о Герцене. А затем новый крен, на этот раз в сторону 20 века. Честно говоря, может быть, я и неправильно сделал этот свой последний выбор. На самом деле для меня история во многом кончается 19 веком. Начало 20 века уже слишком политизировано. Когда я слышу, как бывшие коммунисты говорят, что нам нужны великие потрясения, нужны великие дела и ставят на своем столе портрет Столыпина — это мне просто смешно. Я чувствую, насколько все это поверхностно и по-настоящему не трансформировалось в головах людей. Как я уже сказал, для меня история кончается где-то в конце прошлого века. Так вот, мой новый крен связан с тем, что я написал книгу

о Бухарине: «Николай Бухарин. Его друзья и враги». В то время я объехал почти все самые крупные архивы мира, где были бумаги Троцкого. У меня одна из самых крупных коллекций таких документов (не считая собрания Юрия Фельтшинского, который мне очень помог). И то, что я будучи историком последнее время так много занимаюсь Сталиным, эпохой Сталинизма, я даже не знаю, как это определить. Не то, чтобы мазохизмом, но что-то в этом духе. Совсем другое было дело заниматься Герценом, его окружением, Иваном Тургеневым, Бакуниным, 19 веком, чувствуешь как ты окунаешься в какую-то родниковую воду, холодную, правда, но необыкновенно чистую. Но даже теперь я стараюсь изучать это движение (например, изучать Троцкого или Сталина филологическими методами, которые я применял, изучая 19 век. Возможно, это и «дилетантизм» своего рода, но я хочу вникнуть в психологические проблемы этих людей и, чтобы понять их поведение, пытаюсь вжиться в психологию эпохи.

— **И все-таки давайте вернемся назад, к вашей юности. Расскажите подробнее, как была встречена вами информация, связанная с Бела Куном, чье имя так тесно связано с коммунизмом и революцией?**

— Выше я уже упомянул, что до 1956 года я, вообще, не знал, кто такой Бела Кун. И как я говорил, бабушка всеми силами хотела оградить меня от опасностей. Известно ведь, что в 1948—49 годах многих стали снова брать — вероятно, она боялась, что зная историю Бела Куна, я могу сказать что-то лишнее. И, вообще, она очень неохотно делилась своими воспоминаниями о 20-х годах и о всей этой эпохе. Не то, чтобы она ее идеализировала, но, по-видимому, просто считала, что эпоху эту я не пойму. «Вот вырастешь, говорила она, узнаешь многое, тогда сам во всем разберешься». И вдруг, когда я стал уже студентом, она начала говорить об этой эпохе совершенно иначе.

Приведу одно из таких мест, рассказанных ею в мои студенческие годы:

«...Вот я еду из Крыма (вскоре после того, как мы с Бела Куном в 21—22-м годах жили на Урале, и оттуда меня послали в Крым). Там я очень заболела, еду обратно,

вместе со мной едет из Крыма Шляпников. Вокруг, насколько хватало глаз, открывались бедные, разоренные войной и голодом места. И вдруг Шляпников поворачивается ко мне и говорит: «Товарищ Кун, вы видите эти жалкие, убогие русские деревни, что вы думаете, мы построим здесь коммунизм? Неужели при таких условиях здесь может быть построен коммунизм?» И тот же Шляпников, продолжала бабушка, когда выступал на рабочем митинге, с пафосом восклицал: «Мы должны построить коммунизм! Мы должны верить, что мы построим коммунизм!» Вот эта амбивалентность, эти две ипостаси жили во всех нас, — считала она. Мы были гораздо более фанатичны, чем наши сподвижники на Западе. В те годы очень легко было заметить разницу между людьми культурными и некультурными. И чем культурнее был человек, тем больше он скрывал свои переживания — насколько он был разочарован всем виденным». Бабушка мне подробно рассказывала, как быстро их поколение менялось с худшему. За все 20-е — 30-е годы она всего лишь раз была на Западе. Когда она заболела, то поехала лечиться в Карлсбад. Там она была с женами начальства и многими партийными сановниками. Так вот, по ее словам, она никогда в годы австро-венгерской монархии не видела, чтобы люди графского или княжеского происхождения вели себя с такой спесью, как эти самые жены начальства. Ее рассказы, не могли, конечно, не оказать на меня влияния. Но вот бабушка умерла, и мне пришлось начать, действительно, самостоятельную жизнь.

— **Жизнь кого, ученого? Журналиста? Политического деятеля? Как, вообще, в те годы складывалась ваша судьба?**

— Жаловаться мне не приходится, но в те первые годы было достаточно трудно. Права была бабушка: началась жизнь, совершенно не такая, какой я жил раньше. Большая часть моей жизни проходила так, что нужно было зарабатывать на хлеб. Тогда-то у меня и сложился очень своеобразный ритм. Для меня делать научную работу стало удовольствием и отдыхом. Вот уже многие годы все субботы и воскресения я дома, я расслабляюсь, читаю книги, читаю архивные материалы, которые хранятся в много-

численных папках. На моих полках десятки и сотни таких папок, собранных за многие годы жизни. Я сижу за пишущей машинкой, теперь уже за компьютером, это у меня отдых. Сижу не только по субботам и воскресеньям, но часто и по вечерам. Иногда, если не хватает времени, беру день отпуска. Остальные дни, как у всех нормальных людей в Венгрии, заполнены повседневными, рутинными делами. Вот уже много лет я преподаю в университете. Иногда делаю передачи для радиостанции «Свобода», довольно часто меня вызывают на радио и телевидение. Я много пишу в газетах. Отношусь к этому очень покойно, потому что многие годы я писал только научные статьи, с комментариями и сносками. Никто меня не знал. Теперь, если я иду по Будапешту (я никогда не хвастаюсь этим), со мной многие здороваются, знают по выступлениям на радио и телевидении. Я прекрасно понимаю, что все это призрачно, все быстро забывается. Я не идеализирую свой научный труд, но, как я сказал, занятия наукой — единственное, что мне доставляет истинное удовольствие.

— **Вероятно, за все эти годы вам пришлось пережить серьезную трансформацию, если принять во внимание вашу семью, да и образ жизни, который вы вели, будучи огражденным от всех забот и треволнений? Не пришлось ли вам себя ломать?**

— Никакого раба я из себя не выдавливал. Как и многие люди, я жил в те годы достаточно двойной жизнью. Очень странно (над этим мы с моими венгерскими друзьями часто смеемся), но я, например, никогда не был причастен к венгерскому диссидентству, к оппозиционным кругам, хотя прекрасно знал, кто чем занимается. В то же время я был очень тесно связан с русской эмиграцией, с чешской эмиграцией. После 68 года чешские эмигранты мне присылали массу книг (у них был специальный центр), в мой дом стекалась литература из самых разных стран мира, и таким образом у меня образовалась огромная библиотека. Я ввозил в Россию огромное количество нелегальных книг, распространял их где мог и как мог, довольно открыто. Это с одной стороны. С другой стороны, я жил в Венгрии и играл во многом по тогдашним правилам. Но

вот я просмотрел недавно вырезки своих ранних статей, которые всегда собирал в папках, и не обнаружил ничего особенного такого, чего бы я мог стыдиться. Другое дело, что книгу о Бакуanine сейчас я бы написал несколько по-иному, чем раньше. Разницы слишком большой нет. В пределах тогдашней ситуации я неизменно старался сохранять объективность историка. Правда, возможно, я тогда думал немного по-другому. На меня, конечно, произвело неизгладимое впечатление то, каким на самом деле призрачным оказался коммунистический строй и как он легко рухнул, при такой мощной кэзэбешно-военной и партийной машине. Ну еще огромную роль сыграло то, что в 1984 году я полгода провел в Соединенных Штатах. Все это вместе стало решающим в моей жизни. До этого я был много раз в Европе, много занимался там научной работой, общался с западными интеллектуалами, но, оказавшись в Америке я как никогда отчетливо понял, что жить можно совершенно другой жизнью, нежели я жил до сих пор. Мои переживания были столь сильны, что у меня даже возникла идея эмигрировать. К счастью, я эту идею не осуществил. Думаю, что сейчас я был бы несчастным человеком. Именно в этот период некоторые из российских коллег, придерживавшихся самых разных политических взглядов, — от бывших диссидентов до ортодоксальных коммунистов — сломались душевно. Я не сломался. Когда-то человек рисковал своей свободой и жизнью, а теперь печатается в «Правде», ему симпатичен Зюганов, симпатичны идеи восстановления Советского Союза — ведь все это просто абсурд!

— **Вы говорите о пессимизме, переживаемом вчерашними диссидентами? Но ведь и вы не можете не оценивать критически многое из того, что происходит в России, не правда ли?**

— Я действительно многим поражен. И прекрасно, например, понимаю, что Ельцин допустил чеченскую войну. По-настоящему крестьянам до сих пор так и не дали землю. Бизнес в Россию входит с черного хода. Самыми грязными путями осуществляется выкачивание капиталов из страны. И тем не менее нужно благодарить Бога, к которому я много обращаюсь в последнее время, за то,

что все это случилось. Можно лишь поражаться близорукости некоторых интеллектуалов, утверждающих, что грянет якобы другой коммунизм. Я думаю, как раз напротив: если в Россию и Восточную Европу вернется коммунизм (у которого я особых шансов не вижу), он будет еще более зверским, еще более ужасным, в ксенофобской, антисемитской, националистической форме — это будет не коммунизм, а какой-то совершенно злобный режим. Конечно, среди бывших коммунистов много порядочных людей. И правы те, которые говорят, что 37 год ударил и по самой партии, причем не только по верхушке. Но сегодня уже во многом уходит та власть (во многом, но не во всем), которая совершила самый ужасный геноцид 20 века — коллективизацию. Между прочим, я лично встречался с людьми, которые проводили коллективизацию и даже с теми, кто был жертвами коллективизации и пережили все ужасы этого геноцида целой нации. Изучая архивы тех лет, я вижу, что этому поколению и, главное, этой системе никакого оправдания нет. Если мы хоть чуть-чуть приложим усилия к тому, чтобы отдалиться от той страшной эпохи, мы, вероятно, лучше сумеем понять весь ее ужас. Я не согласен с утверждениями великого французского утописта Фурье, который, рассматривая похожую ситуацию во Франции, говорил, что всех людей старше 20 лет нужно гильотинировать, — только тогда мы построим новую жизнь. К сожалению, я думаю, что мое поколение (как и более старшее поколение) и здесь, и в России, вряд ли окажется в состоянии понять новую жизнь, которая появится в будущем.

— Если мы бросим даже самый общий взгляд на Россию и, в особенности, на страны Восточной Европы, то увидим довольно странные вещи. Конечно, нельзя сказать, что там происходит реставрация коммунизма только оттого, что в Польше или, скажем, в Венгрии, пришли к власти социалисты. И все-таки, имея за плечами столь трагический опыт, отчего население голосует за коммунистов? Чем вы это можете объяснить?

— Известно, что в Венгрии и других странах Восточной Европы на рубеже 80-х и 90-х годов был большой всплеск

протеста против советской империи. Однако важно понять, что к реформам эти страны пришли не столь своим внутренним течением, а во многом это стало результатом исторической встречи Буша и Горбачева на Мальте. В Кремле поняли, что у них просто нет достаточных сил, чтобы держать всю эту гигантскую империю в руках. Времена изменились. Если когда-то, в 19 веке, Англия, допустим, колонизировала Индию, не в последнюю очередь потому, что это был огромный рынок, то теперь колонии становятся бременем для империй.

— Значит сам ход истории. И никакой, скажем, доброй воли того же Горбачева?

— Какой доброй воли? Горбачев — это очень посредственный аппаратчик из Ставрополя. Все дело в том, что Горбачев и некоторые из его окружения решили не просто быть коммунистами, а еще и разъезжать по миру, притом вполне легально, сполна пользоваться всеми благами жизни. Они думали подремонтировать коммунизм путем реформ. Но у них не получилось. Вот и все. Но вы спрашиваете о другом: отчего коммунисты возвращаются к власти? Я считаю, что трагедия наших восточно-европейских стран в том, что они не подошли к переменам своим путем. Свобода в эти страны во многом пришла извне. Новая элита сразу же пошла на компромисс с элитой старой. Кроме того, новая элита сформировалась не из реформаторских, диссидентских кругов, а чаще всего пришли к власти люди посредственные. В том числе и политики посредственные. Очень часто это были аппаратчики, которые, имея определенный опыт управления, не преминули воспользоваться огромной ностальгией населения по той эпохе, когда все было относительно стабильным. Но я не сказал бы, что в Венгрии, Польше или даже в Словакии пришли к власти все те же твердолобые коммунисты, знакомые нам по старым временам. Надо иметь в виду, что это уже второе или третье поколение людей, хоть и выходцев из коммунистической системы, но в большинстве своем они тоже не хотят реставрации этого режима. Во-первых, они обогатились. Возвращаться в прошлое — значит иметь

лишь такие привилегии, которые у тебя в любое время могут отобрать. А теперь ты и находишься у власти (причем придя к ней демократическим путем), и в то же время имеешь достаточно большой капитал. Примеров этому несть числа. Во-вторых, как мне кажется, в Восточной Европе быстро, вообще, ничего не может решиться. Все эти страны ожидает длительный исторический процесс. И нет никаких сомнений в том, что ни Польша, ни Венгрия, ни Чехия, да и другие восточно-европейские страны, на орбиту коммунизма никогда не вернуться. Рано или поздно они, вероятно, вступят в европейское сообщество, вступят в НАТО, и в этом ничего странного нет. Другое дело — и это я хотел бы снова подчеркнуть, — что ни экономически, ни политически народы этих стран не смогли отвоевать сами свободу. Не было так, что массы одним своим давлением вынудили власти уйти. Ни в одной из восточно-европейских стран не было не только по-настоящему революции, но даже внутренней эволюции. Может быть, исключением в какой-то мере явилась эта кошмарная история с четой Чаушеску, в Румынии, где произошел верхушечный переворот и, похоже, существовал заранее отработанный план. Но в целом, в странах Восточной Европы многое решило влияние извне. Примечательный факт: если бы Венгрию не покинули три дивизии Южной группы войск, венгерский прежний строй никогда бы не рухнул так быстро. Так что многое определилось тем, что стоящие у власти коммунисты просто-напросто лишились поддержки из-за границы.

**— Ну а что все-таки думает человек с улицы, когда теперь уже без всякого давления решает голосовать за коммунистов?**

— Я не считаю, что существует такое понятие «человек с улицы». Часть венгров думает, конечно, что во времена Яноша Кадара жизнь была намного устойчивее и стабильнее. Тем более, что это был самый веселый барак социалистического лагеря. Разрешали ездить за границу — сначала раз в пять лет, затем раз в три года, потом уже каждый год. На западе у людей было много родственников, от них можно было разными путями получать валюту и как-то крутиться. Легко было купить маленький участок

для дачи, купить машину гэдээровского производства. К тому же была полная занятость населения, то есть достаточно рабочих мест. В колхозах и совхозах разрешалось иметь приличные приусадебные участки. То есть в кадаровские годы Венгрия очень много отличалась от России.

**— Выше вы говорили о социалистах, пришедших в Венгрии к власти, что же общего у них с коммунистами, из среды которых они вышли?**

— Надо понять, что прошлое для наших социалистов, как гиря, и у них, конечно, нет российской зюгановской закваски. Большинство из них счастливы от каждой похвалы Маргарет Тэтчер, взгляды их обращены на Запад, они спят и видят, чтобы быстрее вступить в НАТО, во многом это даже не второе и не третье, а совершенно новое поколение.

**— А каким вы видите будущее стран Восточной Европы? Связываете ли вы его с социалистами?**

— Я не думаю, что в жизни этих стран наступят большие перемены, хотя с прогнозами лучше быть осторожным. Я, в частности, не исключаю, что возможен настолько сложный виток истории, что в нашем регионе через два года возможно придут к власти консервативные силы, с национальной окраской. А кое-где и опять придет коалиция социалистов и либералов, в рядах которых было много мыслящих и диссидентски настроенных людей. Сегодня в руках либералов Восточной Европы многие банки, часть крупных промышленных предприятий. Но какие бы силы не оказались у власти, они придут на социальной волне — у нас в Венгрии вряд ли возможна шоковая терапия в российском варианте, так же, как не возможно применение ваучеров. Однако что интересно — именно социалисты довольно быстрыми темпами осуществляют приватизацию (значительная часть мелкой торговли была приватизирована еще при Кадаре, а теперь приватизируются и промышленные предприятия, в частности, многие предприятия телекоммуникации). И правящие круги, чтобы открыть себе путь в НАТО, фактически вынуждены, хоть и не в российском варианте, а все же осуществлять шоковую терапию, взорвав изнутри так называемую систему

«социального обеспечения». Если Зюганов в России пользуется этой терминологией, сохранившейся с советских времен (детсады, пионерлагеря и т.д.), то социалисты в нашем регионе именно в силу своей прозападной ориентации, во многом от нее отказались.

— **Мы знаем, что в России переход к рыночной экономике вызвал массовое обнищание населения. Именно это и обеспечило успех коммунистов. А что в Венгрии? Нищает ли здесь население с приходом капитализма?**

— У нас процесс обнищания затронул прежде всего средние слои. Я хотел бы это подчеркнуть — что коснулось обнищание не столько крестьянства, сколько довольно широких кругов интеллигенции. Как ни странно, это наблюдается как раз в годы правления социалистов. Но даже они не пошли, ради социальной демагогии, по пути возврата так называемых «социальных завоеваний», которые связывают их с коммунистическим прошлым. Сегодня мы все чувствуем трудное экономическое положение в стране. У меня почти нет знакомых, кто не работал бы в трех-четырёх местах. Без этого венгерскому интеллигенту просто невозможно просуществовать.

— **И какие это рождает настроения? Ностальгию по прошлому?**

— У части населения рождается ностальгия. У других наоборот пробуждается энергия: нужно выжить и задействовать новые возможности. В связи с этим изменяется и психология людей. Сегодня интеллектуалу, даже самому рафинированному, уже не стыдно просить гонорар, спорить о его размерах, открыто обсуждать вопрос об оплате своей работы.

— **А как обстоит в Венгрии с мафиозными структурами? Так же, как в России?**

— Да, у нас есть свои мафии, но они не переплетены с государственными структурами, а существуют как бы параллельно — и в этом их главное отличие от российских мафий и российской преступности, проникшей во все государственные поры.

— **Как бы вы сегодня определили отношения между Венгрией и Россией?**

— Я бы сказал так: что эти отношения достаточно

сдержанные, но спокойные. И внешне, конечно, никаких серьезных трений нет. Есть некоторые проблемы, связанные прежде всего с реституцией национальных ценностей. В 45—46 году из Венгрии были увезены многие ценности. Относительно их возвращения идут в Москве долгие и упорные дискуссии. Ельцин в свое время обещал в Будапеште вернуть эти ценности и демонстративно привез сюда две картины. Естественно, ничего подобного от Зюганова и российских коммунистов, если они придут к власти, ждать не приходится. Экономические отношения между Венгрией и Россией не слишком тесные. В основном Венгрия в большом пассиве, потому что, если она по-прежнему вывозит из России энергоносители (нефть, газ и т.д.), то Россия в Венгрии из традиционного импорта уже многое чего не покупает. В Венгрии не издается ничего русского. И это связано не с отрицательным отношением к России, особенно к новой России, а с общим крахом в Венгрии книгоиздательского дела. Если раньше, допустим, в годы социалистического строя, огромными тиражами издавались не только советские писатели, но и Пушкин, и Толстой, и Чехов, то сейчас они не выходят вовсе — не потому, что венгры хуже относятся к русской культуре. Напротив, сегодня они относятся к ней гораздо лучше по сравнению со временем, когда здесь стояли три дивизии Южной группы войск. Все потому, как я уже сказал, что рухнул венгерский книгоиздательский мир. Тем не менее за всем, что происходит у русских, венгры следят с неослабевающим интересом.

— **Не секрет, что в России с приходом рыночных отношений произошло общее падение морали и национального духа. О русском патриотизме сейчас мало кто говорит всерьез, а все больше о бизнесе и о деньгах. Вновь рождающиеся миллионеры, так называемые «новые русские» — это самые уважаемые и почетные граждане страны. А что в этом смысле в Венгрии, чей главный грех в глазах бывших советских правителей как раз и заключался прежде всего в национализме венгров?**

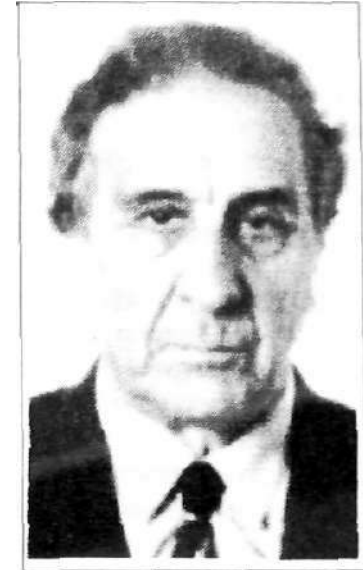
— Национальный дух народа Венгрии — особая тема. Вспомним, что Венгрия — маленькая страна Восточной

Европы — потеряла после Первой мировой войны две трети своей территории и треть своего населения. Мирный договор 1921 года, подписанный в Париже, настолько ударил по этой стране, что она до сих пор не в состоянии полностью оправиться. Долгое время Венгрия была оккупирована турками, входила в империю Габсбургов. Одно время она была сателлитом фашистской Германии. После Второй мировой войны в Венгрии стояли войска Советской Армии. Вряд ли какая-то другая страна Восточной Европы имеет такую драматическую историю. И я думаю, что на протяжении всей долгой истории Венгрии, именно ее национальный дух поддерживал народ этой страны, помогая ему выйти из самых трудных испытаний.

*Интервью вели  
В. Александровский и А. Абрамова*

*Будапешт, июнь 1996 г.*

**МНЕНИЕ  
ЧИТАТЕЛЯ**



## **СДАЧА СТРАХУ НА МИЛОСТЬ**

**Роман Г. Владимова "Генерал и его армия"  
глазами участника Отечественной войны\***

Многие годы нас грела спокойная уверенность, что праздник Дня Победы — праздник навсегда. Но вот в канун его пятидесятилетия обнаружилось, что рядом с верой в войну как Отечественную, Освободительную и Великую, существует широкий спектр мнений от прямого отрицания этих определений до представления о войне как о противоборстве двух одинаково отвратительных режимов, двух тиранов.

Г. Владимов идет еще дальше, возрождая нацистскую легенду об этническом превосходстве немецкого народа над советским, оправдывающем вторжение немецких

\* Георгий Владимов — автор романа «Три минуты молчания», повестей «Большая руда» и «Верный Руслан», автор письма IV Съезду писателей в защиту А.И. Солженицына, активный участник помощи политзаключенным в СССР. В 1977 году заявил о своем выходе из Союза писателей. После двух инфарктов, постоянной слезки и обысков вынужден был, вопреки прежним намерениям, покинуть в 1983 году СССР. Роман «Генерал и его армия» опубликован в 1994 году в №№ 4 и 5 журнала «Знамя».

войск на советскую землю и геноцид советского народа. Наши ветераны воспримут это, скорее всего, как удар в спину, нанесенный в тяжелую пору, когда волна мифотворчества захлестнула память о войне, когда, как бы воспользовавшись все ускоряющимся уходом свидетелей, стали вольно обращаться с фактами.

Досадно, что одним из толчков к мифотворчеству послужил «Ледокол» В. Суворова, в котором талантливо и убедительно показано, что Сталин вынашивал планы наступательной войны против Германии. Общественное воздействие «Ледокола» пошло по чудовищно неверному пути из-за непростительной ошибки автора, отождествившего маниакальные намерения деспота с устремлениями народа, бросив тем самым тень на его действия в войне.

Со временем разберутся досконально в ошибке В. Суворова, а пока достаточно вспомнить, к чему стремились в войне советские люди, а к чему — немцы, лучше сказать — фашисты.

Советский народ был миролюбив и планов диктатора не только не разделял, но и не знал о них. Напротив, немцы от рядового солдата до Гитлера были спаяны в монолит фашистской идеологией, идеями расового превосходства, необходимости завоевания «жизненного пространства» и порабощения «неполноценных народов». Этого хорошо известного различия не увидел В. Суворов, не увидел или не хотел увидеть и Г. Владимов. А что касается планов Сталина, то они превратились в ничто, так и не дойдя до народа, одновременно с началом войны.

Сюжет романа прост. Осенью сорок третьего года генерал Кобрисов, отстраненный от командования армией, направляется в Москву вместе с адъютантом Донским, шофером Сиротиным и ординарцем Шестериковым для «разборки» в Ставке. Их отрыв от военных событий располагает к воспоминаниям. Оживают эпизоды ранения генерала и его спасения, встречи спутников генерала с особистом Светлооковым, которым автор придает явно преувеличенное значение, и главный эпизод — фронтовое совещание на тему освобождения города Предславля, в котором угадывается Киев, и небольшого городка Мырятина

близ него. Кобрисов отстранен от командования из-за возражений против штурма Мырятина, требующего, по его мнению, больших неоправданных жертв. Завершается роман вполне в духе произведений для юношества — при подъезде к Москве героев застаёт сообщение по радио об освобождении Мырятина, присвоении генералу звания Героя и произведении в генерал-полковники. Кобрисов принимает решение о возвращении в армию.

Такова фабула, а главное содержание романа — критика всего российского, советского, связанного со сталинским режимом. Критика усиливается восхвалением всего немецкого — равно фашистского и нефашистского.

Известно, что критика действительна, если рождена любовью и беспокойством; если ни того, ни другого нет, она не воспринимается. А кому отдана любовь автора, отдана без остатка, автор не только не скрывает, но пожалуй даже выставляет напоказ. Вот сцена казни, которая сомнений в этом не оставляет: «Немец, ... голубоглазый, белокурый, крепкий шел в расстегнутом мундире с голой розовой грудью и усмехался, сверкая ровными белыми зубами. Казнимых взвели на грузовик, поставили у кабины лицом к толпе, желтоволосые, мордастые выводные в белых полушубках сноровисто накидывали петли — грузовик начал отъезжать. И тут немец, что-то прокричав, насмешливое, злорадное — побежал... добежал до края и ринулся сам, не дожидаясь неизбежного, а те трое (Не немцы — прим. мое. М. Х.) еще переступали... еще тянулись на цыпочках к последнему глотку дыхания. Было похоже, что он убил себя сам, но ушел от казни, кто-то из выводных даже крякнул от досады».

«Игра в одни ворота» на этом не кончается. Вот портреты Гейнца Гудериана и Г.К. Жукова. У Гудериана «...крепкое лицо еще млажавого озорника, лукавое, но неизменно приветливое». Он единственный, кто может и с Гитлером поспорить: «... не в натуре Гейнца... исполнять чьи бы то ни было предложения «любой ценой». По контрасту Г.К. Жукову достался комплекс неполноценности по причине малого роста. Жуков зависим не только от Сталина, но и от партийных бонз, зато не знает жалости к подчинен-

ным, и возражение Кобрисова: «Операция... тысяч десять мне будет стоить» парирует легко и спокойно: «Что ж, попросите пополнения».

Безжалостен и портрет Кобрисова, у которого словно бы только и есть, что «складчатая шея» да затылок, то «мощный с краснотой от воротничка», то «напруженный».

Кампанию по очернению советских воинов Г. Владимов порешил начать с превращения советских войск в серую массу безликих суеверных людей, погруженных в страх, полных предчувствиями. На войне страх — дело обычное. Но для советских воинов автор припас страх особый — не тот, что вызывается опасностью, а тот, что живет в человеке постоянно и может в любую минуту беспричинно обнаружить себя: «Генерал... был свидетелем как три (Подч. мною — М. Х.) батальона покинули позиции, не выдержав адского грохота и треска, доносившихся из ближайшего леса, — как выяснилось, это несчастный итальянец — берсальер (Не немец же, конечно, — Прим. мое — М.Х.), сам обезумев от страха, метался между деревьями на мотоцикле». К неправдоподобию читателю надо привыкнуть — иначе он читать роман не сможет.

А вот еще вариация на тему бегства советских войск: «Вся эта лавина — с ревом, храпением, руганью, пальбой — текла по дороге, как ползет перекипевшая каша из котла... бежали с безумными, как водкой налитыми глазами».

Не обделил Г. Владимов страхом и героев романа. Бедняга Сиротин весь в мыслях о спасении: «Наука выживания требовала: всегда смирайся, не уставай просить, чтоб тебя миновало — тогда, может и пронесет». Он собирается переходить с «виллиса» на полторку, поскольку у нее кабина крытая и «не всякий осколок пробьет». А Светлооков рад случаю лечь головой под столик «... для головы нелишнюю защиту». Посещает страх даже «не таких как все» генералов Кобрисова и Власова. Кобрисов «побледнел от страха», когда пикировал немецкий самолет. Углядел это командующий воздушной армией, решивший пикирующий самолет отогнать и, видимо, задом и за цветом лица генерала понаблюдать. А ведь ничего даже отдаленно похожего на такое бьющее через

край неправдоподобие в прежних действительно замечательных произведениях Г. Владимова не было!

«Оседлав» страх, автор переходит к его сгущению. Страх сопровождают: «невнятная тоска», «безотчетный озноб», «скрываемое предчувствие», «сосредоточенность на невеселой мысли», «таящееся в самой глубине что-то большое зверино тоскливое». Ну, хорошо — советские воины во власти страха, а как быть с проявлениями героизма, которые никуда не спрячешь? Для Г. Владимова такой дилеммы не существует: да, были и героические поступки, но «Было ли это в помешательстве или так источил ему душу многодневный страх, но слышали... его крик, вмещавший и муку и злобное торжество и как бы освобождение...»

Итак, и тут все тот же страх. Кажется это уж слишком! Дело в том, что по счастью, нормальный человек, как правило, этому чувству, в определенных обстоятельствах, естественно, сопротивляется. Благодаря способности к «вытеснению» он выдерживает опасности долгой войны, как приспосабливается даже к долгому лишению свободы и как-то живет, будучи приговоренным врачами к смерти.

Обвинение в «сдаче страху на милость», то есть в трусости, уничтожающе. Тем не менее, автору оно показалось недостаточным и, окончательно махнув рукой на правдоподобие, он наносит еще один удар по той же цели, поставив под сомнение благородство устремлений советских воинов. О чем угодно они думают и мечтают, только не о родине и не о победе. Шестериков — тот вообще страшится возвращения домой, Донской — весь в надежде «на бригаду стать», генералы поглощены плетением сети интриг, Светлооков занят своим нелепым сном. Он считает, что войну уже пора кончать: «Скорее по домам — своих баб щупать, а то я наблюдаю, у всех уже мозга за мозгу заходит». И только «... ополченцы из Москвы: артисты, профессора, писатели, жаждут боя. Ни шагу назад не ступят... Ясно, — сказал генерал. — Огня значит еще не нюхали...» Понимать это надо так, что первый же бой обратит их в трусов, как и всех прочих.

Окончательная характеристика советских воинов доверена Гудериану: «... они, в отличие от немцев (Подчеркнуто мною — М. Х.) безынициативны, страшатся любой неясности, ведут себя непредсказуемо для них самих, то поддавшись необъяснимому страху, сдаются овечьим стадом или бегут, не разбирая дороги, а то вдруг отчаянная горстка цепляется намертво (От страха? — М.Х.) за клочок земли, не имеющий никакого военного значения...» Эту «характеристику» дополняет генерал Власов: «Русские легко впадают в панику, а... когда русский Иван наступает — спиной к ненавистному врагу, у него на пути не становись, сомнет».

Уже вроде бы «полна коробочка», но и это еще не все — советские воины оказываются еще и жестоки. Генералы применяют «четырёхслойную тактику», хитрость которой в том, что устлав землю тремя слоями погибших, можно облегчить продвижение других. Солдаты, «полные безумной жадности выжить, злобны и безжалостны». Трофейный коньяк они, прежде чем пить, проверяют на пленных, власовцев-пленных расстреливают без суда. И за все это Г. Владимов клянет советских воинов: «Никогда не простится, не забудется бессильная жертва, схваченная за локти, чтоб ты мог спокойно взвести затвор, а прежде разбить ему губы в кровь или, сняв ремень, свободно замахиваясь, пряжкой крест-накрест располосовать лицо. Это не покинет тебя ни в снах, ни в хмелю, до конца жизни будет маячить перед глазами».

Не надо думать, что Г. Владимов не знает о страшных зверствах фашистов — действительных, а не в злобе сочиненных. Нет, знает и даже вскользь упоминает о них, однако же во внимание принимать не хочет и устами Гудериана славит их, тех, «кто зимою сорок первого... изможденные, обмороженные представляли собою все-таки войско! В них все равно жил тевтонский дух. Они этот дух являли — за пределами отчаяния, вмерзая в сугробы рядом с мертвецами». И они, не в пример советским воинам, знали, за что сражаются. «Я меньше всего думаю о себе, гораздо больше меня волнует судьба всей Германии» — это размышления Гудериана, который «... вдох-

новлен... сознанием, что серой чуме большевизма... предел поставит лишь сильная духом... Германия».

Роман Г. Владимова построен на искажении исторической правды. Это очевидно. Позволю себе только заметить, что до нападения на Союз было захвачено с десятков стран, «чумой большевизма» не болевших. А разве нужно доказывать, что противопоставлять неудачный выбор советским генералом участка для плацдарма техническому мастерству немецкого командования — значит вконец нарушать чувство меры.

Если все так прекрасно в фашистском стане и так безнадежно плохо на советской стороне, почему же немецкие войска, отступив в сорок первом от Москвы, не приблизились потом к ней ни на шаг, почему потерпели сокрушительное поражение?

Известно, что говорить заведомую неправду трудно только поначалу. Потом задумываться уже нет нужды. Поражение фашистской армии в романе объяснено 6—7 кратным перевесом советских войск. Как тут не поинтересоваться, о чем думали фашисты, затеявая войну? Где же был их военный гений? На войне любая сторона, готовя наступление, создает перевес на выбранном участке, оставляя на остальных участках силы, минимально необходимые для обороны. Слишком большого перевеса обычно не создавали, поскольку это и трудно и ненужно. Тем не менее те, кто знает об обороне Ленинграда, Одессы, Севастополя и, особенно, Сталинграда, знают, сколь велик был перевес у немцев (Именно у них! — М.Х.).

Г. Владимов, конечно, не мог оставить в тени помощь, которую советские войска получали. Из романа узнаем, что помощь оказывалась не только союзниками, но и немцами!? Немецкими были, оказывается, велосипеды и ножницы, немецкими были вилки из алюминиевого сплава «фантастической невесомости» и даже «маринованные свеколки», а на советских танках стояли двигатели, изобретенные когда-то немцем Дизелем.

Подчинение художественного произведения той или иной политической идее почти всегда пагубно, а если она к тому же ложна, да еще возвращена на ниве такого ужаса-

ющего искажения жизни, как в романе, то пагубно наверняка. На что, собственно, автор рассчитывал? Роман все-таки не о немцах, а о советских людях! Превратив воинов России в трусов, лишив их даже малой доли патриотизма, автор «потерял» читателя! Как переживать за героев, когда за них мало переживает сам автор.

Если судить о художественных достоинствах романа, исходя из представления о литературно-художественном творчестве, как образном, т.е. основанном на треугольнике «образ — ситуация — поступок», приходится констатировать, что роман «Генерал и его армия», в котором герои больше похожи на куклы, чем на живых людей, а события искажены либо по неосведомленности, либо намеренно, относится скорее не к художественному творчеству, а к «дурному сочинительству», при котором поступки не предопределены жизненностью образов и достоверностью событий, а каждый раз сопридумываются произвольно. Это порождает и «свои традиции и неписаную эстетику» (К. Чуковский). В образном творчестве герои даже могут совершать какие-то поступки вопреки воле автора. При дурном сочинительстве понятие о точности поступков исчезает, автор обретает абсолютную свободу. Особую цену приобретают способы шокового воздействия на читателя: сильные страсти, маловероятные (хотя и не вовсе невозможные!) события, псевдоконфликты и преувеличения.

Традиции жанра устойчивы и вот, спустя почти столетие, его признаки, которые числились за А. Вербицкой и Л. Чарской, появляются в «Генерале и его армии», хотя, конечно, какие-то оттенки и детали изменились. Г. Владимов, например, отличается страстью к сочинению судеб. Маленький эпизод с участием особы Зоечки — и сразу описание ее судьбы с мельчайшими подробностями. На мгновение появится танкист, а уже сообщено когда и отчего он погибнет.

А вот зато вполне в духе жанра байка о том, что «... генералов на дачные участки собираются записывать...» Это в сорок первом-то? За отсутствием чего-либо более содержательного, автор «набрасывается» на этот

сюжетик, который начинает жить какой-то своей жизнью, вплетаясь заметным элементом в ткань повествования. И уж вовсе в духе А. Вербицкой описание Г. Владимовым милых его сердцу людей. У героя А. Вербицкой Нелидова: «тонкое породистое лицо», «гордый профиль», «трепетные ноздри». Все это вселяет восторг и доверие: «Ты пошла бы за Нелидова? — О да, конечно». Почти также «резко выделяется своим лицом» генерал Власов: «Прекрасна, мужественно-аскетична была впалость щек, при угловатости сильного подбородка, поражали высокий лоб... Человеку с таким лицом можно было довериться безоглядно, ... от всей его фигуры исходило спокойствие и уверенность». Готовы немцы безоглядно следовать и за Гудерианом, у которого, напомним: «лицо еще младежского озорника, лукавое, но неизменно приветливое».

У дурного сочинительства своя лексика: «Бешенство, ярость, отчаяние, ужас, безумие, дрожь и исступление — это у Вербицкой всегда», — пишет К. Чуковский. И он же о Чарской: ... один и тот же «ужас» она аккуратно фабрикует десятки и сотни раз! У Г. Владимова вместо «ужаса» близкое — «страх». У одних от страха «холодок внизу живота», у других там же, но не «холодок», а «холод», у кого-то от страха «ноет под ложечкой». Будем справедливы — у Л. Чарской было иначе: «ужас заледенил все мое существо», «невольный ужас сковал», «холодеют руки»...

Не задолжал Г. Владимов и по части крайностей. Он, видимо, считал, что рассказ о ранении Кобрисова выиграет, если в живот генерала угодит не одна, а аж 8 пуль, да еще так ловко, что «жизненно важных точек» ни одна не заденет. Совсем как в «Ключах счастья» А. Вербицкой: «А леворверт у него — агромный и заряжен десятью пулями...» После ранения Кобрисов обмораживается, но чудо опять тут как тут — у Шестерикова, как не трудно догадаться, есть в вещмешке спасительный бальзам. Землянка у Кобрисова имеет покрытие в семь накатов, советские автомашины при отступлении мчатся аж на пятой скорости, ширина Днепра под Киевом 30 км.

Г. Владимов неточен в описании военного быта. Иногда это режет слух, иногда смешит. Смешно, когда шофер надевает шоры. Можно посмеяться, когда читаешь, что солдат «...вместо «слушаюсь» усвоил отвечать «с большим нашим пониманием» — неправдоподобно и неточно, поскольку в описываемые годы было принято не «слушаюсь», а «есть». Советскую мину ПТМ не следовало, конечно, называть немецкой; немцы применяли противотанковую мину Т-35.

Пугает дурной русский язык, каким у Г. Владимова он не был никогда. Несколько примеров: консервные банки в романе бывают «четвероугольными», их не «вскрывают», а «врезают», как арбузы, зато бутылки «вскрывают», а не «откупоривают». Странно звучат: «кабель емкостью в 6 проводов», «водка-сырец», «всплески пуль», «почет на грудь», «монтировать покрышки», «кабинка автомашины»...

Особое место отведено в романе генералу А. Власову и «власовцам». А. Власов отличился при разгроме немецких войск под Москвой в 41 году. Позднее на Волховском фронте в тяжелой ситуации попал в плен и стал командующим «Русской освободительной армией», воевавшей на стороне немцев. Делались попытки как-то оправдать измену А. Власова, показать, что он был в значительной мере подставной фигурой и в боях с советскими войсками не участвовал или почти не участвовал. Г. Владимов не ищет доводов такого рода, но действия власовцев в какой-то мере оправдывает, считая их измену «...жестом отчаяния людей, доведенных до предела» — надо понимать сталинским режимом. Не знаю, насколько прав Г. Владимов, но на нашем участке Западного фронта советским войскам противостояли именно власовцы и отличались они упорством и жестокостью.

Вот как сокрушается автор о власовцах, оставленных немцами прикрывать отход: «Умрите вы, падаль, а нам прикройте отход. И вы же в своей России остаетесь, чего же вам бояться — встречи с земляками?» Этот монолог от имени немцев дополняется авторским отступлением: «На родине ждет их неумолимая расправа — расправа над

теми, чья вина была, что им причинили непоправимое зло... и они этого зла не выдержали».

И дальше: «Это заставило их надеть вражеский мундир и поднять оружие против своих — к тому же и неповинных, потому, что истинные их обидчики не имели обыкновения ходить в штыковые атаки». (Подч. мною — М.Х.)

Не так ли и сам Г. Владимов, которому власти отплатили за мастерство писателя и высокую гражданственность преследованиями, решил «отомстить» своим романом, хотя не мог не понимать, что удар его придется не по врагам, которые тоже «в атаку ходить обыкновения не имели», а по советским воинам, по миллионам людей — живых и павших, защищавших свои очаги, своих близких, свою родину. Очень болезненный и очень неожиданный удар.



Ростислав ДУБИНСКИЙ

## ПРОЩАНИЕ

Я — профессиональный музыкант. В Советском Союзе вся моя жизнь была связана с квартетом имени Бородина. Но вот уже более четверти века я на Западе. О причинах моего разрыва с той, прошлой жизнью я когда-нибудь еще напишу — это отдельный и нелегкий разговор. Но сегодня я живу здесь, это, можно сказать, моя вторая жизнь, уходящая, впрочем, своими истоками туда, в страну, где столько прожито и которой так много отдано.

Мои американские друзья и коллеги часто заводят со мной разговор о моей жизни там, разговор о русской музыке, спрашивают, кто с моей точки зрения, самый великий композитор уходящего 20 века. И удивляются, встречая мой недоумевающий взгляд: зачем задавать вопрос, ответ на который заранее известен? Впрочем, когда я говорю о Дмитрие Шостаковиче, они чаще всего согласны со мной.

— Да, это большой композитор. Но послушайте, Ростислав, время идет вперед. Рождаются новые имена,

появляются новые гении. К тому же, если верить мемуаристам, Шостакович был человеком тяжелого нрава, иногда просто невыносимым в общении.

Что я могу на это ответить? Мои коллеги — люди другой эпохи, мало представляющие нашу прошлую жизнь. Думаю, что и Шостакович для них совсем не то, что для меня. Как им объяснить, что не так-то просто понять, как складывалась жизнь музыканта там, в стране рабов, в стране господ, и что значило в этой стране быть гениальным художником.

Вся моя жизнь связана с музыкой, но я не музыкальный критик, которым еще предстоит сказать свое слово о Дмитрие Шостаковиче. К тому же я и не литератор, и потому хотел бы в этих записках в меру своих способностей просто представить его как человека, остроумного, живого, очень нервного, не выносящего речей, которых от него вечно требовали, иногда косноязычного (особенно когда волновался), и при этом часто веселого, бесшабашного, любящего дружеское застолье, словом, рассказать о Шостаковиче, каким я его вспоминал в день прощания с ним и каким его вспоминаю сегодня — великого и несчастного гения, на долю которого выпала столь нелегкая участь. То, что Шостакович постоянно думал о смерти, мы уже чувствовали по его последним квартетам, первый из которых, Тринадцатый, появился в 1968 году. А на следующий год, перед первым исполнением его Четырнадцатой симфонии, он неожиданно для всех обратился к аудитории:

«Мне советовали, сказал он, сделать финал этой симфонии утешительным, как будто смерть — это только начало. Но это не начало, это конец, за которым нет ничего, абсолютно ничего».

И то, что Шостакович предчувствовал близкий свой конец, легко было прочесть даже на его лице. Болезнь словно исполнила его предчувствие. И неизбежное произошло 9 августа 1975 года, ровно 21 год назад.

*...В большом зале Московской консерватории мы, участники Квартета Бородина, дождавшись своей очереди*

*ди, становимся в почетный караул. Лицо Шостаковича — его заостренный нос, изогнутая линия его тонких губ, неестественно слипшиеся веки — производят неизгладимое впечатление и отпечатываются в памяти навсегда. Смерть... — это конец жизни. Жизнь ушла. Смерть осталась. Мудры, должно быть, нации, которые на похоронах не открывают крышку гроба! Они хотят помнить своих людей живыми.*

Пытаюсь вспомнить, когда наши дороги с ним пересеклись в первый раз? О, да! Еще в 1948 году, когда печальной памяти идеологический шторм пронесся над советской музыкой, и Шостакович, величайший композитор 20 века, был изгнан из музыкальной жизни страны. Ожидая ареста, он заперся в своей квартире и написал Четвертый струнный квартет, партитуру которого, завернутую в газету «Правда», нам тайно передала его жена. Мы работали над его квартетом с засурдиненными инструментами. Это была не только музыка: в ней была еще и подлинная история нашей жизни, рассказанная музыкальными звуками вместо слов.

*...Почетный караул сменяется каждые пять минут. Все больше и больше людей приходят попрощаться с Шостаковичем. Зал переполнен. Может быть, на самом верху второго амфитеатра еще есть свободные места. На несколько минут поднимаюсь туда. Оттуда сцена кажется совсем маленькой, гроб еще меньше, лицо умершего едва видимо. Очень тихо. Слышна только музыка Шостаковича. Его музыка никогда не умрет. В ней Шостакович будет жить вечно.*

Как он был оживлен в тот вечер, когда мы играли квартет Марутаева в старом Доме композиторов, на 3-ей Миусской. В зале человек на 150, стулья поставлены тесно. Когда сидят люди, между рядами не протиснуться. Сцена маленькая, к тому же наполовину занятая роялем. Мы долго устраиваемся, двигаем стулья, переставляем пульта. Очень душно... Квартет Марутаева имеет успех.

Вызывают автора на сцену, он кланяется и жмет нам руки. «Не уходите!» — шепотом произносит он.

Рядом, в ресторане, куда просторнее, чем в зале, там и потолок выше. Все уже привыкли, что обсуждение только что сыгранной музыки обычно переносится туда. По традиции на столиках появляется водка и закуска. Все здесь знакомо, официантов все знают в лицо и даже называют по именам. В особо торжественных случаях устроители отправляются прямо на кухню и договариваются с самим шефом.

В ресторане мы все сидим за большим столом. Поднимаем тосты за композитора. Композитор пьет за исполнителей, за квартет Бородина. Стоит неимоверный шум. Все говорят одновременно.

И вдруг, ко всеобщему удивлению, в ресторан заглядывает Шостакович. Надо было знать, что для всех нас значил Дмитрий Дмитриевич, чтобы представить наступившую за столом радость. Естественно, Шостаковича все зовут к себе, уступают ему место, наливают водки, придвигают закуски, и вдруг наступает тишина. Бунин, впрочем, как и все мы, боготворивший Шостаковича, предлагает тост за него. Многие встают и пьют стоя. Шостакович, не переваривавший подхалимажа и не слишком любивший подобные сцены, смущен, он нервно кусает губы.

Только вчера, в Ленинграде, с огромным успехом прошла премьера его 10-ой симфонии, и многие из присутствовавших ездили ее слушать. Все рвутся высказать свои чувства. Но, как часто бывает, первым слово берет грузный, уже хорошо навеселе, Тактакишвили — и то ли всерьез, то ли вполухотку, приложив руку к сердцу, через весь стол обращается Шостаковичу:

— Дмитрий Дмитриевич! Ты гениальную симфонию написал! А вот у меня ничего не получается. Научил бы меня, а?

Продолжая жевать, Шостакович отвечает, быстро произнося слова:

— Да, да, непременно, обязательно научу. Вот только дожую этот кусок холодной курицы и сразу научу.

Все еле сдерживаются, чтобы не рассмеяться вслух.

Сам Шостакович тоже улыбается. Он, кажется, в хорошем настроении. Ему наливают еще водки. Глаза его весело поблескивают из-за очков.

— Вы говорите «симфония». А я вот недавно в кино ходил свою музыку в «Молодой гвардии» послушать. Билетов, как всегда, нет. Стою на углу и, как все, спрашиваю: «Лишнего билетика не найдется?» Кто-то меня, кажется, узнал и послал меня в эту самую... Нет, не в эту самую, а к этой самой... К этому самому администратору.

(Таким Дмитрием Дмитриевичем видят редко. Все рады, что он в хорошем настроении, но смеяться вслух, перебивать его как-то неудобно, да и хотелось дослушать историю.)

— Подводят к окошечку, — продолжает Шостакович, — вот такое маленькое, как блюдце, и главное низкое. Сгибаюсь в одну сторону, в другую... Никак не пристроиться, очень уж низко. Низко. Унизительно, понимаете! Наконец, в окошке показалась чья-то голова.

«Вам чего?»

«Да вот мне бы, извините, билетик. В кино... один».

«А кто вы такой, чтобы я вам устраивал билет?»

«Я... композитор, понимаете... Вот музыку написал к этой картине... Шостакович я, извините...»

«Шостакович? Ну, и что? Что из того, что вы Шостакович? Вот я, например, Рабинович. Почему я, Рабинович, должен дать билет вам, Шостаковичу? Ну, почему? Вы знаете?»

«Нет, — сказал я. — Я не знаю».

«И я не знаю».

Он захлопнул окно, а я подумал: «И действительно, почему?»

Теперь уже все открыто смеются. Шостакович покусывает губы.

Марутаев бьет стеклянной пробкой по бокалу и просит тишины.

— Дмитрий Дмитриевич! Я так счастлив, что вы слушали мой квартет, и я хотел бы... знаете...

— Прекрасный квартет, — мгновенно соглашается Шостакович.

— Я хотел бы спросить. Какие-нибудь замечания...

— Никаких замечаний, превосходное сочинение.

— Пожалуйста, подробнее, Дмитрий Дмитриевич.

— Нет, нет, все просто великолепно написано, великолепно!

— Но я прошу вас, Дмитрий Дмитриевич!

— Ну, раз уж вы так просите... Первая часть у вас сонатное аллегро, а тема, понимаете, в аллегро не звучит. И аллегро к теме не подходит. Тема и аллегро — это, понимаете, вместе, а у вас, как бы это сказать, — ни темы, ни аллегро. Вторая часть скерцо карабкается вверх. Все время, понимаете, карабкается и только вверх! Все по верхам, по верхам. Третья часть — слишком медленная. — Шостакович оглянулся, — дам нет? Дам нет? Говно, понимаете! Ну и финал... С финалами, понимаете, вообще, трудно. Так называемая проблема финала. Вот здесь сидит Дмитрий Борисович Кабалевский, он недавно статью написал, где говорит, что финалы иногда удавались Людвигу ван Бетховену, понимаете... Но в целом ваше сочинение превосходное, просто, понимаете, великолепное.

Все громко смеются. Смеются и Марутаев, и Кабалевский. Только сам Шостакович нервно кусает губы.

*...Начинаются речи, они тщательнейше продуманы. Ораторы словно идут по минному полю. Не дай бог, сказать лишнее и затронуть какой-то опасный момент недавней истории страны. «Музыка Дмитрия Шостаковича, слышу я, отражает борьбу добра и зла, света и тьмы». Кто это говорит? Тихон Хренников?*

*Подобное ни к чему не обязывает. (Борьбу света и тьмы отражали и Бетховен и Моцарт!) «Музыка Шостаковича помогает советским людям в борьбе за мир!» Слова, слова! Побрякушки слов! Неужели было время, когда в подобной манере — возможно было говорить о Шостаковиче? И далее: «Мы, современники Шостаковича, гордимся, что его музыка родилась на советской земле». Пропаганда, конечно, но, вообще — да, гордимся... Я прислушиваюсь, жду, не может же быть, чтобы никто не осмелился заговорить человеческими словами, не попробовал сказать горькую правду о том, что в этой стране*

*произошло с Шостаковичем: «Дорогие товарищи! Все мы знаем, что есть люди, которые укоротили Дмитрию Дмитриевичу жизнь. Некоторые из них еще живы. Они не пришли сегодня попрощаться с мужественным композитором, который не побоялся сказать нам, что русская музыка и русская культура в опасности».*

Декады русской музыки в союзных республиках (кто не помнит их!) были логическим продолжением разгрома, учиненного музыке партией и правительством в 1948 году.

Непросто приходилось в те дни руководителям советской культуры — выдать музыкальную депрессию, наступившую после «ждановского постановления», за расцвет музыкальной культуры.

Меня уже не удивляли подобные «метаморфозы». В стране, где партия во все времена приходила народу на помощь, возможно и такое. Композиторы — они же советские люди! И многие из них с партийным билетом в кармане, и у всех дети, семьи!

Мы не удивлялись, что среди них нашлись такие, которые немедленно откликнулись на призыв партии создавать великие произведения, доступные народу (не какофония композиторов типа Шостаковича, а доступность прежде всего!) и отражающие его героический трудовой подвиг на пути строительства коммунистического общества.

С концертных эстрад хлынули на одурманенного слушателя потоки примитивной и пустой музыки, за которую правительство щедро раздавало сталинские премии. Мы играли сочинения, посвященные пионерам, комсомольцам, героям гражданской и отечественной войн, труженикам полей и заводов. Что интересно — исполнялись эти шедевры обычно по два раза — первый и последний. Но иногда в результате нажима на квартет, нам приходилось кое-что повторять.

Так, в нашем официальном концерте на декаде в Молдавии мы играли именно то, что нам «посоветовали товарищи из ЦК», то, во что мы не верили сами и что не

доставляло никакого удовольствия слушателям. Зато наградой за это был разрешенный к тому времени 4-ый квартет Шостаковича во втором отделении концерта.

На фоне исполнявшейся на фестивале беззубой и обескровленной музыки каждая нота Шостаковича разносилась по залу «гласом вопиющего в пустыне». Большой концертный зал, заполненный молдавской партийной элитой, как раз и был той самой «пустыней», по которой разносился глас вопиющего.

Правда, в первых рядах сидели композиторы из Москвы, и в середине — Шостакович. Он находился так близко от нас, что я мог бы со сцены дотянуться до него кончиком смычка. Играя ему, и, в сущности, только для него, мы изредка поглядывали в его сторону.

Расположившись впереди, он, наверное, думал, что его никто не видит, и на его лице непроизвольно отражалось то, что он хотел сказать своей музыкой. Мне хорошо запомнилось это выражение нескрываемого страдания: перекошенный тонкий рот и глаза загнанного людьми смертельно раненного животного. В памяти так и сохранилось это лицо как самое пронзительное впечатление от этой бессмысленной и скучной декады, как острый диссонанс казенной, наигранной лжи, которой власти пытались залатать свои преступления.

Дважды за свою жизнь Шостакович подвергался гражданской экзекуции — в 1936 и 1948 годах. В окна его дома летели камни, сопровождаемые выкриками: «Формалист!» «Предатель!» «Троцкист» и даже «Американский шпион!» Естественно, завершением этих идеологических кампаний, выливавшихся в истерики толпы, должна была стать физическая расправа, тень которой на протяжении всей жизни преследовала Шостаковича. Но каким-то чудом она не состоялась. Это ожидание насильственной смерти стало главной темой в музыке Шостаковича и, по-видимому, навсегда запечатлелась страданием на его лице.

Мы исполняли 4-ый квартет именно с этим подтекстом — ощущением жизни и смерти. Нам ничего не угрожало. Квартет Бородина был к исполнению разрешен, а ноты, в конце концов, — только невинные звуки, всякие там «фа-

дизеи» и «сибемоли» — ими еще Моцарт и Бетховен баловались! Ноты пока еще не слова, даже в СССР. Но мы играли Шостаковича Шостаковичу и поэтому ощущали себя не послушными, придворными музыкантами, а бесстрашными обличителями окружающего зла и лицемерия. Вот кем мы себя чувствовали. Впрочем, легко быть смелым, когда тебе ничто не грозит. Мы понимали, в чем отличие нашего положения от положения опального композитора. И поэтому хотелось играть ему, человеку большого мужества, особенно хорошо.

...Мы только что закончили квартет. Последнее пианиссимо, как последний вздох, улетел в зал и вернулся к нам еле слышным эхо. Мы изо всех сил старались, чтобы удержалась тишина — публика нам помешала. В зале раздавались жидкие и опасливые хлопки. Мы не спеша поднялись, низко, почти до земли, поклонились Шостаковичу и покинули эстраду. Аплодисменты так и не набрали силу.

Мы уже складывали инструменты, когда в артистической появился композитор Николай Пейко, чтобы поблагодарить нас за исполнение.

— Знаете, Дмитрий Дмитриевич очень взволнован вашей игрой!

— Он что-нибудь вам сказал?

— Нет, он ничего не сказал, он вообще говорить не мог.

Затем Пейко предложил всем вместе поужинать и Шостаковича пригласить тоже.

Мы колебались, удобно ли это? Согласится ли Шостакович?

— Вы плохо знаете характер Дмитрия Дмитриевича, — сказал Пейко. — Он вообще никому и ни в чем не отказывает. И многие этим успешно пользуются. Посмотрим, в каком он состоянии. Мне кажется, что ему будет приятно. После такого исполнения.

— Но публика... — продолжал я колебаться.

— О чем вы говорите, вы видели эти физиономии, хорошенькая публика, ценители!

Мы быстро переоделись и спустились в зал.

— Друзья нас опередили, — огорченно встретил нас

Пейко. — Шостаковича уже пригласило министерство, замминистра Холодилин. А что вы думаете сказал ему Дмитрий Дмитриевич? Что он согласится, если будет квартет Бородина, только в том случае!

Мы вошли в кабинет, Холодилин поприветствовал нас, а Шостакович немедленно встал навстречу и по очереди нервно пожал четыре наши руки. И, кажется, сказал каждому в отдельности: «Спасибо за то, что вы меня играете!»

Холодилин продолжал покровительственно смотреть на нас, сложил свои большие ладони, как бы аплодируя, и по-хозяйски пригласил садиться.

За столом оказалось еще несколько композиторов, Александров, Чайковский, кто-то еще, не помню.

Поднялся Пейко и предложил тост за квартет Бородина.

— За Бородина, обязательно за Бородина! — подхватил Шостакович, поднимая и расплескивая свою водку.

Холодилин явно не желая упускать бразды правления, тоже поднялся и сказал, что хотел бы кое-что добавить от имени министерства. Так вот, оно, министерство, уже давно и с удовольствием следит за ростом нашего квартета и благодарит нас за помощь, которую мы оказываем советской музыке. По всему столу прокатился гул и, словно по команде, стих: пили водку. Я попросил всех выждать паузу и, когда рюмки опустились на стол, сказал:

— А сейчас давайте построим инструменты вверх смычком.

Снова выпили, и Холодилин, желая поддержать светскую легкость встречи, продолжал:

— Теперь я понимаю, откуда у квартета такой ансамбль.

Оживился и Шостакович, стал рассказывать о том, как он ездил в Америку:

— В день отлета моя виза еще не была готова, но меня заверили, что пока я долечу до Рейкьявика, все будет в порядке. Я плохо перенес полет, и меня тошнило, когда ко мне подошли два американских журналиста. Оказалось, что они специально вылетели в Рейкьявик, чтобы первыми взять у меня интервью. Я уже хотел намекнуть им о, так сказать, несвоевременности этой затеи, как вдруг один из

них, здоровенный детина, хлопнул меня по спине и заорал: «Хелло, Шости!»

Он, между прочим, мне очень помог, потому что от его «Хелло, Шости!» я почувствовал себя еще хуже и срочно помчался в уборную, где, наконец, освободился от тошноты.

— Прекрасное начало, — заметил кто-то. — А что было дальше?

— Дальше, понимаете, ничего не было. И визы тоже. Так что через час я полетел обратно в Москву.

Когда наступила тишина, расположившийся слева от меня композитор Александров стал говорить, как ему понравилось наше исполнение. «Я ведь уже слышал 4-ый квартет раньше, но сегодня, признаться услышал его впервые». Потом сказал, что у него тоже написан квартет, который давно ждет своих исполнителей.

Меня увлекали такие разговоры. Новая музыка, новая игра. Партитуры у меня были с собой, и я предложил Александрову после ужина зайти к нему.

Пир, между тем, шел горой, поднимались все новые тосты.

Я предвижу, что кто-то из читателей удивится такому образу жизни, пили почти после каждого концерта, не жизнь, а сплошной праздник. Да, мы так жили, но в оценке этой и правда и неправда одновременно. Мы, действительно, много пили, но как далеко это было от праздника! Мы пили от тягот, что на нас вечно давили — никогда ведь не знали, чем кончится тот или иной концерт, не окажется ли вдруг, что мы что-то плохо отражаем и кому-то на мельницу льем совсем не ту воду. Мы пили, чтобы хоть как-то расслабиться, на вечер-другой забыться. И Дмитрий Дмитриевич от этого тоже пил. Иногда много пил, чтобы уйти от действительности.

На этих пирушках никто не говорил лозунгов, говорили по душам, от сердца к сердцу. Такой, помнится, разговор завязался и у нас с Александровым, когда он предложил нам свой новый квартет. Да только в тот раз вся наша встреча была испорчена. Так уж устроена жизнь — что поднять настроение, вознестись к небу — непросто, а вот

чтобы испортить вам жизнь, унижить вас, бывает, достаточно секунды.

Помню, как в разгар вечера за дверью вдруг возник шум, дверь распахнулась, и мы увидели этакого сильно пьяного молодца в матросской тельняшке.

— Это еще что за личность? — направился Пейко к дверям. Появившиеся официанты оттащили «моряка» назад и прикрыли дверь. Пейко подошел ко мне и улыбнулся.

— Ростислав, у вас пустая рюмка. Непорядок! Сейчас мы вам нальем...

Я попросил налить мне знаменитой «Фетяски».

— Отличное вино! — гордость Молдавии, у вас в Москве такого нет. Говорят, оно не выдерживает транспортировки. Портится.

— Выдерживает! — возражаю я. — До Москвы выдерживает, а вот до магазинов не доходит. Его шлют прямо туда, куда следует!

— Господи! — смеется Пейко, — никак не привыкну к самым простым объяснениям.

Он познакомил меня с Борисом Чайковским, который недавно закончил свой 2-й квартет.

Потом, как всегда, решили выпить за Шостаковича — мы чокнулись: три стакана образовали в воздухе треугольник.

— Я часто думаю, — патетично сказал Чайковский, — что это счастье жить в одно время с Шостаковичем.

— У нас сейчас на очереди его 5-ый квартет, — сказал я.

— А второй уже сыграли?

— Еще нет, ждем подходящей публики. Особенно для второй части.

— О, речитатив?

— По-моему это плач Израиля — вот что такое вторая часть.

Снова стали договариваться послушать квартет Александрова и, ничего не подозревая, допили вино.

Распахнулась дверь, и появился все тот же громила в тельняшке. Он подошел к столу, обвел пьяными глазами присутствующих, как бы выбирая, к кому обратиться и остановился на Дмитрие Дмитриевиче.

— Такие люди! — заговорил он нараспев с украинским акцентом. — Русские люди, позвольте мне немного посидеть с вами за одним столом.

В комнату с опаской заглянули официанты, готовые в любую минуту его вышвырнуть.

— Конечно, конечно! — засуетился Шостакович (он впрямь был не в силах кому-то хоть в чем-то отказать, даже вот этому приبلудшему пьянице!). — Посидите с нами за одним, так сказать, столом.

«Гостю» придвинули стул, налили полный стакан вина.

— Спасибо, что не побрезговали простым русским человеком. Пью за русских людей! — он победоносно оглядел сидящих за столом. И, уверенный, что произвел впечатление, теперь уже сам потянулся за бутылкой. Бросил взгляд на меня, и коверкая на еврейский лад русский язык, сказал:

— Абрам Моисеевич! Скажи-ка нам, простым русским людям, ты на каком фронте воевал? На ташкентском? А почем покупал свои медали и за сколько продал, а?

— Какая гадость! — содрогнулся Шостакович. Руки его судорожно потянулись к бутылке «Столичной». Неловко ухватив ее за горлышко и наливая в рюмку дрожащей рукой, он пролил водку на скатерть: нужно было видеть в эту минуту его искаженное страданием лицо.

За столом воцарилась тяжелая тишина, казалось, присутствующие оцепенели от происходящего.

Первым пришел в себя Пейко. Приблизившись вплотную к «моряку», рядом с которым он, маленький, нахохлившийся, казался подростком, он, глядя ему в лицо, отчетливо сказал:

— А ты, оказывается, сволочь!

От неожиданности «моряк» даже качнулся.

— Что вы сказали?

— Сволочь, — твердо повторил Пейко, — тебя усадили за стол как человека, а ты? Вон отсюда!

На крик в кабинет ворвались официанты и выволокли хулигана из кабинета.

Я осторожно огляделся по сторонам. Я был единственным в этой компании евреем. Но в какую-то минуту я

почувствовал, можно сказать, физически почувствовал, что рядом со мной настоящие интеллигенты (были такие в России и сегодня есть!), которые при всяком проявлении антисемитизма чувствуют себя смертельно обиженными — и за русскую нацию и за русскую культуру.

За столом было тихо, люди старались не смотреть друг на друга. И вдруг я почувствовал, что есть средство, чтобы спасти этот вечер. В тот момент мне казалось, что это единственное средство — принести в кабинет инструменты и еще раз сыграть квартет Шостаковича.

А что по этому поводу думал сам Дмитрий Дмитриевич?

В лице Шостаковича проснулось что-то ребячливое, он улыбнулся и сказал:

— Ну... что же... давайте меня еще раз, так сказать, сыграем!

— Но я не могу играть, — взбунтовался вдруг наш виолончелист Виктор Берлинский. — Я пьян!

— Это не важно, — ответил Шостакович, — это совсем неважно, это, понимаете, даже к лучшему.

— Я тоже пьян, — сказал альтист Дима Шебалин, — но я — спортсмен и, пожалуй, попробую.

Мы медленно поднимались по лестнице на четвертый этаж, еще медленнее спускались вниз, с инструментами и пультами в руках. В углу кабинета уже стояли для нас четыре стула. Я раскрыл футляр, достал скрипку, проверил строй. И неожиданно ощутил легкость и свободу в руках. Неужели стаканчик-другой вина могли оказать это волшебное воздействие и снять все напряжение перед выступлением?

— Дмитрий Дмитриевич, — обратился я к Шостаковичу, — извините, если что будет не так.

— Все будет «так», не волнуйтесь, все будет «так»! — ответил скороговоркой Шостакович.

И мы начали играть. В первой части были трудности. Кто-то из нас все время запаздывал и руководить квартетом оказалось невозможно. Сейчас квартетом руководил тот, кто играл медленнее всех. Во 2-ой части дело пошло лучше. В музыке установилось своеобразное пьяно-ритмическое равновесие, отклоняться от которого было опас-

но. Мы довольно благополучно доиграли до середины части, когда снова появилась щемящая мелодия и несколько голосов стали нам подпевать — под музыку Шостаковича! Нам подпели еще раз в скерцо, которое мы играли в характере уличной хулиганской песни. Вместе с нестройными голосами получался совершенно необычный музыкальный эффект, который невозможно было вписать в квартетную партитуру. Очевидно, это понравилось Шостаковичу, поэтому он вдруг тоже начал петь...

Это было неожиданно и страшновато. Никогда ни до, ни после этого я не слышал, чтобы Шостакович пел. Я даже думаю, что поющим Шостаковича, вообще, мало кто видел.

Тем временем квартет почти освоился с опьянением, и «еврейский» финал мы уже играли уверенно. После инцидента с «моряком» он зазвучал новыми, какими-то печальными и плохо объяснимыми «нотками». За столом больше не пели. И даже не шевелились, когда две скрипки и альт удачно вместе сыграли последние аккорды пиццикато, а виолончель еще долго, до полного исчезновения звука тянула свое верхнее «ре». Не было ни аплодисментов, ни похвал. Стояла долгая, такая необходимая после этой музыки тишина.

Я складывал скрипку в футляр и украдкой взглянул на нашего заместителя министра. У него был какой-то испуганный, застывший взгляд и покрытый испариной лоб. И ему, и всем нам было, как никогда, ясно, почему эта музыка была запрещена и не очень понятно, почему ее вдруг разрешили. Чрезвычайно чувствительная к своим «делам» и «делишкам» советская власть не могла позволить себе роскошь дать хоть малейший повод к сомнению в ее правоте.

Холодили решительно поднялся со стула.

— Дмитрий Дмитриевич, — обернулся он к Шостаковичу, — уже поздно, а завтра рано утром у нас вторая встреча. Я думаю, нам пора на покой.

— Да, да, уже поздно и пора. Пора! — засуетился Шостакович и тоже встал. — Спасибо всем и спасибо, понимаете, квартету! Нам уже пора... всем пора... на

покой, понимаете. Уже, видите ли, поздно, а завтра рано утром опять... опять, понимаете, спасибо квартету...

Холодили пошел к двери, Шостакович поспешил за ним.

*Звучит ларго из 5-ой симфонии Шостаковича. Эту симфонию, написанную в 1937 году, год спустя после катастрофического разгрома, учиненного Сталиным опере «Леди Макбет из Мценского уезда», советский официоз ожидал с нетерпением. Необходимо было объявить на весь мир, что в ней Шостакович признает критику правительства правильной и благодарит партию за дружескую помощь. Шостакович был реабилитирован. Газеты ликовали. Они прославляли симфонию, особенно ее финал, о котором Шостакович вскоре скажет: «Только полный идиот может услышать в финале 5-ой симфонии ликование и победный апофеоз».*

Шостакович написал свой Восьмой квартет в разрушенном до основания Дрездене, в 1960 году. В союзе композиторов срочно переписывались две партитуры — одна, как всегда, для «Бетховенцев», первое исполнение ими уже было объявлено на камерной секции. О второй партитуре Шостакович сказал своему секретарю: «Отдайте ее этим молодым, понимаете, пусть играют, пусть играют!»

Мы сами расписали партии за четыре ночи, каждый свою. Помню, я еще несколько дней просидел над партитурой. Нет, я не просто «работал» над ней. Работая, я про себя молился, я понимал, что в этих нотах была сама жизнь композитора.

DMITRI SHOSTAKOVICH  
Op. 110

I

Largo *And.*

( D. S. C. H. ОСТАКОВИЧ )

Когда на прослушивании в Союзе композиторов председательствующий начал было говорить о советском народе, партии и правительстве, Шостакович с места крикнул: «Нет, нет, это я ... я сам, так сказать, лично протестую против всякого, понимаете, фашизма!»

Воцарилась тишина. Никто больше не произносил ре-

чей. «Бетховенцы»\* сыграли квартет и по традиции повторили его. Все сидели потрясенные.

Уже работая над партитурой, я позвонил секретарю Шостаковича Левону Атовмяну, чтобы поблагодарить композитора за ноты, как вдруг Шостакович сам взял трубку и обычной своей скороговоркой проговорил: «Здравствуйте, добрый день, как вы поживаете? Приезжайте и сыграйте мне «Восьмой квартет»... Поскорее... Завтра в восемь тридцать... да, в восемь тридцать утра, большое спасибо!» и тут же повесил трубку.

Мы молча смотрели друг на друга. До восьми тридцати утра почти не оставалось времени.

— Ничего не попишешь! — с деланной уверенностью сказал я. — Надо объявить осадное положение и работать. А что еще делать? Все оставшееся время, весь день и, если надо ночь...

Мы приехали к Шостаковичу в полном составе на следующее утро, после бессонной ночи. Он уже нас ждал и сам открыл дверь.

— Здравствуйте, доброе утро, спасибо, что приехали, — проговорил он на одном дыхании и всем нам очень нервно, как умел только он, Шостакович, пожал руки.

В комнате нас уже ждали четыре пульта. Шостакович сел в кресло и стал нетерпеливо листать партитуру. Мы быстро раскрыли инструменты, сели и, словно боясь потерять ритм, сейчас же начали играть.

Пятичастный «Восьмой квартет», опус 110, звучит без перерыва. Медленное фугато на его теме «Дэ-Эс-Цэ-Ха», неистовое скерцо с еврейской мелодией из его же трио, опус 67, нервный вальс, реквием по погибшим и снова первоначальное скорбное фугато кон сордино с его инициалами. Шостакович смотрел в партитуру, потом отложил ее в сторону, голова опустилась...

Что должен был чувствовать Дмитрий Дмитриевич в эти минуты, мы могли только догадываться. Сказав вначале квартета: «Дэ-Эс-Цэ-Ха — это я!», — иногда возвращаясь к своим старым образам, которые он пронес через всю жизнь и от которых не мог избавиться, он сидел перед

\* Квартет имени Бетховена.

нами, истерзанный собственной музыкой, слушал свой рассказ о самом себе, свою музыкальную исповедь, печальный крик души. Я не люблю красивых слов, но в те минуты мне казалось, что каждая нота плачет от боли. Мы старались не смотреть на него. Впереди была еще 4-ая часть. Реквием, передающий не то звуки падающих сверху бомб и их разрывов на земле, не то биение сердец, рвущихся сердец, и затем старинная русская песня «Замучен тяжелой неволей» и наконец, кульминация... Она попала в квартет из оперы «Леди Макбет», разрешенной спустя 30 лет под названием «Катерина Измайлова». В последней картине, когда заключенных перевозят через реку, Сергей, ради которого Катерина пожертвовала всем на свете, изменяет ей с Сонеткой. Своеобразие момента в том, что весь зрительный зал, оркестр, все действующие лица на сцене видят это, даже жандарм плюет в сторону Сонетки и только Катерина ничего не знает и счастлива встречей с любимым. Наглая Сонетка приближается к Катерине. Постепенно до сознания Катерины доходит непоправимость случившегося. Она бросается в ледяную воду, увлекая за собой и Сонетку. Щемящая мелодия Катерины звучит в квартете по-другому: здесь это одиночество самого композитора, его предчувствие собственной гибели.

Мы закончили исполнение квартета, украдкой я бросил взгляд на Шостаковича. Голова его была низко опущена. Лицо он закрыл руками. Мы ждали. Он не шевелился. Мы встали, неслышно сложили инструменты и, крадучись, вышли из комнаты.

*...После музыки Шостаковича просто нет сил слушать речи. Да и что можно было сказать словами. Каждый понимал, что со смертью Шостаковича закончилась эпоха. Люди называли Шостаковича Пименом, потому что его сочинения были летописью страны, правдой о советском режиме, который уродует человека, так же, как ржавчина разъедает железо. Шостакович... Пимен... «Труд, завещанный от Бога!..» И вдруг до меня доносится надгробная речь очередного оратора: «Шостакович был*

*верным сыном нашей родной коммунистической партии...» Не удержались все-таки, упомянули!*

Вспоминая это прощание и официальных ораторов, я невольно думаю, сколько воды утекло с тех пор — теперь то уже совсем другая эпоха и другая Россия.

За окном вечер, я сижу в своем доме в Блумингтоне, на американском среднем западе и готовлюсь к завтрашнему концерту в Индианском университете. Уже столько лет вокруг меня свободный мир и свободные люди, не знающие, что значит жить под удушающим тоталитарным прессом, когда нет ни уважения, ни жалости к человеку и когда его талант и мысль ровным счетом ничего не стоят.

В Индиане, на Среднем Западе вся моя жизнь протекает среди американцев. Мои друзья и коллеги в большинстве своем музыканты. Чаще всего это очень веселые, симпатичные люди, знающие толк в жизни, родившиеся в свободном мире. Вслед за газетами они часто повторяют слова, осуждающие коммунистический режим, контроль за мыслью людей, отсутствие свободы. Но как по-детски наивны они, когда пытаются понять, что это такое, какая за всем этим стояла жизнь.

Впервые я убедился в этом, когда в Голландии мне приходилось излагать мотивы моего решения. Человек, имевший в своей стране положение, деньги, престиж известного музыканта, бросает все, чтобы начать жизнь сначала, в свободном мире. Вот и сейчас, когда я пишу эти заметки, мне не так-то просто даже мыслью возвращаться в прошлое, в ту самую жизнь, где все за тебя решалось партией. Вряд ли кто-то из окружающих меня американцев может понять, сколько лицемерия и ханжества связано с партийной принадлежностью человека.

Когда-то в 20-е годы коммунисты были романтиками, мечтавшими построить на земле счастливую жизнь. Романтический пыл первых лет революции оказался призраком. Родилось поколение приспособленцев. Не оттого, что эти люди были такими от природы. Их сделал такими режим. Так что не приходится удивляться, что многие из

лучших советских музыкантов вступали в партию, видя в этом единственный путь войти в доверие к власти предрешающим. Без этого невозможны были ни поездки за границу, ни преподавание в консерватории. Ведущих музыкантов иногда «приглашали» вступить в партию. Вот так просто вызывали в райком или к секретарю партийной организации и очень вежливо рекомендовали. Отказаться было невозможно. Отказаться было равносильно самоубийству.

Выше я описывал наши дружеские попойки. Пили от того, что хотели забыться. Были среди нас такие, которые просто-напросто спивались. Спасибо за это они также должны сказать родной партии.

Помню, как однажды я разговорился на эту тему с моим школьным товарищем, блистательным скрипачом с многообещающей карьерой в будущем, который только что вступил в партию. Я спросил его зачем он это сделал, и он честно ответил, что ему «посоветовали» так поступить. Разговор был откровенный, и я поинтересовался, каково же было его собственное мнение. В ответ он только улыбнулся и развел руками: «Видишь ли, Ростислав, у меня, конечно, было собственное мнение, только теперь я с ним не согласен!» Вот и все. Простенько и ясно!

Я, правда, знал одного честного коммуниста, с которым можно было откровенно говорить обо всем на свете. Для этого только нужна была соответствующая обстановка и бутылка водки. Кончилось это плохо. Однажды он исчез. А много лет спустя в одном из сибирских городов он зашел к нам в артистическую после концерта. Он сильно изменился, говорил мало, скрывал недостающие зубы. Прикрывая рот рукой, он поблагодарил нас за то, что смог, наконец, услышать 3-ий квартет Шостаковича.

— Вы еще ни разу не слышали этот квартет? — спросил я. — Это же преступление!

— О, нет, — ответил он. — Это наказание.

Мы пригласили его поужинать, он отказался.

— Ну, а по стаканчику, как когда-то?

Он снова отказался и сказал, что теперь он пьет только чокаясь с собственным отражением в зеркале. О том, что

многие пьют за компанию с зеркалом, я слышал не раз. Зеркалу, в отличие от людей, можно было спокойно довериться.

Уже будучи на Западе, я не раз слышал вопрос: «Ну а как же Шостакович? Он, которого терзала советская власть, зачем он в свои преклонные годы вступил в партию?»

Одним словом на этот вопрос не ответишь. Действительно, Шостакович решился на этот шаг, когда ему было уже около шестидесяти. Мы-то все знали, как однажды в кругу друзей он сказал:

«Как подумаю, что для того, чтобы прокормить семью, мне нужно на один только завтрак 26 яиц, — так готов я сделать все, что угодно».

Я хорошо помню день его вступления в партию и сам был свидетелем этого вступления. Зал Дома композиторов был переполнен, так что яблоку негде было упасть. Люди стояли в проходах и вдоль стен. В президиуме восседал композиторский официоз во главе с Тихоном Хренниковым и рядом специально приглашенные секретари горкома и обкома.

Начались речи. Тщательно обходя 1936 и 1948 годы, выступающие говорили о роли Шостаковича в развитии советской музыки, о его сочинениях, звучащих во всем мире, о том, что музыка Шостаковича помогла советскому народу одержать победу в войне с фашизмом и в борьбе за мир после войны. Подробно перечислялись его награды, титулы и прочая и прочая. Длилось это очень долго, пока не наступил момент, ради которого, собственно, и пришли на это собрание. Председательствующий объявил, что слово предоставляется Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. Зал ответил громом аплодисментов и стих. Шостакович тяжело поднялся со стула. Он нервничал и беспрерывно поправлял очки. Руки его все время двигались. Голос, когда он начал говорить, прерывался. Он запинаясь и повторял одни и те же слова по несколько раз. Зал терпел и понимающе ждал. Наконец, он перешел к заключительной части речи, в которой сказал, что всеми своими заслугами перед советской музыкой, советским народом, советским государством, всем тем, за что его

так восторженно благодарили все выступающие товарищи, он обязан... он обязан... На этом слове он снова запнулся и никак не мог двинуться дальше. По всем советским канонам он должен был поблагодарить Коммунистическую партию, членом которой он собирался стать, за беспрестанную помощь и заботу.

«... всем тем, что достиг, я обязан... все, что я сделал... я обязан... мои заслуги... вся моя жизнь... служение так сказать людям и искусству, всем этим я обязан... обязан...» Он опять надолго запнулся, потом вдруг быстро выговорил: «...Обязан, понимаете... своим родителям!» И сейчас же сел на свой стул.

В зале стояла мертвая тишина, которая явно затягивалась. Наконец, поднялся Хренников и объявил перерыв. Не помню, как и чем закончилось собрание, говорил ли кто-нибудь о том, что Шостаковича все-таки в партию приняли. Да и так ли это было важно?

*Кончились речи. «Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул...» Звучит только музыка. Сменяется почетный караул. Последние минуты прощания. Август 1975 года... А в октябре прошлого года в этом же зале хоронили Давида Федоровича Ойстраха, и Шостакович, тяжело опираясь на палочку, стоял в почетном карауле. «Редееет облаков летучая гряда\*». Что это, заслуга памяти, которая словно бы навечно сохранила в сознании их рядом — великого композитора и великого музыканта? Или были они соединены самой жизнью, самой эпохой, через которую в страданиях прошли вместе?*

Чем запомнился Ойстрах? Очень многим! Но и о нем я буду писать как о человеке, только живые его, человеческие черты. Я даже помню день, когда он особенно глубоко врезался в память. Возможно, не только мне, а и многим в те дни, когда по Москве разнесся слух: «Вы слышали, Ойстрах не подписал!» Об этом передавалось из уст в уста, со смешанным чувством удивления и восхищения. А подписали-то все! Я имею в виду все до одного еврей, которым предлагалось подписать. Все ведущие еврейс-

кие деятели культуры. Кого-то видели выступающим по телевизору, кого-то слышали по радио, кому-то с удовольствием представляли газеты. Это был ответ израильскому правительству на его призыв к советским евреям воссоединиться со своим народом, на его исторической родине, в Израиле.

Может быть, и не дословно, но мы все помним, что говорилось в этом подписанном самыми известными евреями ответе: «Советский Союз — единственная страна в мире, в конституции которой антисемитизм осужден, как преступление, вместе с другими свободными народами страны, евреи преданы своей родине и строят общество, основанное на равенстве и братстве между нациями... Все евреи СССР гневно осуждают этот выпад израильского правительства, как разжигание национальной розни и вмешательство во внутренние дела Советского Союза».

Для нового поколения России, теперь уже демократической России, все эти фразы звучат как анахронизм, но в те годы не подписать такое письмо члену партии было невозможно. Было это подобно смерти, если не физической, то уж во всяком случае смерти политической. А Давид Федорович Ойстрах не подписал. Не подписал и все.

Я хорошо помню, как по первой программе телевидения демонстрировали встречу известных еврейских артистов, во время которой они, перебивая друг друга, спешили заверить зрителей в том, как им хорошо в СССР и поэтому они ни в какой Израиль уезжать не намерены.

А что же дальше было? Дальше было, как всегда. Кампания началась и закончилась. О ней пошумели и успокоились. Казалось, что успокоились. Не все успокоились и не все забыли. И вот однажды утром к дому номер 15, по улице Чкалова, возле Курского вокзала, подъехал грузовик и произошла немая сцена из довольно странного детектива. Двое неизвестных в рабочей униформе выпрыгнули из кузова и вошли в подъезд. Очень скоро они вернулись, вынося чемоданы и узлы. У машины стали собираться зеваки. Из подъезда вышла дежурная и начала

выяснять у шофера, кто переезжает. «Ойстрах какой-то!» — последовал ответ.

— В другую квартиру что ли?

Шофер оказался разговорчивым.

— Да кто его знает, наше дело маленькое! Сказали перевезти, мы и перевозим. Наверное, на дачу, за город. Лето вон скоро.

— А мне почему-то не сказали.

— Сам-то где? — в свою очередь приступил к расспросам шофер.

— В поездке, вроде завтра возвращается.

— Ну и нам так сказали, что завтра.

Между тем, двое в униформе снова показались в парадном, сгибаясь под тяжестью громадного ящика. Кто-то из толпы вызвался помочь, потом еще один, и с трудом затолкали ящик в кузов. Взобравшиеся туда же люди в униформе стукнули в кабину шоферу. Машина тронулась и выехала со двора. Толпа любопытных разошлась. И инцидент был бы исчерпан, если бы на другое утро к тому же подъезду не подъехало такси и из него не вышел Давид Федорович Ойстрах со скрипкой в руках, и за ним, как всегда, его жена, Тамара Ивановна. И навстречу из подъезда не выбежала бы все та же дежурная и не стала бы перед Ойстрахом расшаркиваться.

— С приездом, Давид Федорович! Как здоровьице? А вчера все было, как вы велели. Приехали на грузовике и взяли на дачу вещи.

— Послушайте, милая, какие вещи? Кто приезжал? Да мы в этом году не собирались ни на какую дачу! Тамарочка, ты что-нибудь понимаешь?

Вечером того же дня по «Голосу Америки» передали об ограблении квартиры знаменитого скрипача Давида Ойстраха.

В газетах не было ни слова, газеты, словно набрав в рот воды, молчали — обычная советская мистерия: не было никакого грузовика, ничего не увозили, хотя был украден весь архив Ойстраха, — как раз тот самый тяжеленный ящик, который вчетвером еле затолкали в кузов — вся творческая жизнь артиста в афишах, программах, фото-

графиях, письмах. Были изъяты все награды — и советские и иностранные. Пластинки, магнитофонные пленки, книги по искусству. Исчез подаренный Ойстраху символический ключ от Иерусалима, письмо Эйнштейна, фильм «Огни большого города» — подарок Чарли Чаплина. Было взято все, что представляло большую ценность для Ойстраха, и лишено всякого смысла для грабителей. Вот какой изощренной оказалась эта месть!

Ойстрах держался стоически: он не отменил ни одного концерта, его появление на сцене встречалось публикой с удвоенным восторгом. В малом зале он повторил концерт Шопена для скрипки, фортепьяно и струнного квартета.

Перед концертом мы пришли к нему домой, на репетицию. Все выглядело точно так же, как раньше, только стены, еще недавно увешанные фотографиями, оказались пусты. Игра Ойстраха была неповторима. Казалось, все, о чем он хотел рассказать, и не мог, вернее не имел права, звуками выливалось из-под его смычка. Так же как Шостакович своей музыкой рассказывал он о собственной жизни.

Но вот репетиция кончилась, Оборин и мои коллеги по квартету, распрощавшись с хозяином, ушли, а я, как всегда, долго еще вытирал скрипку. Мне необходимо было поговорить с Ойстрахом.

— Послушайте, Ростислав, а не попить ли нам чайку? — вдруг последовало предложение. — Одну минутку, я скажу Тамаре. А вы пока располагайтесь.

И вот мы сидим втроем, и Тамара Ивановна, жена Ойстраха разливает всем чай.

О ней рассказывали, что, когда еще молодыми людьми они приехали в Москву, она по ночам пекла пирожки, а утром продавала их на рынке, чтобы тогда никому еще не известный Ойстрах мог спокойно заниматься на скрипке. Занимался он сам. Его учителями были его безошибочно тонкий музыкальный вкус и замечательная природная «скрипичность». Но к этому обычно добавляли, что скрипачом его сделала жена Тамара. О ее любви и привязанности к нему ходили легенды. Сам он даже подшучивал

над этим и иногда искусственно кашлял: она пугалась, бледнела и с тревогой начинала расспрашивать, как он себя чувствует.

Сейчас ему было не до шуток. Он знал, что очень хорошо играл на репетиции, может быть, даже слишком выразительно, и был этим немного смущен. Впрочем, последнее не составляло труда понять. Слишком многое им было за последнее время пережито. Все это: и его тихое мужество после странного ограбления, о котором в его присутствии даже не упоминали, боясь, что мотивы были политическими, и охватившее его чувство одиночества, и необходимость молчания любой ценой, потому что каждое его слово сейчас могло быть во вред — неудивительно, что весь этот бурливший в нем поток эмоций вылился в игре на скрипке.

Я извинился за то, что не ушел вместе со всеми. Ойстрах стал меня успокаивать.

— Видите ли, Давид Федорович, я хотел вам звонить, но не решился об этом говорить по телефону.

— О чем, об этом? — непонимающе смотрел на меня Ойстрах.

— Ну, об этом происшествии, о вашем ограблении.

Ойстрах засуетился:

— Тамарочка, выключи, пожалуйста, телефон. Понимаете, — повернулся он ко мне, — могут звонить студенты, а я не хочу, чтобы нам мешали.

Тамара Ивановна разъединила телефонный шнур, мы тотчас почувствовали себя свободнее.

— Так что вы говорите?

— Это ваше ограбление... По-моему, это не ограбление, а скорее предупреждение.

— Предупреждение? О чем?

— И наказание.

— Господи, за что?

— За вашу честность, — сказал я как можно проще.

— Не понимаю, о чем вы, — последовал ответ.

— Я, конечно, не могу быть абсолютно уверенным, но вы отказались подписать письмо.

— Я не отказывался. Но посудите сами: под письмом

стояли подписи только еврейских музыкантов. Получается какая-то еврейская община, вроде государства в государстве. Я им так и сказал: подпишу, если будут подписи музыкантов моего уровня независимо от национальности, например, Шостаковича, Хренникова, Хачатуряна. Считаю, что я был прав. Во всяком случае, больше они ко мне не обращались.

— А мне кажется, обратились, когда выкрали ваш архив и письма, чтобы вас проверить.

— Меня еще проверять? Да, помилуйте! Вот Тамара свидетель, я работаю, как вол, без отпусков и выходных дней. Поездки, концерты, студенты! Я иногда вынужден заниматься по ночам.

— У него даже стало побаливать сердце, — вставила Тамара Ивановна. — Я ему все время говорю, что он слишком много работает.

— Поймите, у этих людей нет ничего святого, — не мог я остановиться. — У них нет души. Это полицейские, которые... — я задохнулся, — извините меня, я не могу об этом говорить спокойно.

— И вы думаете... — сказал Ойстрах, глядя мне в глаза.

— Я не думаю, я знаю, что они взяли это у Гитлера: «Деятели культуры надо время от времени грозить пальцем!» Они выбрали вас, чтобы никому не повадно было.

— Но почему именно меня?

— Потому что вы Ойстрах, вот почему!

Он удивленно взглянул на меня, точно я посвятил его в какую-то неведомую ему тайну, вздохнул и прижал левую руку к сердцу.

Тамара Ивановна окинула его испуганным взглядом. Он грустно ей улыбнулся. Мы молча допили чай. Я поблагодарил за чай и стал прощаться. Ойстрах проводил меня до дверей, и недели через две позвонил снова.

— Мне вернули, — сказал он без всяких оценок. Я ахнул: «Все?»

— Абсолютно.

— Я так счастлив за вас! И за всех нас...

Следующий его звонок я тоже запомнил. Это было утром первого января. Его голос я узнал сразу.

— С Новым годом, Давид Федорович.

— Спасибо, и вас с Новым годом. Понимаете, сейчас сел за телефон, хотел поздравить моих друзей с Новым годом и насчитал, помимо родных, только пять человек, кому мне бы хотелось позвонить.

Я поблагодарил, что он позвонил мне и спросил, как его здоровье.

— Так, знаете, вроде ничего, вот только сердце иногда...

— Послушайтесь доброго совета, Давид Федорович.

— Знаю, знаю, вы большой поклонник йогов!

— Я совсем не шучу, единственное, что вам нужно, — это правильное дыхание, я мог бы приехать к вам хоть сейчас и все показать.

Он поблагодарил меня и сказал, что, к сожалению, он сегодня вместе с Тамарой уезжает в большую поездку, но когда вернется, мы обязательно повидаемся. И мы действительно с ним увиделись, но при печальных обстоятельствах, о которых и пойдет мой дальнейший рассказ.

В Лондоне всех советских артистов поселяли только в отель Принца Уэльса. Ходили слухи, что у советского посольства были там среди персонала свои люди. Первое, что мы услышали, когда приземлились в Хитроу аэропорту, было: «Ойстрах!» Сильный сердечный приступ. Он отменил концерт и лежит в постели. Тамара Ивановна не отходит ни на шаг. В гостинице нас ждало письмо: «Дорогие друзья, мне немного не повезло. Навестите меня, я буду очень рад. Ваш Д. Ойстрах».

У нас был дневной концерт в Церкви святого Джона Смита, практически прямо с самолета, а после концерта, не заходя в номер, с инструментами в руках поднялись мы к Ойстраху. Сильно побледневший, он лежал в постели, Тамара Ивановна сидела рядом, на стуле. Столик возле кровати был уставлен лекарствами. Ойстрах улыбнулся нам.

— Вы получили письмо? Это писала Тамара Ивановна под мою диктовку. Мне пока не разрешают писать. Садитесь, пожалуйста. Вы с самолета и уже успели сыграть концерт? Ну как прошел полет?

— Мне при посадке заложило уши, — пожаловался я. — И я играл, как глухонемой, одними руками.

— А я, как слепой, — подхватил наш второй скрипач.

— Почему?

— Я в этой поездке не вижу денег

Ойстрах засмеялся и взялся рукой за сердце.

— Вы здесь на каких условиях?

— На суточных, — сказал альтист. — Три фунта в день. Кружка пива, на сухое вино уже не хватит.

Ойстрах снова засмеялся, на этот раз чуть смелее и посмотрел на виолончелиста.

— Ну, а вы?

— А я забыл дома фрачные брюки, но, к счастью, на дневной концерт, и мы играли в этих костюмах.

— Меня всегда складывает Тамара, поэтому я никогда ничего не забываю. Правда, Тamarочка?

— Додик, ты сразу повеселел, — сказала Тамара Ивановна.

— Не смотри на меня так печально. Все будет в порядке. Тамара Ивановна отвернулась, чтобы скрыть слезы.

— Она расстроена, — сказал Ойстрах. — Я сегодня должен был играть концерт Брамса, в Фестиваль-Холле, и так все получилось. Меня заменяет Менухин. Будет трансляция по телевидению. Тamarочка, ты сказала, чтобы принесли телевизор?

Она молча кивнула.

— Давид Федорович, — сказал я, — мы хотим, если вы не очень устали, поиграть вам.

Ойстрах ответил, что он был бы очень рад.

Мы достали инструменты, расставили пульта и сели.

Чужим, деланным голосом, как будто обращаясь к публике со сцены, я объявил:

— Мы исполним Третий квартет Шостаковича, фа-мажор, опус 73, в пяти частях, 4-ая и 5-ая пойдут без перерыва.

Квартет написан в 1944 году. Ойстрах смотрел на нас улыбаясь.

Мы начали играть номер 3 — один из лучших квартетов Шостаковича, написанный в его наиболее активный «во-

енный» период. Много горя накопилось у русской интеллигенции за годы советской власти, от революции 1917 года до войны 1941-го. И только в годы войны оно нашло эмоциональный выход. Особенно это чувствовалось в музыке. Как и 7-ая симфония, этот квартет официально трактовался антифашистским. Но по сути он был антивоенным, волнующей музыкальной повестью о гибнущей русской культуре.

1-ая часть квартета — совершенное сонатное аллегро, 2-ая часть — сгущающиеся тучи и приближение беды, 3-я — разгульное торжество зла. 4-ая — похоронный марш, молитва по погибшим 5-ая — печальный, трогательный рассказ о себе самом, боль и тревога за будущее людей.

Мне кажется, никогда, ни в одном концерте для сотен людей мы не играли так, как в этот вечер для одного больного человека. В 4-ой части я взглянул на Ойстраха. Он лежал с закрытыми глазами, по его щекам катились слезы. Тамара поднесла ему лекарство, он мягко отвел ее руку.

В финале, в последнем засурдиненном аккорде трех инструментов, как в неземном хоре, на фоне которого 1-ая скрипка уносится все выше и выше и исчезает, мы сделали долгое диминуэндо, и наступившая вслед за ним тишина была как бы продолжением музыки.

Мы не двигались и выдержали долгую паузу.

— Большое спасибо, — сказал Ойстрах очень тихо. И потом, немного погодя:

— Замечательно... Музыка гениальная, и вы играете ее чудесно.

Он снова закрыл глаза:

— Вы думаете, я еще буду играть на скрипке?

— Не говори глупостей! — быстро сказала Тамара и заплакала. — Вот прими лучше лекарство.

— Действительно, глупости, — заговорили мы все разом. — Вы просто слишком много работали, и сердце вам намекнуло, что ему нужен отдых. Не волнуйтесь, все будет хорошо.

Он посмотрел на меня:

— Так вы и не научили меня дышать по-йоговски. А сейчас еще не поздно?

— Это никогда не поздно. Я могу показать вам прямо сейчас.

— Я сначала спрошу доктора, — сказала Тамара. — Вы здесь сколько пробудете?

— Завтра у нас начинается поездка по Англии, но в Лондоне мы еще будем.

— Я сейчас поговорю с врачом.

Она попросила телефонистку отеля соединить ее с доктором Гроссом. Было очевидно, что она делала это часто, и доктор ждал ее звонков. Она тотчас спросила его, что он думает о йоговском дыхании и долго слушала молча. Потом сказала, что с ним хотел бы побеседовать мистер Дубинский и протянула мне трубку.

— Здравствуйте, мистер Дубинский, — услышал я голос на другом конце провода. — Я только что объяснил ситуацию Тамаре, но боюсь, что не смогу сказать ей всего. Она в состоянии паники. Не говорите ей это, но я бы охотно ее отослал обратно в Москву. Будьте с Ойстрахом как можно дольше, вы и ваши друзья, вы понимаете меня? Теперь насчет дыхания. Ойстрах — это особый случай, и мы должны быть очень осторожны. Я лично приветствовал бы дыхательные упражнения, но не сейчас, а потом, когда общая картина будет яснее, — заключил доктор Гросс и пожелал мне всего доброго.

— Ну что? — умоляюще взглянула на меня Тамара, как только я повесил трубку. — Его дела очень плохи?

Ойстрах смотрел на меня не отрываясь, в глазах его была боль. Весело и беззаботно, насколько я мог, я сказал:

— Доктор Гросс попросил меня показать дыхание в его присутствии, когда мы снова вернемся в Лондон.

— Это правда? — спросил Ойстрах.

— Абсолютная правда, — уже не мог я остановиться, — он сказал, что йоговское дыхание делает чудеса.

— Тамарочка, ты знаешь, мне стало немного лучше. Может быть, я встану и сяду в кресло?

— Я боюсь, Додик, — сказала Тамара.

— А почему бы нет? — воскликнул я. — Медленно, молто адажио и легато. Давайте попробуем все вместе.

Мы осторожно усадили его на постели и вчетвером поставили на ноги.

— А теперь, — скомандовал я, — без малейшего усилия левой ногой вперед.

Ойстрах едва передвигал ноги. Мы пронесли его до стола и усадили в кресло.

— Тамарочка, смотри, я хожу и не болит, и все это сделали ребята. Я же тебе говорю, что когда они приедут, мне станет лучше.

Я почувствовал, как у меня сжало горло и устремился в ванную.

— Что-то попало в глаз, — пытался я на ходу объяснить и, как только закрыл за собой дверь, заплакал. Я пустил полную струю воды, в ожидании, пока все пройдет. Немного погодя мне стало легче. Я мыл лицо попеременно холодной и горячей водой, но глаза все еще оставались красными. Потом услышал, как зазвонил телефон, постучали в дверь, и мужской голос спросил:

— Где бы вы хотели поставить это, сэр?

Я вышел из ванной и увидел, как в комнату вносят большой телевизор. Все наблюдали, как его разворачивали экраном к Ойстраху.

На экране появилось изображение оркестра. Музыканты настраивали инструменты. Потом стало тихо, и через какое-то мгновение раздались аплодисменты. На сцене со скрипкой в руках появился Менухин, за ним в некотором отдалении — дирижер Рождественский.

Менухин проверил строй и кивнул Рождественскому. Началось оркестровое вступление к концерту Брамса. Это ожидание начала, пожалуй, самое большое напряжение в жизни артиста. Привыкнуть к этому нельзя, как бы часто это не повторялось. Биение сердца учащается, руки холодеют и становятся влажными и, когда кажется, что дольше нет сил, наступает, наконец, этот выстраданный момент своего начала, как избавление и вознаграждение.

Я взглянул на Ойстраха. Он лежал в кресле, глаза полузакрыты, дыхание быстрое и мелкое, пальцы левой

руки двигались непроизвольно. Тамара тоже следила за ним, держа в руках бутылочку с лекарством. Менухин начал играть, Ойстрах открыл глаза, лицо его было мертвенно бледным.

— Я, пожалуй, лягу, — сказал он.

Вчетвером мы подняли его и осторожно перенесли на кровать. Тамара выключила телевизор. Ойстрах тяжело дышал.

— Позвонить доктору Гроссу? — спросил я Тамару тихо.

Ойстрах услышал и открыл глаза.

— Нет, не надо, сейчас пройдет. Просто мне еще рано играть Брамса.

Ему нужен был покой сейчас, мы обещали зайти позже и вышли из комнаты.

\* \* \*

30 сентября 1968 года Ойстраху исполнилось 60 лет. Москва была поражена и испугана тем, что официально это событие прошло незамеченным. Не только не последовало положенных для такого случая правительственных наград, но, казалось, будто по какому-то специальному приказу свыше об этом намеренно молчали — печать, радио и телевидение. Но подарок ко дню рождения Ойстрах все же получил. И какой подарок! Шостакович написал и посвятил 60-летию Ойстраха сонату для скрипки и фортепьяно, опус 134. В этой музыке, однако, не было ни одной радостной ноты, ни единого светлого момента — глубокий, беспросветный мрак от начала до конца. Бездонным должно было быть горе великого композитора, если он решился им поделиться в виде праздничного подарка с другим музыкантом. И прощаясь, выразил своей сонатой глубокое сочувствие непростительно униженному честному артисту, свою поддержку в его одиноком мужестве и боль своей собственной многострадальной жизни.

После первого исполнения сонаты я долго стоял в очереди к артистической Большого зала Московской консерватории, чтобы сказать Ойстраху одно слово «спасибо». Я чувствовал, что вижу его в последний раз и потому

ничего больше сказать не мог. Ойстрах понимал это лучше меня. Понизив голос так, чтобы только я один его мог услышать, он ответил:

— Я хочу, чтобы вы сыграли эту сонату, именно вы.

Теперь это было его прощальное слово.

*...Музыка смолкла. Сначала выносят венки. Их много. Затем через весь зал проносят гроб и дальше несут вниз по длинной лестнице. Какой светлый солнечный день! Вдоль всей улицы Герцена стоят автобусы. Уличное движение перекрыто. Гроб как бы плывет воздухе на плечах несущих его людей. Его медленно вдвигают в автобус, дверцы закрываются, люди рассаживаются по машинам. Первый автобус трогается, за ним остальные... Над Москвой сияет солнце.*

**К 75-летию со дня рождения  
Аркадия Белинкова**



## Проза, написанная в ГУЛАГЕ

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей уникальную публикацию — написанную в ГУЛАГЕ прозу Аркадия Белинкова, который до сих пор был широко известен как выдающийся публицист и критик. История этой рукописи — рассказа А.Белинкова «Человечье мясо», — которую Наталье Белинковой-Яблоковой удалось получить в архивах бывшего КГБ, заслуживает того, чтобы остановиться на ней отдельно.

6 августа 1944 года Особым Совещанием при МВД СССР А.Белинков был приговорен к 8 годам исправительно-трудовых работ «за литературную деятельность антисоветского характера». В августе 1945 года из Московской пересыльной тюрьмы Белинкова отправляют в печально известный Карлаг МВД. Там он содержится во многих лаготделениях и примерно с 1949 года его заключают в Самарское отделение, где в связи с тяжелым состоянием здоровья ему разрешается работать в качестве лекпома на участке Бородиновка.

На этом участке им и был написан публикуемый в этом номере рассказ «Человечье мясо». Следует отметить, что Белинков, будучи тяжело больным, на допросе у следователя после рассказа ни на минуту не отрицает своего авторства. «Предъявленная мне рукопись рассказа, озаглавленная «Человечье мясо», — заявляет он, — принадлежит лично мне и написана мной в период с 4 сентября 1950 года по 14 апреля 1951 года на участке Бородиновка Самарского отделения Карлага МВД».

«Что изложили вы в указанном рассказе?» — следует далее вопрос следователя. «В моем рассказе «Человечье мясо» я писал о трагедии человека, совершившего тяжелый путь от простой отчужденности от советской действительности, до тяжелой, неравной борьбы с советским государством, приведшей к гибели героя».

Известно, что за прозу, написанную в ГУЛАГЕ, в том числе за рассказ «Человечье мясо» Аркадий Белинков был приговорен к 25 годам лагерей.



Н. БЕЛИНКОВА-ЯБЛОКОВА

## Предисловие к рассказу А.Белинкова «Человечье мясо»

Аркадий Белинков провел двенадцать с половиной лет — с января 1944 г. по июнь 1956 г. — в ГУЛАГе. Он известен двумя книгами: «Юрий Тынянов» и «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», написанных в годы «оттепели». Эти книги получили высокую оценку в печати. Их называли литературоведческими романами, говорили о литературоведческой прозе. Но, собственно прозы Аркадия Белинкова до последнего времени никто не знал. Она считалась пропавшей.

Только в 1995 г. по следам публикаций протоколов допросов Аркадия Белинкова (См. Г.Файман «Горе уму». «Русская мысль». 5.10-8.11.1995) мне в Центральном архиве ФСБ были выданы, как роман А.Белинкова «Черновик чувств», за который Особым совещанием он был приговорен к 8-ми годам лишения свободы, так и рукописи работ, написанные им в заключении, за которые он получил второй срок. Среди них был и рассказ «Человечье мясо».

Этот рассказ, над которым А.Белинков более 50-ти лет назад украдкой работал в лагере (Самарское отделение Карлага, участок Бородиновка) публикуется впервые.

Аркадий Белинков с детства страдал сердечной недостаточностью и поэтому его не могли использовать на общих работах. Иногда он исполнял обязанности режиссера лагерного театра, иногда лекпома, что давало доступ к бумаге и некоторому уединению. Накануне окончания срока состояние здоровья заключенного резко ухудшилось. Опасаясь, что может умереть, а рукописи, которые он закапывал в земляной пол, — пропадут, он доверился другому заключенному — Кермайеру. Выслушав и оставив Аркадия одного, тот вскоре вернулся с вопросом, как правильно пишется фамилия Белинков, через «и» или через «е»? Аркадий понял, что пишется донос. Действительно, вскоре был произведен обыск, рукописи были изъяты и началось следствие по второму делу.

В результате Военным трибуналом войск МВД Казахской ССР Аркадий Белинков был приговорен к 25-и годам исправительно-трудовых работ с поражением в правах и с конфискацией денежных средств по статье 58-10, ч. 1 (антисоветская агитация) и по статье 19-58-8 УК РСФСР (подготовка террористического акта).

Имена большинства литературных героев рассказа «Человечье мясо» совпадают с именами реальных людей:

«Аркадий Белинков» — однофамилец и тезка автора, Аркадия Белинкова.

«Марианна» — сокурсница по ИФЛИ, вместе с которой Аркадий Белинков (автор) — учился в 40-е годы. Она же — героиня романа «Черновик чувств».

«Фадеев» — Секретарь Союза советских писателей СССР.

«Ермилов» и «Ковальчик» — члены Союза советских писателей, производившие экспертизу работ Аркадия Белинкова (автора), конфискованных по первому делу в 1944 г. На всю жизнь Аркадий, которого по окончании следствия ознакомили с заключением экспертной комиссии, запомнил последние слова в рецензии Ермилова. Это была цитата из Вышинского: «Взбесившихся псов я

требую расстрелять!» (Цитирую по памяти.) Рукопись рассказа «Человечье мясо», — рукопись в подлинном смысле этого слова — написана лиловыми чернилами, убористым почерком на 23-х листах среднего формата с двух сторон. Существует двойная нумерация: авторская — по обе стороны листа: всего — 46, и следовательская — синим карандашом на одной стороне листа: всего — 23. Одна страница с краю оборвана. Много зачеркиваний, перестановок, вариантов. Этот разбитый на маленькие главки рассказ — о погоне за героем, который носит то же имя, что и автор, — полностью не закончен. «Глава XXII», из которой читатель узнает, что героя и его жену доставили в Министерство Государственной Безопасности, является логическим завершением сюжета. На этом я и прерываю публикацию рассказа, выделяя две «последние» главы, в которых происходит смещение во времени повествования. Эти главы, судя по датам, были написаны за четыре дня, с 12 по 16 апреля 1951 года и представляют собой по-видимому, начало следующего витка сюжета. Поэтому слово «последние» и берется в кавычки.

На 46-ой странице повествования (по авторской нумерации) есть слова: «Рукопись рассказа «Человечье мясо» написана мной и изъята у меня при обыске» и дата «25.5.51». Они принадлежат не литературному герою Аркадию Белинкову, а Аркадию Белинкову — автору.

«Человечье мясо» — черновик. У автора не было возможности ни закончить его, ни отредактировать. При подготовке рукописи к печати я старалась держаться максимально близко к тексту. Если разобрать слово было невозможно, я обозначала его знаком [нрзб]. Если я не была уверена в слове, я заключала его в квадратные скобки. В квадратных скобках так же указаны варианты, из которых сам автор не сделал выбора. В рукописи много подчеркиваний и пометок, сделанных синим карандашом следователя. На них и базировалось заключение об антисоветской деятельности автора.

*Монтерей, 1996 г.*

*Аркадий БЕЛИНКОВ (1921—1970)*

## ЧЕЛОВЕЧЬЕ МЯСО

### Глава I

Они искали меня, чтобы зарубить топором.

На чердаке они поймали кошку и съели ее. Сырую без соли.

Сыпалась на письменный стол в кабинете штукатурка.

Когда, выпоров брюхо, из кошки тащили кишку, она кричала длинно и тонко.

Из погреба они орали: — Это все барахло: переводы из французских декадентов.

Им отвечали с чердака: — Ищи, ищи, там самое место и есть. Некуда им больше деваться. Как найдете, идите к нам кошку хавать.

Звенел топор, и с визгом рассыпались стекла.

На чердаке они тоже ничего не нашли, кроме болтовни о греческой [трагедии].

Они подожгли дом и ушли, махая руками.

Один, длинный, отстал. Нагнув голову и расставив ноги, он долго глядел в дым. На нем были потрепанные красные галифе.

Тапочки были обуты на босые ноги. Он шел, по зеленому весеннему полю, прижимая подошвы к теплой влажной земле. В красных штанах. Вспыхивал на солнце топор. За ним топало стадо облаков сивого дыма.

Я сидел в яме.

Когда [враг] в красных штанах ушел, я увидел розовый фарфоровый кофейник, который держал в руках, и — не понял.

Они хотели меня зарубить за то, что я написал книгу, полную злобной клеветы.

По бокам кофейника прыгали зебры и зубры.

В книге было написано про любовь, живопись итальянского Возрождения и советскую власть.

О любви и живописи итальянского Возрождения я говорил только хорошее.

По зеленому полю топтался сизый дым.

Из ямы были видны уплывающие к голубому горизонту красные штаны и кусок повисшего горящего стропила.

Что касается советской власти, то я клеветнически утверждал, что эта власть — дрянь.

Я вылез из ямы.

На заборе сидела ворона, острая, как кайло, и кричала, глядя в огонь.

На обугленной балке висел, зацепившись задним колесом за крюк, велосипед. Переднее колесо с прогоревшей покрывкой пошатывалось туда и обратно.

В спальне лежали вдоль сгоревшей стены медные кольца штор. И на мраморной крышке стола, осевшей на угол сгоревшего пола, дымились две чашки.

Марианны не было.

Все, что я написал про советскую власть, было правдой.

Я не стану утверждать того же самого о своих писаниях про любовь и живопись итальянского Возрождения.

Красные штаны скрылись за горизонтом. За ними встал клуб сивого смрадного дыма.

Марианна была в лесу. Она лежала, уткнувшись лицом в землю, и я набрел на нее, услышав рыдания.

— Марианна, — сказал я, опустившись на колени, — не плачьте, Марианна, они ушли. Все будет хорошо.

— Ах, Аркадий, — глухо простонала она, не поднимая головы, — больше никогда ничего хорошего не будет. Как правильно все, что вы написали про советскую власть!.. Зачем жить, Аркадий? Сгорела библиотека, рукописи, дача. Зачем вы написали эту книгу, Аркадий?

Спотыкаясь, мы брели по лесу. Я увидел у себя в руках розовый кофейник и — не понял.

— Поставьте на место, — строго сказала Марианна.

Я поставил кофейник у края тропинки. Мы побрели дальше.

За лесом ревели паровозы.

Было ясно, что они поймают нас и зарубят.

На XIII пленуме Союза советских писателей было вынесено постановление о том, чтобы поймать и зарубить нас.

Я уже давно не любил Советскую власть. Еще со времен Стеньки Разина.

В своем замечательном выступлении на XIII пленуме Союза советских писателей тов. А.Фадеев сказал: — Мы должны выкорчевать о корнем все буржуазные пережитки в сознании людей.

В нашем сознании были буржуазные пережитки. Они пришли с топором, чтобы выкорчевать нас.

Стемнело. Со своими врагами они вели беспощадную борьбу.

Нужно было немедленно принять какое-нибудь решение.

По деревянной платформе станции бегал дождик.

На мне были пижамные штаны в золотую полоску по лазоревому полю.

Нос у Марианны был красный.

— Аркадий, — сказала Марианна, — я не могу с красным носом.

Я смотрел на свои штаны в золотую полоску по лазоревому полю. На них была кровь.

Когда мы поднялись на платформу, зарычала собака, и девочка взвизгнув уткнулась в подол няньки.

— Шляются, ироды, — прошипела нянька, — чего только милиция смотрит.

От мокрой стены железнодорожной станции отделился милиционер.

— Аркадий, — опросила Марианна, — мне очень нехорошо с красным носом? Да?

— Очень хорошо, Марианна, — уверенно сказал я. — Но самое странное не в том, что убийцы захватили власть в государстве, а то, что народу они свои, родные, любимые.

— Не надо думать об этом, — сказала Марианна, — думайте о любви и живописи итальянского Возрождения.

Милиционер сделал шаг от стены и встал перед нами.

— Ваши документы, — сказал он. — Чего? Пройдете со мной.

## Глава II

— Черчилль! — визжала нянька. — Веди его, веди батюшка. У-У-Зараза!

— Где? Где Черчилль? Пусти поглядеть на Черчилля! — надрывалась тетка с титькой, — вон етот с тремя руками?

— Ишь, он, окаянный, с тремя руками...

— Вон он, вон, смотри-ка, смотри, красotka какая!

— Какая красotka?

— Да вон, с Черчиллем, смотрите.

— Кто? Вы слышите!? Так ведь это же гитлерова падла, Ева Браун! Смотрите, смотрите, вон Ева Браун. Осторожнее. Обратите внимание, опять носят высокие прически.

— Где? Где?

— Да вон же, вон!

т Ну да, она самая и есть. Сначала с Гитлером шурымуры, а потом, как подход Гитлер, то пошла с Черчиллем.

— Да брось ты, Черчилль — педераст, он не может с бабой.

— Где педераст? Где педераст? Чего встал, как член?! Пропустите к педерасту! Граждане, пропустите к педерасту.

— Чего вцепился, сволочь?! Где, где?! Вон мент повел. Теперь им покажут, собакам, как поджигать войну. Узнают теперь они нашу родную советскую власть.

Начальник железнодорожного отделения милиции сидел в сдвинутой на затылок небесно-голубого цвета фуражке на перине в фиолетовых трикотажных подштанниках и скреб волосатую ногу кривыми пальцами другой ноги.

Выступая на собрании актива, он сказал: — Наше отделение милиции достойно выйти на первое место в районе по приводам. Советская власть дала нам для этого все. Мы должны оправдать доверие товарища Сталина.

Он был тщеславен и не скрывал этого.

Будучи вооруженным самым передовым в мире мировоззрением, он не сомневался в том, что вверенное ему отделение милиции выйдет к концу отчетного полугодия на первое место по приводам.

— Все дело в масштабе, — скребя ногу, сказал он жене, с яростью раздиравшей не отстегивающийся вместительностью в 5 литров бюстгальтер, — конечно, масштаб не тот.

— Хвороба ему в бок, — прошипела, потея, жена, тщетно лоя вертящуюся, как проститутка, пуговку.

Начальник в фиолетовых подштанниках и небесно-голубой фуражке, мечтательно вздохнув, сказал:

— Вот когда скрутим Америку, будет тогда милиция, минимум, на весь мир! И на Тихом океане, и на Атлантическом, и на Северо-ледовитом.

— Нехай она подавится, — прорычала жена. — Чего глаза пялишь?! Отстегни! — Упершись коленом в спину супруги, он отстегнул проклятую пуговку. Жена вздохнула, как резина.

— Нехай она подавится, — говорила жена про Америку. — Ты заложил ворота? Ты загнал курей?

— Черчилль! — Визжала толпа, напирая на ворота железнодорожного отделения родной рабоче-крестьянской милиции. — Долгой поджигателей войны!

Начальник в фиолетовых подштанниках и небесно-голубой фуражке от волнения вместо штанины попал ногой в самоварную трубу.

— Черчилль, — бормотал он дрожащими губами, — наконец-то! Вот он когда пришел настоящий масштаб! Только бы не упустить.

— Ты запер худобу? — приставала жена.

— Отчепись! — вспылит начальник и, гремя самоварной трубой, выскочил, хлопнув дверью в коридор, соединявший его квартиру с рабоче-крестьянским заведением.

Крепко сжимая руки друг друга, с поднятыми головами, мы стояли, окруженные врагами.

Свидетели из добровольцев показывали:

— Он самый Черчилль и есть.

— Сами видели.

— Намедни в газете пропечатывали. Как раз такой есть. Только худой стал.

— А это самая его баба и есть.

— Черчилль с [нрзб], братцы! Дела!

После допроса свидетелей начальник рабоче-крестьянской милиции сказал:

— Товарищ Сталин учит нас, ты есть поджигатель новой мировой бойни № 1. Но тебя ждет такой же позорный конец, как и ее фюрера, проклятого Гитлера. Увести их.

### Глава III

Когда глаза немного привыкли к камерному сумраку, стало ясно, что коренным населением этого заведения являются краснушники, чернушники, домушники, тихушники, мокрушники, крысятники тайшетские, крысятники воркутинские, колымские, амурские и карабасские, щипачи, ширмачи, скоборя, лопатники, бочатники, топошники, хиляшники и скучатники, проститутки рублевые, двухрублевые, трехрублевые, четырехрублевые, пятирублевые, и шестирублевые, подмосковные молочницы с кешарами и один фраер (без кешара)\*.

Несмотря на то, что аборигены заведения даже не подозревали, что мы Черчилль и Ева Браун, однако в компанию нас все равно не взяли.

Не придавая ни малейшего значения нашему появлению, вор с откушенным ухом невозмутимо продолжал роман.

\* Некоторые из блатных кличек, употребляемых автором, по-видимому, взяты из местного лексикона.

— Он все ходил к ней, а она ему не давала, — рассказывал вор с откушенным ухом. — А мужик ее был царь.

Не обнаружив ничего замечательного в наших карманах, представители фиска поинтересовались нами сами. Узнав, что мы как раз по части романов, нас протискали к огню.

— Ты, батя, не робей, — ободрила меня проститутка с выклеванным глазом, — мы не обижаемся на своих писателей. Давай, начинай.

— Хорошо, — сказал я, — спасибо. Сейчас я расскажу вам небольшую историю из жизни одного русского писателя, вступившего в конфликт с обществом. А вы сами решите, прав он или не прав.

— Ты лучше давай про урку, — пожелала компания.

— Про урку? Я не знаю про урку... — смутившись, признался я. И собранию ничего не оставалось, как слушать про писателя: хотя любому начитанному человеку ясно, что это значительно менее интересно и поучительно.

— Эта история началась давно, — сказал я. — Еще во времена Стеньки Разина. Ее с полным правом можно назвать именно «Русской историей», потому что вы и без моего рассказа хорошо знаете, а из моего рассказа вам станет совершенно ясным, насколько плохие были всегда в России взаимоотношения между властью и народом. Особенно между властью и интеллигенцией. Что касается единственного периода за всю историю России, периода в восемь месяцев между февралем и октябрем 1917 года, когда эти взаимоотношения в первый и последний раз были нормальными, то его я не касаюсь, именно потому, что они продолжались всего восемь месяцев. Но я собираюсь рассказать вам не начало этой истории, уходящей, как я сказал в мрачные времена Стеньки Разина, Пугачева, восстания декабристов и другие черные дни, пережитые нашей родиной, а только один из ее финальных, так сказать, эпизодов.

— Давай, давай! — ободряли меня проститутки, воров и подмосковные молочницы.

— Вы реакционер, — сказал фраер без кешара, но его [ляпнули прохарем] по харе и он не настаивал.

— Хорошо, — сказал я. — Человек, историю которого вы сейчас услышите, жил в Москве и писал романы, рассказы, сценарии и драмы. Никто из вас никогда его не читал, потому что отношения с властью у него были очень плохими и власть не считала нужным ставить в

известность широкие слои населения о том, что она еще не задушила нескольких человек, не слушающих ее. Он был еще очень молод, но несмотря на это, на многих примерах смог убедиться в том, что люди, которых он встречал, были несчастливы. Это его поразило, и он стал спрашивать людей, почему они несчастливы. Люди, которых он спрашивал, не признавались. Они говорили: «Что вы, мы абсолютно счастливы, потому, что иначе и быть не может в эпоху построения коммунизма». Он знал, что это было неправдой. Убедившись, что у писателей, дипломатов, секретарей, председателей, профессоров и прочих, кто ходил в дом, где он жил, правды не добиться, он стал спрашивать у дворников, слесарей, инженеров, трактористов и прочих, кто не ходил в дом, где он жил. Дворники, слесари, инженеры и трактористы сказали, что они абсолютно счастливы, потому что иначе и быть не может в эпоху построения коммунизма, и каждый из них, подозрительно оглядев его с ног до головы, говорил: «Проваливай, отсюда, батя», или: «Пошел, пошел своей дорогой!» или «Вон дверь, видишь, а то попадешь на улицу прямо через это самое окно» или: «Ах ты, сволочь, шпион, выпрашиваешь, а потом донесешь, куда следует».

— А нас он не ходил спрашивать? — осведомился вор с выдранной челюстью.

— Вероятно, нет, — подумав, ответил я. — А что бы вы ему ответили?

— Мы бы ему ответили... — угрожающе промолвил вор с выдранной челюстью, — мы бы уж ему ответили...

— Ладно, кончай! Двинь ему, Петруха, каблуком промеж глаз, — заорали слушатели на моего оппонента, — давай, батя, дальше роман тискай!

— Хорошо, — сказал я. — О том, что люди несчастливы, этот человек писал свои романы, рассказы, драмы и сценарии. В его творчестве наступил перелом, когда он понял, почему люди несчастливы. Они были несчастливы, потому, что не были свободны. Они не были свободны, не только потому, что каждому из них угрожала гибель за признание, но главным образом, потому, что счастливыми они стали не сами, по собственному выбору, так сказать, а им приказали: будьте счастливыми, а то мы вас! Когда появились первые романы, рассказы, драмы и сценарии этого человека, в которых так и было сказано: люди, живущие в эпоху построения коммунизма, несчастливы, а несчастливы они потому, что несвободны, его стали толкать, ругать,

пинать и выгонять отовсюду, и те, которых он обвинил в несчастьи людей, и те, которых он любил и защищал. Это произошло потому, что первые не могли допустить и мысли, чтобы в их владениях жил такой человек, который мешал бы им обманывать людей, а вторые, потому, что им не хотелось, чтобы всем стало ясно, что они обмануты, что сами знают об этом и делают вид, что ничего постыдного не происходит. После того, как он написал обо всем этом, его даже не очень ругали, так только, для порядка, так сказать, в качестве расписки в получении. Просто все обомлели, глядя на него. И действительно это было удивительное зрелище: покойник ходит, говорит, пьет чай! Один или два человека, с которыми у него были хорошие отношения, несмотря на то, что они были его врагами, не сомневаясь в том, что он уже покойник, говорили ему: — Вы не правы, потому что не понимаете, что все это, даже обман, нужно для создания такого общества, при котором уже никому никого не надо будет обманывать. — Вы не создадите такого общества, — отвечал он, потому что из обмана ничего кроме обмана сделать нельзя. В книге, которую он написал, было рассказано о любви и живописи итальянского Возрождения и советской власти. О любви и живописи итальянского Возрождения было написано только хорошее.

— А про советскую власть? — строго спросила молочница с отгрызенным носом.

— Про советскую власть не было написано ничего хорошего, — решительно ответил я.

— Вот сука! — воскликнул вор с выдернутой челюстью, — сюда бы его, падлу, — и он рванул зубами себя за плечо. — У-у паскуда [вариант: гадюка].

— Аркадий... — прошептала Марианна, сжав мою руку.

— Прошло немного времени. Покойник, не сдаваясь, ходил, говорил, читал газеты и пил чай. В своих выступлениях он горячо убеждал, что все хорошее, что было в России, пришло с Запада, что идеалы свободы, равенства и братства переведены на русский с европейского языка, что необходимо доказать, что мы звали к себе варягов. Тогда они решили убить его. Ранним утром они ворвались в дом, изорвали рукописи и книги, затоптали картины, а дом подожгли. Но писатель не даром прожил всю свою жизнь с ними, убийцами и поджигателями: он не стал дожидаться, что оделяют с ним и его женой поджигатели и убийцы, а спрятался от них в яму, и они его не нашли.

— Найдут, — уверенно заявила проститутка с выклеванным глазом, — не будет долго гулять такая падаль по нашей свободной советской земле. (Эта проститутка была идеологом компании.)

— Вы думаете? — заинтересовался я.

— А как же, — убежденно сказал вор с выдранный челюстью, — а ты что думал, фраер?

— Что я думал? Я думал, что будет очень плохо, если его найдут... — тихо сказал я.

— Не знаю, кто еще, кроме него в последние годы решался так громко говорить правду, — сказала Марианна.

— Ишь ты, стерва, небось заодно с ним, — подозрительно глядя на меня, сказала проститутка с выклеванным глазом.

И сразу все стало ясным.

Вор с выдранный челюстью повернулся к нам и вытянул вперед шею.

— А ну, падла, выкладывай, кому советскую власть продаешь, а то сейчас схавая.

Я вскочил на ноги и шагнул к Марианне.

— Стой, падлюка, — тонко взвизнула молочница с отгрызенным носом и стукнула меня по голове поленом.

— Крути ихние руки, — прорычал вор с выдранный челюстью.

— Знаешь, кто они есть? — заорала проститутка-идеолог с выклеванным глазом, — космополиты безродные [вариант: бездомные]!

Нас загнали в угол и лупили досками от нар, [мискарами] и сапогами. Я вскочил на бочку с водой и, оторвав цепь с кружкой, размахивал ею.

— Аркадий, — с ужасом шептала Марианна, — и они ненавидят нас.

Вдруг кто-то рванул бочку, крышка выскользнула у меня из-под ног и я бухнулся в воду. В то же мгновение мне на голову перевернули парашу и все скрылось во мраке.

Я не слышал, как отворилась дверь камеры. Выбравшись из-под параша, я удивился неожиданной тишине и увидел на пороге камеры надзирателя. Он постукивал по пряжке ремня здоровенным ключом.

— А ну, кто здесь гвалт поднимает? — рявкнул надзиратель, — ну, кому я говорю!? Выходи.

Я выскочил из бочки и, схватив за руку задыхающуюся от рыданий Марианну, бросился из камеры. Кто-то схватил меня за воротник, но я ловко вывернулся и,

оставив пижаму в камере, вместе с Марианной оказался за дверь. Надзиратель треснул по башке ключом не отставшую от нас ту самую настырную проститутку-идеолога с выклеванным глазом, и дверь с грохотом захлопнулась.

— От всей души, от всей души благодарю вас, — сказала Марианна и с восхищением посмотрела в глаза надзирателю. — Вы спасли нас.

— Ничего не стоит, — осклабился надзиратель. — А иной раз недоглядишь и врежет дубаря какой-нибудь фраер. А ловко они тебя парашей накрыли! Я глядел в волчок, так меня аж смех разобрал. Ну, думаю, дела, Черчилль-то в параше. Ха-ха-ха!

— Аркадий, — прошептала Марианна, — правда, он добрый и очень приятный человек? Боже мой, если бы не он, мы бы погибли! Поблагодарите его, ну, я прошу вас.

Я молчал.

— Еще раз приносим вам свою глубочайшую благодарность, — сказала Марианна и строго взглянула на меня.

За дверью камеры рычали, кричали, угрожали, оскорбленные в чувстве горячей любви к своей матери-родине краснушники, темнушники, чернушники, домушники, тихушники, мокрушники, крысятники тайшетские, воркутинские, колымские, амурские, печерские, карабасские, чурбанукские, кызыл-ардынские, слухачи, ширмачи, скоборя, лопатники, богашники, топышники, хипяшники, скучатники, медвежатники, проститутки рублевые, двухрублевые, трехрублевые, четырехрублевые, [нрзб], черненькие, синенькие, чапаевцы, махновцы, подмосковные молочницы с кешарами и фраер фанфаныч.

## Глава IV

Оказалось, что мы не Черчилль и Ева Браун.

Сунув пинка под задницы, нас выпихнули за тюремные ворота.

Было темно, сыро и холодно.

— Аркадий, — сказала Марианна, — все-таки хорошо, что нас пока еще не убили.

— Очень хорошо, — сказал я. — Наверное, завтра убьют. Или воры или проститутки: одна у них советская власть. Самое уязвимое наше место, Марианна, это аморфность положительной программы.

— Что вы! — сказала Марианна. — Совсем не одна. Ведь он же не дал нас убить.

На рассвете мы, падая от усталости, подошли к первым (камням) столицы.

— Аркадий, — спросила испуганно Марианна, повернув мою голову к своему лицу, — у меня еще красный нос? Мне очень не идет с красным носом?

— Что вы, Марианна, ваш нос великолепен, — убежденно ответил я. — Может быть, именно поэтому давешний милиционер с ключом был так с вами предупредителен и любезен.

— Нет, — сказала Марианна, — он был предупредителен и любезен не потому, что ему так понравился мой нос, а потому, что он, будучи умным и гуманным человеком, сразу понял, что никакие мы не Черчилли, никакие мы не поджигатели войны, а просто очень хорошие люди, всем сердцем преданные искусству.

— Вы думаете? — медленно спросил я, — вы думаете, что мы не поджигатели войны, а просто люди, занимающиеся искусством?

— Ну, конечно, — убежденно воскликнула Марианна.

Я был в мокрой нижней рубашке и в пижамных штанах с золотой полоской по небесно-лазоревому полю. На мою грудь капала кровь со щеки и шеи.

— Хорошо, сказал я, — вы рады, что мы не поджигатели войны. Прекрасно! А вам не хочется стать в ряды борцов за мир, демократию и социализм?

— Никаких поджигателей, никаких борцов, — категорически сказала Марианна, — вы закончили книгу сонетов о золотом веке? Нет, не закончили. Очень плохо. Заканчивайте и не ввязывайтесь во всякие истории.

— А если... — начал я.

Марианна строго посмотрела на меня.

У дверей квартиры мы остановились, поняв, что попасть домой так просто нам не удастся, потому что ключи были где-то потеряны. Мы топтались у входа, ни на что не решаясь. Идти, да еще в таком виде к швейцару, мимо которого мы проскользнули незамеченными, было опасно, точно так же, как и пытаться выломать дверь. Нервно постукивая пальцами по косяку двери, я случайно надавил кнопку звонка. Услышав звон, Марианна горько улыбнулась и вздохнула. Растерянно посматривая то на дверь, то друг на друга, мы стояли, мучительно размышляя о том, что делают в таких случаях. Но вдруг за дверью раздалось шарканье, потом кто-то плюнул, шумно зевнул и выругался.

Кого еще черти несут? — проскрипел кто-то за дверью.

Обомлев, мы схватились за руки и застыли в оцепенении.

— Ну? — слышалось из-за двери, щелкнул замок и дверь распахнулась. На пороге стоял враг в красных штанах.

Он был без штанов. Он переминался с ноги на ногу и тесемки его кальсон тоскливо висели долу. Левой рукой он чесал в паху. Вдруг он перестал чесать и замер, вытянув шею. Мы шарахнулись в сторону и с громким криком скатились с лестницы.

— Держи! Держи! — неслоь нам вслед и слышалось шлепанье босых ног по ступеням. У подъезда нам преградил дорогу швейцар. Я навалился на него и мы оба упали. За спиной раздалось хриплое дыхание, и кто-то схватил меня за ногу. Я оглянулся, увидел над собой врага с болтающимися завязками от кальсон, пнул его ногой в грудь и, оставив в его руках туфлю, выскочил из подъезда, увлекая за собой Марианну.

## Глава V

Враг в красных штанах в последний раз оглянулся на догорающую дачу и решительно зашагал к станции. Он хорошо знал, что так не ловят преступников и хорошо знал, что поймают их все равно. Доложив начальству о результатах экспедиции, он пошел домой и, сняв красные штаны, лег на непостеленную постель.

Заснуть он не мог. За окном звякала и булькала вечерняя столица, полная строительства коммунизма. Он лежал с широко раскрытыми глазами! вытянув длинные ноги в кальсонах с болтающимися завязками и слушал. Ему некому было завещать коммунизм и поэтому он страстно желал сам пожить в нем. Он думал о том, что от коммунизма ему нужна лишь уверенность в том, что никто ни на кого не поднимет руку. Думая об этом, он вспомнил свою молодость, пожары и флаги гражданской войны и ворованную муку из подвала купца Звероящурова. В забрызганных грязью сапогах прошел он двадцатые годы русской истории. Партия погнала его [обжимать] кулаков, поставлять нэпманов и рубить басмачей. Травя измену на строительстве Кузбасса, он загубил полгорода невинных советских душ, за что едва не лишился партбилета и пошел работать по призванию

во внутреннюю охрану ГПУ старшим надзирателем 6-го этажа. Но пришло время, и его вспомнили. Это были дни, когда государство буквально задыхалось от отсутствия квалифицированных кадров в жестокой борьбе с врагами народа. Получив назначение замнаркома внутренних дел, он на своих плечах вынес тяжесть работы по очищению советской власти от скверны. Травя измену на огромных пространствах гигантской стройки социализма, они с наркомом загубили пол государства невинных советских душ, за что ЦК ВКП (б), обрадованное тем, что нашло таких самоотверженных дураков, когда все было кончено, сделало строгое лицо и тяпнуло, не поднимая хипеша, вагонной буксой наркома по голове, когда он от трудов ехал лечиться в Сочи, а его запихали 3-им секретарем Иркутского обкома партии. Во время Великой отечественной войны с авангардом мирового империализма он со своим штрафбатальоном гнал немцев от Москвы и, загубив половину всех штрафных частей доблестной Советской Армии, укрепился на высоте. Попав под Можайском в окружение и вырвавшись за Смоленском из окружения, он прошел все генпроверки по длинной смоленской дороге и, добредя до Москвы, получил назначение прозектора морга офицерского госпиталя во Владимире. Когда кончилась война, он снова пошел работать по призванию во внутреннюю тюрьму НКГБ старшим надзирателем 7-го этажа. Огромное значение, придававшееся партией и лично тов. Сталиным в борьбе с космополитизмом и презренным низкопоклонством перед заграницей, в эпоху, когда наш народ завершает победоносное строительство коммунизма, снова выдвинуло его, человека блестящей квалификации, несмотря на перегибчики, в первые ряды воинов за приоритет нашей культуры. Когда в известных постановлениях ЦК ВКП (б) по идеологическим вопросам и докладах тов. Жданова была объявлена борьба всяким зощенкам, ахматовым, кинематографистам, композиторам и критикам-космополитам, он был назначен заместителем Нач. управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) и, блестяще совмещая опыт идеолога с опытом старшего надзирателя внутренней тюрьмы НКГБ, бросился перерабатывать загнившее мировоззрение у некоторых зазевавшихся идеологов.

Получив сведения о том, что на одной подмосковной даче некая супружеская парочка дезертировала от насущных проблем политики советской власти в область литературы и искусства и распространяет отвратитель-

ный запах космополитизма и «искусства для искусства», он переселился в московскую квартиру этой супружеской парочки, а подмосковную дачу со всем ее потрохом сжег.

Он хорошо знал, что таким способом — шумной компанией, хававшей кошек на чердаке дачи, наложившей кучи во все дамские шляпы, не ловят космополитов. Вернувшись с пожара, он снял потрепанные красные галифе и лег на непостланную кровать. Глубоко затягиваясь махоркой, он смотрел в багровый четырехугольник окна, слушая рев вечерней столицы. Он не мог заснуть. Мысль о том, что каждый миг приближает нашу счастливую родину к светлым дням коммунизма, вызывала учащенное сердцебиение и сильное потение ног. Он сучил пальцами босых ног, одетых в кальсоны с болтающимися завязками, страстно желая самому пожить в коммунизме.

Как всякий советский человек, он нервно вздрогнул от неожиданного звонка в передней. Вскочив с кровати, он зашлепал босыми ногами по линолеуму, плюнул, выругался и проскрипел:

— Кого черти несут?

Никто не отвечал. Он распахнул дверь и, почесывая в паху, уставился в темноту. И вдруг он увидел перед собой бежавших врагов нашей счастливой жизни и победного шествия к светлым зорям коммунистического завтра. Один враг был уже окровавлен и полугол.

— Держи, держи, — закричал он вслед скатывающимся с лестницы врагам и бросился за ними.

Влетев в свалку близ швейцарской, он схватил окровавленного полуголого врага и — рванул.

— Ногу выдернул, — с радостью подумал он и упал, получив удар в грудь. Зазвенела дверь, его обдало мокрым предрассветным воздухом, и он встал. В руках у него была туфля окровавленного, но вырвавшегося врага. Он распахнул дверь и с криком выскочил на улицу.

## Глава VI

Задыхаясь, мы бежали по улицам просыпающейся столицы. Гремя бидонами, проходили молочницы и, разинув рты, глядели на нас. Дворник, поливавший улицу, на которого мы налетели, выскочив из-за угла, обдал нас струей ледяной воды из брандспойта. Звеня и покачиваясь, по улицам проносились пустые и казав-

шиеся поэтому полупрозрачными трамваи. Добежав до Арбата, мы остановились, с трудом переводя дыхание. Вдруг Марианна, дрожащая всем телом, схватила мою руку и прошептала:

— Аркадий, смотрите!.. — я посмотрел на площадь и увидел шагающего к нам милиционера.

— Бежим! — закричал я и бросился в переулок.

Мы бежали, сворачивая в переулки и пробираясь проходными дворами.

— Я не могу больше, — прошептала Марианна и опустила на землю. Я стоял на коленях и умоляюще смотрел ей в глаза.

— Надо бежать, Марианна, — шептал я, — надо бежать. Иначе мы погибнем. Будьте мужественны, Марианна.

— Куда бежать, Аркадий? — удивленно спросила Марианна.

Этот простой вопрос поразил меня. Я не знал, куда бежать. Я чувствовал, что здесь оставаться нельзя. Мои пижамные штаны и окровавленная рубашка здесь, в центре города, днем, каждое мгновение могли выдать [вариант: погубить] нас.

— Надо прятаться у знакомых, — сказала Марианна и встала.

Мы пролезли в щель, оказавшуюся в заборе, и очутились в кривом и узком тупике.

Дети, бежавшие по тупику, остановились, подозрительно оглядывая нас.

— Вредители, — негромко сказал мальчик лет 10, ткнув локтем в бок своего товарища, — уж я знаю. У меня у самого папка был вредитель. Только его сразу скрутили [вариант: разоблачили].

— Это не вредители, — нахмурившись, ответил второй мальчик, — вредителей сейчас уже нету. Это поджигатели. Надо газеты читать, — авторитетно заявил он и сплюнул сквозь зубы. — Бежим в милицию. — И они, свистнув, сорвались с места, оглядываясь на нас и размахивая руками.

— Сюда, — сказала Марианна, — и, обогнув угол дома, быстро вошла в темный подъезд.

Супруги Геморроидальниковы сидели друг против друга за столом и занимались самокритикой, убедительно доказывая, что самокритика есть наиболее действенная форма раскрытия внутренних конфликтов социалистического общества в эпоху его поступательного движения к коммунизму, когда в передней раздался звонок. Выдернув буравчики сардонического взгляда из глаз

своего супруга» Ванда Виссарионовна пошла отворять дверь.

— Боже мой! — долетел до супруга вопль из передней.

— Сейчас убьют!.. — с надеждой и радостью подумал супруг и, бросившись к двери столовой, прижался к замочной скважине.

— Здравствуйте, дорогая, — услышал супруг из передней.

— Ах, какое счастье, — сказала супруга.

— Не убьют, — понял он и, тяжело вздохнув, завалился на диван. — Может быть завтра сама под трамвай попадет, — с безнадежным отчаянием думал Сигизмунд Петрович. — А вечером еще этот доклад на секции детской литературы!.. О жизнь!

— Сика, Сикачка... — надрывалась супруга, волоча за собой гостей. — Ты посмотри, кто пришел! Сикочка, ты видишь, кто пришел? Ну что за бесчувственная скотина! Нет, вы только посмотрите!

Я подошел к Сигизмунду Петровичу и горячо пожал руку, которой он писал о моей книге, что «несмотря на грубую политическую ошибку издательства, выпустившего в свет это «произведение», содержащее грязную клевету на советских людей, строящих коммунизм, рецензируемая нами книга обладает одним существенным достоинством: она лишней раз доказывает, к какому маразму приводит отход от метода социалистического реализма и убедительнейшим образом показывает нашим писателям, как не надо писать». Но Сигизмунд Петрович был единственным критиком, который считал, что меня не следует убивать до тех пор, пока не будут испытаны некоторые другие способы, приводящие к смерти людей, отошедших от метода социалистического реализма.

— Ах, сказал Сигизмунд Петрович, — вас еще не убили?! Нет, этого не может быть! Ну, знаете, так, как вам, еще никому не везло! — И он с чувством обнял меня и расцеловал в щеку.

— Они еще живые! — визжала Ванда Виссарионовна, — тогда будем пить чай! — А что это у вас такое? — спросила она, указывая на залитую кровью рубашку, — и вообще, почему вы такой голый?

— За нами погоня, — тихо сказал я. — Вчера на рассвете они уничтожили наши рукописи и сожгли дачу. Мы едва спаслись. Помогите нам.

— Ну, конечно, как же может быть иначе, — восклик-

нула милая молодая женщина, — в крайнем случае мы скажем, что вы связали нас и заставили приютить.

— Хорошо, — сказал я. — Говорите. Нам необходимо переодеться.

— Да, да, конечно, — закричал Сигизмунд Петрович, — конечно, им в первую очередь необходимо переодеться. Вандочка, займись этим делом, а я сейчас.

Ванда Виссарионовна проводила нас в спальню и распахнула гардероб.

Сигизмунд Петрович приотворил захлопнувшуюся за нами дверь столовой, выглянул в коридор, потом, ступая на цыпочках, и оттопырив согнутые в локтях руки, покачиваясь жирным телом, прошел в переднюю, запер дверь, положил в карман ключ и с такой же осторожностью, тщательно притворив за собой двери, направился в кабинет.

— Милиция, — тихонько проговорил он, прикрывая ладонью рот и кося глазом на дверь. — Милиция! Прошу милицию. Все равно, какую. Нет лучше давайте большую. Это большая? Самая большая? Хорошо. Спасибо. Говорит известный критик Геморроидальников. Да, да. Член Союза советских писателей. Вы не читали мою новую книгу о социалистическом реализме? Нет? Очень жаль. Ничего, завтра же я пришлю ее вам. Пожалуйста. Товарищ капитан, дело вот какого рода: 10 минут назад ко мне на квартиру заявили известный вам Аркадий Белинков и его жена. Да. Вот именно. Скрываются. Да, да. Просят помощи. Хе, хе. Жена их сейчас переодевает. Да, да, совсем голые. В крови. Хорошо. Слушаю. Слушаю. Так. Так. Хорошо. Только как можно скорее. Хорошо. Хорошо. Есть. Желаю.

Он положил трубку и, не снимая руки, перевел дыхание и оглянулся на дверь.

— Что вы для нас сделали, — утирая заплаканные глаза, сказала Марианна, ушивая широкое ей платье. — Правду говорят: друзья познаются в беде.

— Ну что вы, что вы, — восклицала Ванда Виссарионовна, — как же не помочь людям в такой беде. Это долг всякого советского человека [вариант: подлинного советского человека], — и она бросила тревожно-вопросительный взгляд на дверь в кабинет Геморроидальникова.

Я снял окровавленную рубашку и осторожно стал обмывать раны.

— Очень хорошо, просто замечательно, — говорила Ванда Виссарионовна, оглядывая туалет Марианны. — Сейчас именно носят широко в лифе. А куда вы

собираетесь идти дальше? — между прочим любопытствовала Ванда Виссарионовна.

— У вас есть пояс? — спросила Марианна, — а то все-таки широко.

— Сейчас, сейчас, — заспешила Ванда Виссарионовна.

— Вы хотите поехать домой?

— Вот так совсем незаметно, — сказала Марианна. — Правда незаметно?

— Прямо, как на вас шито! — воскликнула Ванда Виссарионовна. — Это платье мне привез Сикочка, когда он ездил провожать наших солдат в Корею. Так вы думаете сейчас идти прямо домой или, может быть, еще куда-нибудь зайдете?

— Очень милая отделка из гипюра, — сказала Марианна.

Я обмыл раны и протянул руку за сорочкой Геморроидальникова. На мне были пижамные штаны в золотую полоску по небесно-лазоревому полю и одна туфля.

Но в то мгновение, когда я хотел облачиться в сорочку, из передней раздался шум открывшейся двери и топот сапог. Я уронил сорочку и выпрямился.

— Ничего, ничего, — забормотала Ванда Виссарионовна, — это Катька ходила за керосином. — Она прислонилась спиной к двери и испуганно глядела на нас.

Кто-то, гремя сапогами, прошел по коридору.

— Вы не беспокойтесь, — беспокойно шаря глазами, промямлила Ванда Виссарионовна.

По коридору протопала еще пара сапог и вдруг дверь рванули. Ванда Виссарионовна отскочила в сторону и на пороге с револьверами в руках показались два милиционера.

— Руки вверх! — рявкнул милиционер.

Я ударил ногой стол, вскочил на подоконник, вышиб окно и, толкнув Марианну, выскочил на улицу.

## Глава VII

Раздалось два выстрела, и на нас посыпались стекла разбитого окна.

Мы снова присели.

— Держи! — орал над нами наполовину вывалившийся из окна Геморроидальников.

Мы бросились бежать в оторону.

— Аркадий, — услышал я за своей спиной и, оглянувшись, увидел Марианну, свернувшую в какой-то пере-

улок. Я бросился за ней, но в это время из-за угла выскочил автомобиль, полный милиционеров и собак, я завертелся на месте, бросился в сторону и юркнул в подворотню. Мимо ворот протявкали собаки и протопали милиционеры. Я залез в помойку, откуда мог наблюдать за улицей. Мимо ворот туда и обратно ходил милиционер. Я ждал. Марианна видела, куда я скрылся. Значит, она ждет меня в соседнем переулке или пробирается сюда. Милиционер ходил мимо ворот туда и обратно. Через двор проходили женщины и выливали на меня помойку. Из квартиры, в окне которой видно было два примуса, выносили помойку 6 раз. Очевидно там варили уху и жарили курицу, потому что на меня больше всего вываливалась рыба чешуя и перья. Если они поймали Марианну, то я пойду в Министерство государственной безопасности и скажу: «Я Аркадий Белинков. Вы схватили мою жену. Больше я ничего не буду писать, ибо я слаб и ничтожен. Зарубите меня». Сапоги остановились в углу ворот, раздвинулись в стороны и ко мне потекла мутная струя. Потом еще приносили чешую, прокисший студень, тухлые яйца, простоквашу, перья, трубочист высыпал ведро сажки, дворничиха вылила известку, а ребятишки бросили двухдохлых крыс, связанных хвостами друг с другом.

Марианна не было. Я не выдержал и с бьющимся сердцем выскочил из помойки. Не думая об опасности, я перебежал улицу и завернул в переулок, на углу которого я в последний раз видел сверкнувшую, как созвездие, Марианну.

Я бродил не таясь по переулку, заглядывал во дворы и подъезды, толкал двери и заглядывал в окна. Иногда меня спрашивали: — Вам кого, товарищ? Или потеряли чего?

— Потерял, — тихо отвечал я и шел дальше.

На мне были пижамные штаны в золотую полоску по небесно-лазоревому полю и одна туфля.

Я возвратился к углу переулку, к тому месту, где потерял Марианну, и опустился на колени.

— Прости меня, любимая, — прошептал я. — Прости меня за горе, которое я принес тебе, за то, что я, борясь за счастье людей, погубил тебя, лучшую и преданнейшую из женщин. Прости меня, любимая.

Силы покинули меня и я потерял сознание.

В этот день над миром пронесли бури. Наверное, больше, чем накануне. И наверное меньше, чем завтра. Лилась кровь, хрустели розовые кости и дымилось

человечье мясо. Горели жилища, скрипели ключи в замках тюремных подвалов, рвались снаряды, и матери хоронили детей.

— Чего разлегся? Пьяный, что ли? — услышал я чей-то далекий смутный голос и почувствовал, что кто-то трясет мое плечо. Я медленно раскрыл глаза и различил в темноте лакированный козырек фуражки и небесно-голубые погоны.

— Ну, ты, вставай, — сказал он.

## Глава VIII

— Товарищ директор, — сказал милиционер, проталкивая меня вперед, — споймал. Пьяный. Валяется, в канаве.

— Я не пьяный, — угрюмо сказал я. — И если бы вы меня не поймали, я сам пришел бы к вам и сказал: — Вот — я. Теперь я в ваших руках. Убейте меня. Теперь мне все равно. Я побежден.

— Ха, ха, ха!.. — захохотал милиционер, — ты бы пришел! Как же, держи карман! Ха, ха, ха!.. Товарищ директор, он бы пришел! Ха-ха-ха!..

— Ну, вот что, — сказал директор, — некогда мне с тобой тары-бары разводить. Хватает с меня и без тебя всяких делов. Живо на место, а то влеплю еще червонец по указу от 40 года и дело с концом. Давай!.. — И он мотнул головой на дверь.

Я переступил порог, взглянул и перед глазами у меня поплыли, расплываясь, красные круги, эллипсы и звезды. Передо мной стояли, сидели, лежали и расхаживали абсолютно голые, полуголые и почти голые люди.

В последнюю минуту я подумал, что мне хотелось бы умереть одетым. Перед моим взором встал эшафот, воздвигнутый на шумной площади, окруженной толпой людей, провожающей в последний путь своего трибуна.

Но вспомнив, что на мне лишь пижамные штаны в золотую полоску по лазоревому полю и одна домашняя туфля с оторванным каблуком, я махнул рукой на все и двинулся к двери, куда, стуча зубами, стремились обреченные люди из категории абсолютно голых.

В это мгновение, расталкивая абсолютно голую очередь, к которой присоединился и я, выскочил обливающийся потом багровый татарин с одним глазом и стоящими дыбом волосами.

— Эй! — заорал багровый татарин, — какой такой есть человек вместо беглый!

Молчание. Люди, стоящие перед страшной дверью, смотрели друг на друга остановившимися от ужаса глазами.

— Эй! — заревел одноглазый татарин, — какой такой человек есть? Зачем молчит? Совсем хуже будет такой человек. — И, вдруг, встретившись со мной взглядом он, не отводя от моего лица единственного своего глаза, двинулся ко мне, багровый, окутанный паром и с дико вздыбленными седыми волосами.

— Помогите! — тихо вскрикнул я и в ужасе попятился назад.

Одноглазый татарин схватил меня за плечо раскаленной рукой и зловеще кивнул кому-то, стоявшему сзади. Через мгновение передо мной вырос человек, державший в каждой руке по огромной бритве.

— Какой такой человек этот есть? — спросил татарин.

— Этот самый, — сказал палач и равнодушно почесал подмышкой. — Это заместо Алехи Кривого наняли. Алеха, значит, ушел, а этот заместо его. Только уж больно жидковат. Не стерпит. — Он нагнулся, что-то высмотрел на моем животе и, сморщив нос, сказал: — Жила у него хлипкая, не стерпит.

Голая толпа вокруг нас зашпорилась:

— Нет, этот не стерпит. Антисемент. У ихнего брата завсегда жила хлипкая.

— Ничего, малость пообвыкнет.

— Какой? Этот? Да он впервоочасье в портки наложит.

— Снимай штаны, — скомандовал татарин.

Я сжал кулаки и не шевельнулся.

Палач попробовал бритву на собственном затылке.

— Снимай штаны, — рявкнул татарин.

Палач несколько раз скользнул по ремню бритвой.

Татарин, видя, что я по-прежнему не шевелюсь, дернул мои штаны. Щелк с треском порвался. Я остался в одной домашней туфле с оторванным каблуком.

Палач, держа в вытянутой руке бритву, медленно приблизился ко мне, нагнулся и протянул руку. Я взвизгнул и толкнул его ногой в лицо.

— Ты чего, ошалел что ли? — обиженно спросил человек с бритвой, поднимаясь с полу и запихивая в рот протезированную челюсть, — вроде псих какой-то. Придет директор, с ним объясняться будешь. Веди его, Азамат.

Я наклонился над своими разбитыми очками.

— Для гигиены, дурак, — сказал кто-то из толпы. — Учит их советская власть культуре, учит, учит, а все толку нет.

— Шайтан человек совсем есть, — проворчал татарин, покачивая головой, и, схватив меня за руку, потащил за собой.

Горячим паром, визгом и лязгом обдало меня. В раскаленном тумане бродили бледно-красные тени. На каменных лавках лежали полумертвые люди с безнадежно и уже безразлично запрокинутыми головами. И этих людей били, щипали, обливали кипятком или, возможно, расплавленной серой и царапали такие же, как и они, несчастные голые люди.

— Здесь становись будешь, — сказал татарин и указал мне на пустую лавку.

В минуты, когда человеку становится нестерпимо тяжело и перед ним встают категории жизни и смерти, он утрачивает чувство, отличающее истинные удельные соотношения событий, происходящих в движущемся вокруг него мире. Страшна жизнь человека, ибо он не в состоянии отличить шуток от трагедий всемирной истории народов.

## Глава IX

Оказалось, что милиционер, увидев на пороге бани голого человека, принял меня за спившегося банщика, директор — за прогульщика, а банщик — одноглазый татарин — за вновь нанятого коллегу.

Столь неожиданно превратившись в человека с определенным общественным положением и получив временную передышку, я решил использовать свою нынешнюю частичную легальность и возможные в новой обстановке связи для самых решительных и тщательных розысков Марианны.

— Этот момент должен стать переломным в моей жизни, — подумал я. — Все, что было сделано до оих лор, было не больше, чем закладывание в затвор патрона. Но помните, за мной еще выстрел, уважаемые товарищи!

— Товарищ банщик! — окликнули меня. Я с профессиональной щеголеватостью скользнул по липкому полу и остановился перед клиентом. Он был розов и толст.

— Доктор, — сообразил я, в новой обстановке начиная делать обычные профессиональные наблюдения.

— Прошу, — пригласил я доктора.

— Ой! — заорал доктор, — горячо!

— Сейчас, — любезно сказал я и побежал за другой шайкой.

— Ой, — заорал доктор, — холодно!

— Экий беспокойный клиент, — подумал я с досадой. — Никак не угодишь. Очевидно, доктор любит золотую серединку, скептически заметил я про себя. И вспомнив профессиональную привычку чистильщиков сапог, парикмахеров и, по моим соображениям, так же и банщиков, решил развлечь клиента, любящего золотую середину, разговорами на абстрактные темы.

— Теперь хорошо? — спросил я.

— Самый раз, — ответил клиент.

— Скажите пожалуйста, — начал я, — вы не находите, что концепция звездных туманностей не приближает нас к решению вопроса о генезисе первичного белка? А?

— Потихо, пожалуйста, — попросил клиент, — глаз выдавите. И еще, пожалуйста, ногу немного подвиньте, а то у меня это ухо больное. Большое спасибо.

— Извините, — сказал я. — Так как же насчет белков?

— Насчет белков, видите ли... — промямлил пациент, — это лишний раз доказывает правоту марксизма-ленинизма. Глаз! Глаз!!

— Извините, — сказал я. — Совершенно верно. Это, конечно, еще лишний раз подтверждает правильность нашего родного марксизма-ленинизма. А как вы рассматриваете проблему более упрощенного получения изотопа урана? Вот как в газете, в которой было завернуто ваше мыло, написано об этом, прочтите, пожалуйста.

— Не выйдет, — сказал клиент. — Как раз оставил очки в предбаннике. Как думаете, не сопрут?

— Ну, что вы, — воскликнул я, — у нас этого не было. Раньше, конечно, при царизме бывало, а сейчас, во все годы существования советской власти — никогда. К сожалению, я тоже без очков. Черт, очки потерял! Понимаете, сегодня у меня день, полный самых удивительных приключений, во время одного из которых я потерял свои очки. Очень обидно: хотелось почитать, что пишут в газете, в которую завернуто ваше мыло, про изотопы урана. Может, вы знаете?

— Э-э... Видите ли... — невнятно пробулькала клиент, — возьмите, пожалуйста, у меня изо рта мочалку, а то у меня руки в мыле. Большое спасибо. Э-э... Видите ли, именно проблема более упрощенного получения изотопа

урана лучше всего доказывает незыблемую силу марксизма-ленинизма.

— Совершенно верно, — сказал я. — Именно эта проблема доказывает незыблемость. Вас как, можно шайкой по голове для массажа, товарищ доктор?

— Нет, — сказал клиент, подумав, — не надо шайкой по голове. — Потом добавил: — Я не доктор. Я критик.

— Что? Ах! — воскликнул я, и шайка, выскользнув из моих рук, все-таки с громом промассировала критика по башке.

— Простите, — сказал я, — тогда понятно.

— Что? — поинтересовался критик.

— Я говорю: очень рад отмыть от грязи [вариант: намыливать холку] советского критика!

— большое спасибо! — сказал критик.

— Вы из каких же будете? — осведомился я, — из критиков-космополитов или из критиков-патриотов?

— Что?! — заревел клиент, — я критик-космополит?!

Он замотал головой, и шайка зазвенела на ней, как колокол.

— Я первый начал разоблачать этих ничтожных антипатриотов! — гремел он, — а какой-то, извините, банщик, который даже не может прочитать газету, в которую я заворачиваю мыло, смеет так меня оскорблять!!

Он сдернул с головы шайку и, вскочив, приблизил свою заляпанную мылом морду к моему носу.

— Ермилов! — закричал я.

— Белинков! — закричал он.

И о громким воплем мы разлетелись в разные стороны.

## Глава X

Шипя мыльной пеной, я влетел в топчущееся в предбанника стадо с намыленными головами, мотавшимися с бляением из стороны в сторону. Распихав баранов и колотя их по бараньим мордам, я вырвался из бани.

Опять за моей спиной кричали: — Держи-и-и!..

Теперь у меня ничего, кроме программы с аморфной позитивной частью не было. У меня не было ни рукописей, ни библиотеки, ни жены, ни очков, ни даже домашней туфли с оторванным каблуком, погибшей в неравном бою с банщиками. Я был сам собой. Человек и концепция. Человек-борец с врагом-государством. Его концепция была справедливее и гуманнее концепции

государства. Но концепция государства была сильнее его концепции. И поэтому был не прав он, а не государство. Государство с менее справедливой и гуманной концепцией бежало за ним, громко крича: — Держи-и-и!! В истории нет ни умных, ни глупых, ни справедливых, ни гуманных концепций. Есть концепции сильные и слабые. Концепция Алариха была сильной и поэтому она победила умную Римскую империю. Что касается ее ума, то когда она победила, ум сразу же был доказан всеми при ближайшем участии самих римлян. Силой можно заставить сделать все. Даже гениальные симфонии, поразительные фрески и прекрасные отречения сына от отца. Под авторитетным воздействием силы самая губительная идея обретает как-то не бывшую ранее заметной убедительность и приобретает адептов с докторскими диссертациями и избирателей, с воодушевлением опускающих в урны свои бюллетени. Чему мы имеем большое количество примеров в прошлой и настоящей истории народов.

И поэтому не было ничего удивительного в том, что за моей спиной раздались крики: — Держи! Держи его! Хватай! Чего глаза пялишь, за ногу его хватай!

Я завернул в переулок и заскочил в подворотню.

Мимо меня, пыхтя, прошлепало толстое буро-розовое мясо с розовыми ляжками, оставляя за собой мыльные кляксы. И все стихло.

Когда эта клякса на истории русской литературы скрылась из глаз, я вылез из подворотни.

Вечерний город, завыл, заворочался и задышал, коротко и часто. Площади оскалили челюсти, утыканые электрическими лампами. Стада самцов, самок и детенышей их, влетевших в ущелья улиц под прикрытием сумерек и тумана, убивали, грабили, насильовали, доносили, допрашивали и поджигали, строя свое счастливое коммунистическое завтра.

— Караул! — кричали они.

— Дави его промеж ног! Дюжее!

— Да здравствует наша могучая Советская Армия!

— Сапоги упер, сапоги! Прямо, как есть, с живого ходу!

— Режут!!

— Держи-и-и! — прокричали сзади меня. Я вздрогнул и бросился вперед.

По дыханию, топоту и силе порыва, опытом познавший многие тезисы бытия, я понял, что за мной гонится цех банщиков, стая милиционеров, Президиум Союза

советских писателей и представители обществ содействия.

— Не уйдет, — сдавленно продышал банщик, нажимая.

— Куда ему! — прохрипел автор популярных в народе симфоний.

Я задыхался. — Марианна, — хрипло шептал я, — я погибаю. Что будет с тобой?! Кто спасет тебя, любимая?!

Щелкнули зубы за моей спиной, когти рванули мое плечо и я, взыв, метнулся в сторону и упал. С визгом затормозило автомобильное колесо у моей шеи. И кто-то, схватив меня за ноги, вытащил из-под автомобиля. Я сидел на мостовой, и, лязгая зубами, озирался.

— Зарезал! Зарезал! — заорал чей-то пропитой голос.

— Ну как? Ничего? — спросил, нагнувшись ко мне, молодой человек из добровольного общества содействия. — Не зашибло?

— Ничего, в мякоть попал, — ответила, сочувственно поглядывая на меня, красивая молодая женщина.

— Вы дальше бегите! — скомандовал кто-то, — а мы тут сами справимся.

Он нагнулся ко мне и спросил: — В каком направлении он скрылся? Вы только укажите, а сами не тревожьтесь. Мы вас сейчас устроим, товарищ Ермилов.

— Что? — спросил я и поднял глаза.

— Я говорю, укажите нам, куда он скрылся.

— Кто? — спросил я.

— Ну, этот, как его...

Сзади раздались голоса хорошо мне знакомых членов Президиума Союза советских писателей: — ...Аркадий Белинков, космополит и выпендреш формалистов!

— Хорошо, — сказал я и протянул руку в ту сторону, куда прошлепало розово-бурое мясо с толстыми ляжками, принадлежавшее Владимиру Владимировичу Ермилову экс. редактору «Литературной газеты» и лауреату.

Взревев, цех банщиков, стая милиционеров, Президиум Союза советских писателей и представители обществ содействия ринулись вперед. А я, ставший Владимиром Владимировичем, экс. редактором и лауреатом, только потому, что хитро оказался не впереди, как полагается убегающему, а позади, был сдан под присмотр за моим едва не раздавленным колесом здоровьем случайно оказавшейся в погоне молодой женщине, покрасневшей от удовольствия быть полезной русской литературе в лице ее замечательного представителя В.В. Ермилова.

## Глава XI

В это мгновение вдали раздался дремучий рев, и молодая женщина, обернувшись к своему мужу, низким, звучным голосом с тихой радостью сказал: — Пойман. Все кончено.

— Бежим. Дорога каждая минута! — вскочив с мостовой, воскликнул я.

Молодая женщина улыбнулась и посмотрела на меня светящимися глазами.

— Сюда, — сказала она и, отворив дверь, пропустила меня вперед.

## Глава XII

— Она! — взвыл вырвавшийся вперед банщик, заметивший топающее посередине проспекта голое мясо. Увидев, что их усилия не пропали даром, цех банщиков, стая милиционеров, Президиум Союза советских писателей и представители добровольных обществ нажали еще крепче и, рванув что есть силы, навалились на бегущего.

— Кар! — пискнул он, сшибленный ударом по башке, и, оказавшись на мостовой, громко добавил: — ул!!

— Попался, голубчик! — визжала толпа, — притопывая танец победы. — Попался! Ха-ха-ха! Стервятница!!

— И здоров бегать, паскуда! Ишь, какой конец отмахал.

— А жирный-то, жирный! Глянь-ка, ципки-то висят, як у бабе!

— Это не я!! — обомлев, заорал Владимир Владимирович. — Это он!! Я всегда правильно делал! Спросите у Ковальчик!

— Нет, брат, шалишь, теперь, брат, не то, — подвывая от счастья победы, тихонько сказал один доброволец и, изловчившись, как двинул Владимира Владимировича сапогом в пах.

Владимир Владимирович, обхватив руками живот, взвыл и снова сел на мостовую.

— Не то? — переспросил он, — как не то? Уже не надо? Пожалуйста. Я не буду, если не надо. Будем издавать его книгу. Я еще вчера говорил. Спросите у Ковальчик. Товарищ Ковальчик, я говорил? Я же говорю, что я говорил. Раз партия, правительство и лично товарищ Сталин говорят, что не надо...

— Чего скулишь, сука! — проскрежетал урка из Президиума Союза советских писателей и саданул Владимира Владимировича по хребту фонарным кронштейном.

— Ох, — взвизгнул Владимир Владимирович и, не помня себя, вцепился зубами в брюхо урки из Президиума Союза советских писателей.

Урка заревел благим матом и навалился на Владимира Владимировича. На них посыпались банщики, милиционеры, члены Президиума и добровольцы.

Над кровавым месивом человеческого мяса завихрился дымок и начали пробиваться узкие язычки голубоватого пламени.

Отрывая вцепившуюся в его живот челюсть, член Президиума Союза советских писателей вдруг замер, нащупав рукой до галлюцинации близко знакомые ему зубы.

У него остановилось дыхание. Он рванул вгрызавшуюся в его внутренности голову и закричал длинно и тонко.

В зубах у головы болтался лоскут мяса и на обрывке штанины — пуговица.

— Ермилов!.. — прошептал он.

Ермилов близоруко сощурился и вдруг его нижняя челюсть отвалилась и кровавый лоскут мяса и пуговица на обрывке штанов упали на мокрые камни.

— Стойте! — тонко заорал член Президиума Союза советских писателей. — Стойте! Братцы, да ведь мы же фраернулись! Честное слово, фраернулись! Да ведь это ж не тот!

На них был плотный слой банщиков, выше слой добровольцев, над добровольцами слой милиционеров и на всех слоях, вещая принципы содружества, прыгали, топали, орудовали ломами и протыкали все месиво длинными железками члены Президиума Союза советских писателей.

Загнав ногу, обутую в охотничий сапог, в хайло рычащего над ним банщика член Президиума, изловчившись, подмял банщика под себя и в освободившееся в пласту место влез сам и воткнул заднюю часть Владимира Владимировича. Что им руководило, этим человеком, дважды познавшим зубы Владимира Владимировича? Только социалистическое отношение к действительности, помогшее ему уяснить, что Владимир Владимирович хоть и враг, но свой, а вот Белинков это дело совсем иное. Ободренный Владимир Владимирович,

висевший на собственной заднице, понявши, что теперь дело не в нем, быстро работая сильными челюстями, вооруженными легкими, но острыми и крепкими зубами со специально надетыми на них коронками из нержавеющей стали, зажатый в щели верхнего пласта вывернулся и перегрыз пополам висевшего над ним дворника. Верхняя половина дворника с открывающимся и закрывающимся ртом свалилась вниз и Владимир Владимирович, бросив опознавшего его члена, протискался на толщину целого пласта.

— Нет, — сказал он, — надо действовать решительно, а то в этой действительности, с еще не изжитыми до конца отрывками проклятого буржуазного прошлого и совсем недавнего капиталистического, и вовсе околеешь. Сказав это, он прогрыз в туловище лежавшего над ним не то банщика, не то милиционера круглое отверстие, просунул в него голову и увидел сверкающее сияние родной столицы, воли, советской действительности и на глазах его проступили слезы.

— Братцы! — вскричал он, — что же мы делаем, ведь своих же, свои же хаваем, как в 37 незабываемом году! Да ведь так нас, самых советских-то, и вовсе не станет. Кто же коммунизм-то строить будет, братцы? Аркадий Белинков с Черчиллем что ли? Перед лицом великих задач, стоящих перед нами, призываю вас не хавать друг друга!

## Глава XIII

Она высвободила руки из-под одеяла, закинула их за голову и упиравшись ступнями в спинку кровати, потянулась, выгибая спину и певуче зевая. Потом раскрыла глаза и удивленно огляделась по сторонам. Длинные клинки солнца дрожали, воткнувшись в желтый пол. Не дыша лежала она, низко запрокинув голову с прищуренными веками, слегка касаясь груди кончиками прохладных влажных пальцев. Она сбросила одеяло и, но поправ одной ногой в заячью туфлю, подбежала к сияющему окну и распахнула его. Потом надела туфлю, выправив пальцем смятый задник, зевнула, подобрала на затылке легкие волосы, набросила на плечи халат и вышла из комнаты.

Начинался необъятный и скучный день. Она знала, что он будет тянуться, медленно разматываясь и цепляясь за уборку квартиры, за журнал «Октябрь», с прозой, похо-

жей на серое тягучее вязанье, и стихами, похожими на запыленные стекла, за хождение в гастроном, за штопку чулок, зевание у окна, вытаскивание из ящика какой-то газеты, ворчание в радиоприемнике, из которого можно извлечь лишь сельскохозяйственную передачу, объявление о найме рабочей силы и беседу в помощь изучающим историю ВКП (б), за драку ребятишек на дворе, за возвращение с работы мужа, за длинную и нудную кишку дворника, брошенную на мотовую и источающую с кашлем мутную перекрученную, как кнут, струю.

Зевая, она водила по спинке дивана влажной тряпкой; потом медленно и долго, разбрызгивая воду, умывалась; потом сидела перед зеркалом, лениво перебирая волосы; потом она разбила яйца и уронила в сковородку скорлупу, попыталась извлечь ее длинным лакированным ногтем, но скорлупа раскрошилась, и она, вытащив крупные осколки, махнула рукой на остальные; лежа на диване, она читала журнал «Октябрь»; глаза ее скользнули по строчкам прозы, похожей на серое, скучное вязанье, и стихов, похожих на запыленные стекла; она долго распутывала нитки, клубок, выскользнув из рук, закатился под буфет, она доставала его линейкой, потом венником, потом щеткой; нитки зацепились за ножку буфета; стоя на корточках, она распутывала нитки... День был длинный, запущенный, запутанный, ненужный и не имеющий решения [вариант: ответа на непоставленные вопросы].

В деревне под Москвой у матери жил поросенок. Каждое воскресенье муж заправлял свою трехтонку и ездил проводить поросенка. Возвращался он вечером и, шумно умываясь, кричал жене:

— 400 грамм прибавил! Ты знаешь, как я пришел к нему, он как хрюкнет! Заколем ко дню Сталинской конституции, вот увидишь, сало будет на большой!

После окончания какого-то института она поехала в деревню и под утро, оглушенная горьким самогонным вином, махорочным дымом и криком гармошки, обессиленная головной болью и тошнотой, вышла замуж.

Жизнь ее в Москве медленно разматывалась и цепляясь за уборку квартиры, завтраки, тягучее чтение журнала «Октябрь», штопку чулок, за хождение в гастроном, зевание у окна, вытаскивание из ящика какой-то газеты. Петли дней связывались в сонный, обматывавший ее шарф бытия, и грозные раскаты всемирной истории не будили ее громом и молниями.

— Жена, — кричал муж, хлопая намыленными ладоня-

ми по оттопыренным ушам, — собирайся, завтра покатым Розьку глядеть. Ты знаешь чего? Пойдем свинушке сегодня красную ленту покупать? А?

— Ладно, — сказала она, зевнув, — иди, суп простынет.

После обеда он надел новые сапоги, отогнул белые манжеты голенищ, осмотрел задник сапога, повернув голову через плечо, и они вышли из подъезда.

— Ты взяла торбу? — спросил муж, — надо бы припасть пшена, а то скоро [зачеркнуто: наверное] перестанут давать.

И в это мгновение раздался крик, метнулись длинные тени и у ног их завертелось что-то голое, покрытое розетками мыльной пены.

Автомобиль, рванув тормоза, остановился, упершись колесом в тело.

— Зарезал! Зарезал! — закричал кто-то.

Она дернула мужа за рукав и протискалась к вытащенному за ноги человеку. Он сидел на мостовой, лязгая зубами и озираясь.

— Ну, как? Ничего? — сочувственно спросил кто-то.

Она нагнулась к пострадавшему и, больше успокаивая его, чем определяя истинное положение вещей, мягко сказала:

— Ничего, в мякоть попал. Пройдет.

— Вы вот что, — сказал высокий мужчина с седыми волосами и розовым лицом пропойцы, — окажите здесь первую помощь товарищу лауреату сталинской премии, редактору «Литературной газеты», замечательному нашему критику Ермилову, а мы бежим дальше догонять. Некогда.

Они с криком и гиканьем бросились дальше, а голое тело, оказавшееся Владимиром Владимировичем Ермиловым, экс. редактором и лауреатом, было сдано под присмотр за его едва не раздавленным колесом здоровьем, молодой женщине, покрасневшей от удовольствия быть полезной русской литературе в лице ее замечательного представителя В.В. Ермилова. Услышав вдали дремучий рев погони, Владимир Владимирович Ермилов вскочил на ноги и воскликнул: — Бежим! Дорога каждая минута!

## Глава XIV

Меня усадили на диван и дали на первый случай полотенце препоясать чресла.

Супруги шумно толкались по квартире, хлопоча о горячей воде и одежде.

— Интересно узнать, — спросил муж, пронося через столовую гремящее цинковое корыто, — а какое жалование платят писателям за работу?

Меня трясла лихорадка и я попросил воды.

Супруги хлопотали на кухне. Я слышал плеск воды, шум отодвигаемых стульев и звон посуды.

— Товарищ Ермилов, — позвала меня милая молодая женщина, — пожалуйста, — и, пропустив меня в кухню, затворила за собой дверь.

Я сидел в корыте и задумчиво размешивал пальцем воду. Клубящиеся обрывки мыслей проносились в моей голове, и я не в состоянии был сосредоточиться на прошедшем.

— Сейчас они догонят настоящего Ермилова, — промелькнуло у меня в голове, — и все будет кончено. Надо бежать отсюда, одеться и бежать. Бежать, бежать и бежать...

Тело мое наливалось тяжестью и цепенело.

— ...бежать, бежать, бежать... — шептал я и чувствовал, что вода захлестывает меня, заливая рот, ноздри, уши; гудящая серо-зеленая масса воды обступает меня и я — тону.

— Помогите! — закричал я, — помогите!

— Вам чего? — услышал я чей-то далекий голос и поднял голову. По моему лицу текла вода, отекала на грудь и капала в корыто. Я глубоко вздохнул и выпрямился.

— Вам чего? — негромко повторил мужской голос из-за двери.

— Благодарю вас, — сказал я, — ничего, это я так.

— А-а... бывает, — заметил мужик. Потоптавшись за дверью, он кашлянул и спросил меня:

— А интересно узнать, вы чего покупали на сталинскую премию? А?

Ванна несколько освежила меня. Облекшись в гимнастерку, галифе и тапочки мужа, я вышел из кухни.

— Садитесь пожалуйста, — сказала мне милая молодая женщина, придвигая стул. — С легким паром. — И посмотрела на меня, улыбаясь длинными, как лодочки, глазами.

Меня лихорадило. Я не мог ничего есть.

— Кушайте, — попросила милая молодая женщина и голос ее дрогнул.

Черные ручьи медленно потекли по чайной скатерти,

омывая чашки, блестя и покачиваясь. Я вздрогнул и выпил воды.

— А интересно узнать, — поинтересовался муж, отчего нынче не пишут, как при царе? Читал я когда-то книжку про капитанскую дочку. Жалко только, конец оторван. Толково написано. Вы, небось, читали? Или еще про Ивана-Царевича. Вот это настоящая книжка.

Милая молодая женщина покраснела и, опустив глаза, попросила мужа нарезать еще хлеба.

— Благодарю вас, — сказал я. — Мне неудобно, что я причинил вам столько хлопот. Я сейчас пойду домой.

— А в чем вы пойдете? — спросил муж. — Ведь вы совсем нагишом.

Милая молодая женщина попросила мужа нарезать хлеб.

— Чего резать-то столько? — удивился муж. — Только зря сохнет. Еще четыре куска осталось. Как истребим этот, тогда и нарежу. А мы вот что сделаем: я пойду с вами вместе, а у своего дома вы снимите мои шмотки и пойдете домой. А кто это, там на улице велел нам прибрать вас к себе? Не заметили случайно?

— Генеральный секретарь Президиума Союза советских писателей товарищ Фадеев, — сказал я, опустив голову.

— Нет, — сказала милая молодая женщина, — товарищ Ермилов останется у нас ночевать. Куда вы поедете ночью? Оставайтесь.

— Ага, — сказал муж, — правда, пускай они останутся. Ничего не имею. А завтра мы поедем к своей свинухе и подкинем вас до дому. Эх, товарищ Ермилов, поглядели бы вы на нашу свинуху! Она, хоть и ходит еще, ко дню Сталинской конституции припасаем, а уж сейчас, как поглядишь на ее сзадю, прямо... (он поднес к губам сложенные щепотью пальцы и чмокнул.) Жена, ты бы спросила у товарища писателя, какое [покрасивше] имя-то ей дать. А то, Розька, да Розька, нешто это имя в нашу эпоху? С прокормом только сейчас неважнец. Помою нехватка.

— Да, что вы! — удивился я, — помоев, мне кажется, сейчас сколько угодно. Тут совсем близко есть один двор, так там в помойную яму понатаסקали за каких-нибудь полчаса 18 ведер рыбьей чешуи, прокисшего студня, яиц, простокваши, известки, перьев и сверхтого еще двухдохлых крыс, Я же знаю, я сам там сидел!

— Где? — спросил муж.

Я вовремя опомнился и пробормотал:

— Вот, точного адреса не могу вам назвать. Завтра, когда поедем, покажу.

— На большой! — воскликнул обрадованный муж, — житуха, Розька! Жена, завтра пойдем на помойку! Вот, товарищ Ермилов укажет. А как же это вы, товарищ Ермилов, штаны утерjali?

— Украли, — угрюмо пробормотал я. — В бане.

Меня лихорадило. — ...бежать, бежать, бежать... — беззвучно шептал я, на короткие мгновения теряя сознание, и снова пробуждался.

— Чего? — спросил муж.

— Товарищ Ермилов очень устал, — приблизив голову к моему лицу, сказала милая молодая женщина. — Ложитесь отдыхать, товарищ Ермилов. Я сейчас приготовлю. Может быть сообщить вашим родным?

— Нет, нет! — закричал я, — не надо сообщать родным. — И потерял сознание.

## Глава XV

Как выяснилось впоследствии, помирал я медленно и долго. Когда я пришел в себя, все удивленно переглянулись.

— Порядок, — сказал муж, — а мы думали, что врежете дуба, товарищ Ермилов.

Он был очень доволен началом моего выздоровления. — Жалко, так и не указали помоев для Розьки. Теперь уж наверное все разобрали. Ну, я отрываюсь [вариант: выматываюсь]. Жена, ты тут с товарищем писателем придумайте Розьке какое покрасивше имя. [нрзб. 3 слова]

Попытки пересилить себя, выздороветь, встать ни к чему не приводили. Болезнь коленом придавила меня к постели и, чем упорнее я старался высвободиться, тем больше терял сил. Я сдался.

— Владимир Владимирович, — тихо сказала милая молодая женщина, — не надо расстраиваться. Полежите немного и все пройдет. — Она поправила подушку и коснулась ладонью моих волос.

— Спасибо вам, милый мой, хороший мой друг, — прошептал я и почувствовал, что глаза мои полны слез.

Она ничего не сказала и медленно вышла из комнаты.

— Марианна, — прошептал я, — что с тобой? — И закрыл глаза, боясь думать о том, что стало с Марианной.

Так же трудно было узнать, почему меня до сих пор не схватили.

— Шура, — спросил я милую молодую женщину, — меня никто не спрашивал?

— Нет, — сказала она. Потом, подумав, добавила: — Из милиции один чужак приходил. Говорил, у вас должен быть какой-то Аркадий Белинков. Скажите мне, Владимир Владимирович, то, что пишут наши писатели, это все правда?

— Что? — спросил, появляясь в дверях муж, — а как же? Что они, американские писатели, что-ли? Пишут про свою родную советскую власть, а не про американскую! Чего ты шляешься здесь все время? — нахмурившись, спросил он жену.

Она неподвижно стояла, устремив на мужа длинные лодочки сощуренных глаз.

— А?.. — сказал я. — Вы уже вернулись? Ну, как дела? Да, я все хотел спросить, на помойку так и не сходили?

— Дела ничего, — проворчал он. — А на помойку как же я пойду, когда вы ее скрываете.

— Что вы?! — воскликнул я, — пожалуйста! Я только сам не могу вас проводить. Я объясню вам и вы сходите.

— Правда? — заинтересовался он, — а ну-ка, растолкуйте.

Я объяснял ему, как найти помойку, чертил план города на папиросной коробке, он переспрашивал, водил пальцем по чертежу, затем, повторив маршрут, подмигнул мне и ушел, размахивая ведром и лопатой.

— Шура, — тихо сказал я, — не обращайтесь внимания. Все пройдет, все будет хорошо. Не надо, милая.

— Да, да, — быстро ответила она, — все будет хорошо. Скажите, Владимир Владимирович, когда человек что-нибудь делает, что он должен слушать, голос рассудка или голос сердца?

— Голос грядущего, — сказал я. — Когда я думаю о своих поступках, в моем воображении встают дети, и я стараюсь ответить так, чтобы их жизнь была счастливее нашей жизни.

— У вас детей нет и у меня нет, — тихо сказала она, — может быть, если бы у меня были дети, мне легче было бы думать о будущем. Почему я так несчастлива, Вол..., Владимир Владимирович?

— У меня будет дочь. Обязательно будет дочь, — воскликнул я, — она будет исполнением моих несбывшихся надежд, неисполненных желаний, незавершенных замыслов, [вариант: планов, попыток] намерений [в

скобках: свершений]. Наши дети — это не только не пережитое нами будущее, но исправление ошибок нашего прошлого!

— Голос рассудка, голос сердца... — опутив голову, тихо сказала она. — Говорят, что золотой век уже был. Тогда нам больше нечего делать. И нашим детям нечего делать. Скажите, Володя, прошел ли уже золотой век? Будет ли еще золотой век?

Я молчал. Я знал теперь, что в государстве мужа этой женщины, если я смогу что-либо сделать, то лишь сделать тайно.

Я спрашивал ее: — Я ничего удивительного не говорил в бреду, что бы вас удивило?

— Нет, — отвечала она, подумав. — Вы ничего удивительного не говорили. Что-то об аморфности позитивной части программы и о шестой социальной формации.

— А-а-а... — сказал я.

Я молчал.

Я не хотел раскрыть ей тайну золотого века.

— Почему вы молчите? — спросите она и тихо добавила: — Мой муж недоволен тем, что я так часто бываю у вас.

Гремя ведром, в комнату влетел муж.

— Какие там помои?! — кричал он. — Нешто это помои! Дведохлые крысы. А еще чего? Лампочка электрическая 25 свечей, разбитая, горло от бутылки из-под портвейна №18, да тряпки разных цветов? Нешто это годится на корм животной? Таскался, как дурак, только. Навалил тут с три короба: Помои, помои! И тебе рыба чешуя, и студень, и то, и это, и пятое-десятое. А на деле-то, кроме двухдохлых крыс, пшик один оказался. Помои! Небось, пока я там по помойкам ползал, они здесь тарыбары, шуры-муры, тете-мете, фигли-мигли, совсем другим делом занимались. Муж по помойкам ползает, всякую копейку в дом тащит, а она тут цельный день с чужими мужиками шляется?!

— Послушайте, — сказал я, — если мое присутствие хоть в какой-то мере вам неудобно, то я сейчас же уйду. Я не привык быть в тягость кому бы то ни...

— Товарищ Ермилов! — воскликнула она и, вспыхнув, обернулась к мужу, — Как тебе не стыдно?! Больной человек, лауреат Сталинской премии, награжденный правительством медалью за оборону Москвы, которую он, не щадя своей крови, оборонял в Куйбышеве, где он был всю войну! Как ты, советский человек, в эпоху,

когда мы не сегодня-завтра вступаем в первую фазу коммунизма, можешь позволять себе такие пережитки проклятого прошлого?!!!!

— А чего я позволяю? — отступал несколько опешивший муж, — я говорю, ничего там нету на помойке толкового. Иди, проверь сама, если не веришь.

Милая молодая женщина уголком губ улыбнулась мне и, обернувшись разгневанным лицом к смешанному с грязью супругу, возмущенно воскликнула: — Мне стыдно за тебя перед членом Президиума Союза советских писателей!! — И вышла из комнаты.

— Ох, уж эти мне бабы, — почесав под мышкой, со вздохом сказал муж. — Как шлея под хвост попадет... Чего это с ней? Как живем мы вместе, такого не было. Положите вы на это дело с прибором, товарищ Ермилов. Ничего, пришабритя.

## Глава XVI

По утрам я вставал с постели и, поддерживаемый под руку моим новым другом, выходил на балкон. Она срывала лучший цветок (цветы росли в ящиках, подвешенных к перилам балкона) и с грустной улыбкой дарила его мне.

Над необъятной, просыпающейся столицей медленно плыли облака, растворяя в крепкой синеве неба багровые подтеки впитанной за ночь крови. Грохот громадного города, хрустящего суставами, ворочающегося и зевающего спросонья, давил писки зарезанных, пытаемых, задушенных, изнасилованных и растерзанных, прописанных и непрописанных в ней жителей.

— Ах, если бы можно было прожить так жизнь, — едва слышно сказала она, — в этой тихой свежести августовского утра, рядом с человеком, которому веришь, которого ценишь. Скажите, Владимир Владимирович, счастье в этом?

— Нет, — сказал я. — Счастье не в этом.

Я боялся за эту женщину, ничего не подозревая жившую рядом с моей тайной, которая в любое мгновение могла, взорвавшись, погубить ее.

Я молчал. Моя жизнь была посвящена подвигу. Я знал, что могу погибнуть в любое мгновение. Смысл моей жизни был в том, чтобы погибнуть, принеся людям больше счастья. Больше счастья людям золотого века. Я ничего не сказал ей о тайне человеческого счастья. Я

сжал зубы, как сжимают предохранитель на пистолете.

— Почему вы молчите? — спросила она, — Владимир Владимирович. Скажите мне, почему я так несчастлива? — В глазах ее стояли слезы.

— Вы знаете, как Фауст прочел первый стих Евангелия от Иоанна? — спросил я. — Вначале было дело. Счастье нельзя получить ни по наследству, ни в дар, ни в магазине за деньги. Его можно только сделать. Главным образом, самому, не особенно рассчитывая на помощь соседей. А вы? Вы ничего не делаете, милый мой друг, не только для обретения счастья, но даже для получения удовольствия.

— Я ничего не умею делать, — сказала она.

— А что вы хотите делать?

Она молчала.

— Вероятно, раньше, чем что-то делать, нужно знать, для чего собираться это делать. Счастье, счастье... что вы видите, говоря это слово?

— Что я вижу? — удивленно переспросила она. — Конечно, я вижу коммунистическое общество, которое мы строим. А что?

— А-а-а, — сказал я, с солидностью кивнув головой, — о чем же вам тогда беспокоиться, если у вас такое ясное представление об этом предмете? Тогда вы должны немедленно включиться в общую работу по построению этого общества. Например, штопать носки мужу или делать то, чему вас учили в каком-то институте, и дело в шляпе.

— Нет, — сказала она, — я знаю, что это прекрасно — коммунизм, но у меня к нему такое же отношение, как к чему-то безусловно очень хорошему, но такому, что никогда не видела и не ощущала. Например, Африка. С детства мне казалось, что самое интересное — это Африка. Или марципан. Говорят, что это самое вкусное. А я никогда не ела марципана. Можно ли полюбить человека, не узнав его? Вам скажут: — В таком-то городе живет самый умный, самый добрый, самый красивый и самый талантливый человек. Полюбите его. — Можно ли его полюбить? Может быть, я действительно полюбила бы Африку, или марципан, или самого умного, самого красивого и самого доброго человека, но нельзя полюбить то, чего никогда не видел и не узнал.

Я взял ее за руки и, глядя в длинные влажные глаза ее, сказал:

— Наш век — век человеческого мяса. Борьбы за человеческое мясо. Идея необъятных возможностей поло-

жила под топор высшую нервную материю и от человека осталось только то, что годится в пищу людям [зачеркнуто: имеющим идеи] путем захвата владеющих идеями. В мире всего две идеи: одна настаивает на том, что человеческое мясо принадлежит ей. Другая требует себе человеческого мяса. Что касается качества этих двух диаметрально противоположных идей, определяющих характер нашего века, то оно выяснится после того, как станет ясно, на чьей стороне победа. Так как всем известно, что побеждают, разумеется, только самые лучшие идеи.

— А коммунизм? — спросила она, шагнув ко мне.

— Ну, конечно! — воскликнул я. — Я же не говорю, какая из этих идей лучше. В этом-то и вся штука. Человечье мясо коммунизма!

— Хорошо, — сказала она и, тяжело дыша, вплотную приблизилась ко мне.

— Может ли быть счастливо человеческое мясо?

— Может, — твердо сказал я, — когда оно подставляет топору кость, от которого топор отскакивает, получив зазубрину. Потом это мясо переламывает топориче и хватается за горло идею топора. Человечье мясо имеет свои идеи, — с гордостью заявил я. — Лучшая его идея — идея борьбы.

— Скажите, может ли любить человек в наш век? Я хотела сказать, может ли любить человеческое мясо?

— Да, — сказал я, — может. Только в наш век это не самое главное. Человек всегда должен делать самое главное. Настоящий человек из человеческого мяса должен научиться приносить в жертву самое дорогое во имя самого важного. Тому мы имеем неоднократные примеры в тысячелетней истории народов. Чей подвиг выше, Абельяра, который во имя своей любви к [край страницы оборван, далее несколько слов восстановлено по смыслу] Элоизе пошел на все и был оскотлен, или Агамемнона, пожертвовавшего своей дочерью Ифигенией, чтобы спасти свой народ?

— Вы очень любите свою жену? — медленно спросила она.

— Очень, — ответил я.

— А я не люблю своего мужа...

В это мгновение, звеня стеклами, распахнулась балконная дверь и на пороге появился муж. Под мышкой у него был зажат поросенок.

— Это что же такое делается, товарищ Ермилов? — зловеще спросил муж, пристально смотря на нас. —

Приютит я вас, больного советского человека без портков в своем родном доме, а вы чужих дамочек разными фиглями-миглями завлекаете?

Поросенок под мышкой мужа взвизгнул.

— Сидеть! — грозно прикрикнул муж и ляпнул ладонью по пяточку.

— Как хорошо, что ты привез поросенка... и сам приехал, — воскликнула милая молодая женщина, — а мы тут с Владимиром Владимировичем придумывали всякие имена. Только не решили, какое лучше: Ифигения или Элоиза.

— Хай будет хоть философия, — мрачно сказал муж и, пристально глядя в глаза жене, заорал: — Ты мне яйца не крути всякой интеллигенцией. Сами умеем [вариант: выучились].

— Как вы смеете?! — закричал я и бросился к нему.

— Кто вам дал право оскорблять невинную женщину?!

— Сидеть! — презрительно процедил муж сквозь зубы и я увидел перед своим носом занесенную ладонь с растопыренными пальцами. — Тэк.

— Как тебе не стыдно? — вспыхнув, закричала милая молодая женщина. — В эпоху, когда мы каждый день приближаемся к первой фазе коммунизма...

— Хрен с ним, — заявил муж, — с коммунизмом. По-твоему выходит, из-за коммунизма человек должен терпеть, чтобы его баба всякому давала? Да?

— Послушайте, — тихо сказал я, — если вы не перестанете оскорблять свою совершенно ни в чем не повинную жену, я выброшу вас на улицу.

— Кого? Меня? — заорал муж и подавился смехом. — Ты-то? Да я тебя, как вошу одним махом придавлю.

— Человечье мясо, — сказал я, глядя на торчащую перед моим носом занесенную ладонь с растопыренными пальцами.

Муж сложил ногти больших пальцев, чтобы показать, как будет меня придавливать. Воспользовавшись некоторым облегчением своего зажатого положения, поросенок хрюкнул, дернулся и, выскользнув из-под мышки своего хозяина, с диким визгом полетел через балконные перила на улицу.

— Человечье мясо, — сказал я, отстраняя руку мужа.

— Свинина! — закричал он и, хлопнув дверью, выбежал из квартиры.

## Глава XVII

Она подняла на меня глаза и, поразившись неожиданностью случившегося, сказала, удивленно вслушиваясь в [пропуск: край страницы оборван] слова:

— Я свободна, Владимир Владимирович. Он не придет больше.

— Что? — спросил я.

Внизу, на мостовой шевелились какие-то червяки, собирая какие-то обрывки. Кричали. Дернулся ветер, пришибло к балкону облако дыма, запрыгал мелкий дождь, оставляя на земле цветочных ящиков рябинки следов.

## Глава XVIII

— Александра Михайловна, — сказал я, — вы опять ошиблись. Я не Ермилов. Я — Аркадий Белинков. Вы никогда не будете счастливы, Александра Михайловна. Золотой век не впереди и не позади нас. Для того, чтобы быть счастливой, не обязательно жить в золотом веке. Для этого нужно быть хозяином своего века. Любого. Счастье не во время бытия, а в господстве над бытием. Золотого века не было и не будет. Снова будет железный век. Наш век сковал топоры, мечи и колючую проволоку.

— Ну, и что же? — спросила она. — Как вас зовут? Аркадий Белинков? Ну и что же?

— За мной гонятся, — сказал я. — Они ищут меня, чтобы убить. И убьют, если поймают.

— За что?

— За то, что я мешаю им строить золотой век.

— Вы? Зачем?

— В мире живут две идеи. Одна утверждает, что человечье мясо принадлежит ей. Другая рвет себе человечье мясо. Для того, чтобы первая идея смогла построить свой золотой век, она должна убить вторую идею. За одну из этих идей я борюсь. Если мы победим, мы будем строить свой золотой век.

— И вы победите?

— Конечно. Мы должны победить.

— И построить золотой век?

— Конечно. У нас же есть позитивная программа, — опустив глаза, сказал я. — Иначе не стоило бы бороться.

— А-а-а... — медленно сказала она. — Опять будет война?

— Конечно, — оказал я. — Будет уничтожена половина человечества.

— И тогда будет золотой век?

— Конечно, — сказал я. — Иначе не стоило бы и бороться. У нас есть положительная программа.

## Глава XIX

— Ну и что же? — смотря мне в зрачки лодочками сощуренных глаз, сказала она. — Я иначе и не представляла себе вас: я знала, что вы должны жить чем-то значительным.

Ее глаза уплывали в глубину теней медленно опускающихся ресниц.

— Ну, и что же, Аркадий? — едва слышно спросила она.

— Александра Михайловна, — сказал я, — понимаете ли вы, что происходит в мире? Я и моя жена боремся не на жизнь, а на смерть. И, скорее всего, мы погибнем.

— Вы?

— Я, моя жена и еще многие. Кроме того, будет уничтожено тридцать веков истории мировой культуры.

— Аркадий, — тихо сказала она, — неужели человек не имеет права быть счастливым до того времени, пока будет создан золотой век?

— Не имеет, — сухо сказал я.

Я захлопнул дверь своей комнаты, бросился на диван и закрыл глаза. Дело не в том, что должна погибнуть половина человечества, а в том, чтобы оставшаяся половина была счастлива. Я обязан был торопиться. Приближающаяся смерть должна была стать не моим поражением, а внутренней и необходимой для нас потерей в борьбе. Меня могла спасти только победа. Марианна бы сказала: — Вы не боитесь смерти, потому, что останется положительная программа. Я не потому не боялся смерти. Я знал, что наша негативная программа много сильнее и (что для меня самое важное) убедительнее аморфной позитивной программы. Марианна не обращала внимания на аморфность позитивной программы. Она стреляла, потому, что стреляло ружье. Если бы оно перестало стрелять, Марианна положила бы его и стала бы дожидаться. Заряд должен был обеспечивать я. Хуже всего было то, что позитивная часть программы отличалась аморфностью.

Когда отворилась дверь, я не слышал. Я не открывал глаз.

— Дело не в том, что мы раньше погибнем, — думал я, — чем победим...

Я не выдержал и открыл глаза. Она сидела, опустив голову и прижав пальцы к вискам.

— Какой смысл в победе, — сказала она, — если вы должны умереть до победы?

— Если бы я боролся для себя, Александра Михайловна — сухо сказал я, — то, право, не стоило бы уничтожать половину человечества.

— Я хочу, чтобы вы жили, — тихо сказала она.

— А я хочу, чтобы пришла победа, — сказал я. — И еще я бы хотел, чтобы после меня осталась дочь. И чтобы она дожила до победы.

— Я хочу быть с вами, — сказала она, — и помочь вам и защитить вас.

— Спасибо вам, друг мой, — сказал я. — Еще не зная всего того, что вы узнали сегодня, вы уже это сделали.

— Этого мало, — сказала она. — Я могу и должна сделать больше.

Я смотрел в лицо этой женщины, прожившей лучшие годы своей жизни без помысла и надежды на подвиг, не сумевшей задержать уходящую молодость творчеством, или ненавистью, или любовью, 25 лет простоявшей, не поднимая руки над течением дней, медленно разматывающихся и цепляющихся крючками маленьких попыток за маленькие петли возможностей.

— Послушайте, — сказал я, — для того, чтобы серьезно обречь себя на гибель, мало только хорошо или даже сильно чувствовать, для этого надо быть до конца убежденным в своей правоте.

— Мало хорошо или сильно чувствовать? — переспросила она. — Но убеждения придут потом.

— Нет, — сказал я. — Это чувства могут прийти потом. Если они не уйдут до этого. Подвиг силен убеждением, а не чувством.

— А разве во имя любви не совершаются подвиги? — спросила она.

— Совершаются, — сказал я. — Во имя любви, а не из-за любви. Бороться надо для того, чтобы победить.

Она стояла, опустив руки и пристально вглядываясь в окно. Ветер шевелил ее волосы. Меня не интересовал цвет ее волос. Меня интересовало, сколько времени она может выстоять на допросе.

— Послушайте, — сказала она, — но ведь золотого века не будет? Вы сказали, что золотого века не будет. Зачем же тогда ваша борьба и смерть?

— То, что я сказал, не имеет значения. — Резко ответил я. — Есть прекрасная положительная программа. Ясно? На 6-ой странице положительной программы написано: «Мы боремся для того, чтобы уничтожить коммунизм (как формацию, лишившую свободы человеческий интеллект) и построить общество, в котором впервые за все века всемирной истории народов власть будет осуществлена не силой оружия, но силой интеллекта. Это будет государство умных людей. Вместо отжившего демократического принципа избрания верховного органа власти, будет утвержден принцип ответов на вопросы и отгадывания загадок. Таким образом, в управлении государством окажутся самые умные представители населения Земного Шара».

## Глава XX

Враг в красных штанах, опустив голову, медленно ехал сквозь город, бросив поводья на шею лошади. Он сидел в седле, как пришей кобыле хвост [вариант: горб]. Ноги его в свисающих с пальцев тапочках болтались вдоль лошадиных боков и цеплялись за бульварные кусты.

Из скорлупы облаков вылупилось желтое солнце. Он поднял голову, моргнул и уставился на восход.

Он знал, что все равно поймает, невзирая на окружающий это убеждение скепсис. Услышав о том, что объявлен всесоюзный розыск беглецов, он презрительно улыбнулся и сказал:

— Разрешите обратиться, товарищ комиссар государственной безопасности 1-го ранга. Не нужно [вариант: лишнее] это дело: никуда они, кроме Москвы да своей спальной дачи не толкнутся, народ такой, известно — интеллигенция.

Вооруженный таким передовым мировоззрением, человек в красных штанах, опустив голову, медленно ехал верхом сквозь Москву, придерживая кобылу перед некоторыми заведениями, в которых по его расчетам скорее всего следовало [вариант: надлежало] искать, и, засунув голову в окно заведения, подозрительно осматривал внутренность. Не достав до окна Большого зала Консерватории, он въехал в гулкий вестибюль, медленно поднялся по лестнице и остановился в зрительном зале. Кобыла нехотя пожевала золотистый плюш [вариант: мох] рампы и опустила морду. Он пощупал дирижерский пульт и тронул пятками кобылу.

— Куда заховались? — мучительно думал он, выпялив глаза и смаргивая одолевавшую дремоту. — Может за водокачку? — Но вспомнив, что за водокачку заховалось в год великого перелома два кулака, психологически не имевших ничего общего с Аркадием и Марианной, он отказался от этого умозаключения.

Кобыла, задремав, остановилась посреди площади. Вдруг сверху раздался оглушительный визг, кобыла шархнула в сторону, и он едва не вылетел из седла.

— Ложись! — заорал он и треснул кобылу в бок пяткой. На месте, от которого он только что отскочил, лежал, дергая харей и свистя, здоровенный поросенок. Он поднял голову вверх и увидел высоко на балконе фигли-мигли парочку, делавшую вид, что это до ее не касается. В ту же секунду перед мордой залягавшейся кобылы вырос некий молодой дядя и тяжело опустился на мостовую перед околевающим поросенком.

Человек в красных штанах вновь обрел утраченное было из-за такого явления, как падающие с неба свиньи, самообладание. Он свесился с седла и пылливо всмотрелся в черты поросячьей [вариант: свиной] хари.

— Готов, — тихо произнес хозяин поросенка и встал на ноги. — Эх, жизнь наша, — меланхолично сказал он и пошевелил носком сапога охлаждающий хвост.

— Да, — процедил человек в красных штанах. — Живешь, работаешь, строишь коммунизм, а кося так тебя и дожидается. Вы кем, извините, будете?

— Шофером работаю, — уныло отозвался хозяин дохлого поросенка и, обрадованный дружеским участием, добавил, кивнув в сторону поросенка: — Из-за бабы все дело.

— Да, — сочувственно покивал головой всадник в красных потрепанных галифе, — бабы, да вино вот, что нас губит, и еще — капитал. — Однако, он не совсем ясно представлял себе связь между трагической гибелью поросенка и поступком бабы.

Как бы почувствовав его сомнения, хозяин дохлого поросенка пояснил: — Не стерпел я. Как увидел ее с этим мужиком, захотел промеж глаз вдарить [вариант: ей в лоб закатать], а он и сорвись. Высота-то, эн какая. Теперь — крышка: пусть сама как знает, так и живет. Положил я на нее.

— Да, — промямлил человек в красных штанах, — найдешь другую, — и развел ноги, чтобы стукнуть по бокам кобылу. Но в это время хозяин дохлого поросенка сказал нечто такое, от чего его ноги застыли в разведен-

ном положении и он, перегнувшись через кобылью шею, пристально уставился на человека, бросившего свою бабу, через которую он зря [вариант: за здорово живешь] погубил полезное в хозяйстве животное.

— Я, говорит, писатель, мне, говорит, какая хошь баба даст, а муж будет смотреть да помалкивать, потому я могу всякого мужа в «Правде» или в «Библиотеке Огонек» протащить [вариант: протянуть].

Враг в красных штанах повернул морду кобылы к морде мужа и опустил собственную морду к их мордам и все они склонили свои морды над мордой загубленного поросенка.

— А ну-ка, давай, — подмываемый волнением, прохрюкал он, заерзав в седле.

— Ну и вот. Он значит, с понтом на горло. А я за задницу и с балкона его перекидываю. А тут как она вцепится мне в лепень, да как заорет, как резаная. Ну, я и выпустил.

— А он чего такого не говорил, этот-то самый, писатель-то ее?

— Чего? Говорил! Я, говорит, в книжке пропишу!

— А еще чего такого?..

— Еще про коммунизм говорил.

— Про коммунизм?! Во-во-во! Давай, чего он там про коммунизм?

— Чего? Говорил, что с такими коммунизм сроду не построишь.

— Что мы коммунизм не построим?

— Нет, с такими не построим.

— С какими такими?

— Ну, значит, с такими, которые за задницу хватаются и с балкона меня скидывают. А так, вообще, построим.

— А что не построим, не говорил?

— Не, вроде не было.

— А ты вспомни.

— Вспоминаю. Да нет, не было.

— Лучше вспоминай.

— Да говорю, не было.

— А я говорю было! Не должен такой сказать, что построим коммунизм.

— А я говорю тебе русским языком: не было!

— Ты мне еще поговори, ей-ей в лоб закатаю.

— Ты?

— Я!

Вместо ответа на такую пошлость, муж взял человека в красных штанах левой рукой за челюсть, правой за

излюбленную им в таких случаях задницу [вариант: красные штаны], вынул его из седла и, слегка потрясая им в воздухе, спокойно уложил рядом сдохлым поросенком, слегка при этом повредив асфальт.

— Ладно, — прохрипел самонадеянный человек в красных штанах. — Оставим этот вопрос. Как его фамилия?

— Чего, — переспросил муж, — фамилия? А вот этого не видал? — И с этими словами он слегка расставил ноги и, выпятив живот, похлопал ладонью по ужаснейшему из мест своего организма, затем он повернулся на каблуке и медленно зашагал через площадь, плюя на окружающую действительность.

## Глава XXI

— Врешь! — взвыл враг в красных штанах. — Все равно построим коммунизм! — Он лежал на асфальте, слегка поврежденном, благодаря его перемещению с кобылы на мостовую, и ругал [вариант: обзывал] переместившего его мужа именно тем местом, которое тот показал ему вместо того, чтобы назвать столь любопытную ему фамилию.

Кобыла, понюхав своего хозяина, зевнула и завалилась рядом с ним.

— Уйдет! — вдруг блеснула молния испуга в голове человека в красных штанах и он вскочил. Он наполовину вскочил. На вторую половину он не мог вскочить, ибо именно за эту половину взяла его правая рука, безусловно способствовавшая побегу упомянутого писателя... Через 17[так в тексте]\*, — злорадно решил про себя человек в красных штанах. — Червонец! — уже одно это стоило того, чтобы подняться, вскочить в седло и скакать, скакать. Скакать за помощником любовника жены, из-за которой погиб поросенок и произошла эта многое обещавшая и столь разочаровавшая встреча.

— Помогите! — простонал он, озираясь на проходящих мимо соотечественников.

— Некогда, — буркнул один соотечественник.

— Сам не хвор, — проворчал второй соотечественник.

— Черт с тобой, — заявил третий соотечественник.

— Пошел в болото, — процедил четвертый соотечественник.

\* 17 — статья уголовного кодекса.

— Очень надо [вариант: Подыхай, хрен о тобой], — прошамкал [вариант: прохрипел] пятый соотечественник.

— [вариант: При царе лакеи были]

— Сейчас, сейчас! — воскликнула прекрасная молодая женщина, — бедный, бедный дедушка!

Она опустила на колени перед захныкавшим врагом в красных штанах, протянула к нему руки и, дико вскрикнув, отшатнулась назад. Но враг в красных штанах схватил ее за руку и поднялся на ноги.

— Спасибо, — проямлил он, — давно в партии?

Прекрасная молодая женщина остановившимися глазами смотрела на врага, вцепившегося ей в руку.

— Очень, — прошептала он и вскочила.

— Хорошо, — заявил он, — жить на советской земле: каждый прохожий тебе друг [вариант: подаст руку помощи]. Ну-ка подсоби. Вот. Порядок. Упирайся коленкой. Вот. Ну как? Порядок. Поехали.

Она сидела на крупе кобылы, обхватив руками брюхо врага в красных штанах.

— Как звать-то? — спросил враг, когда они проезжали мимо Дома правительства.

— Кого? — не поняла она.

— Тебя, кого же? — начал допрос он.

— Меня?

— Тебя.

— Маша, — сказала Марианна.

Подозрительно оглядевшись по сторонам, он проворчал что-то и завернул к подъезду Министерства Государственной Безопасности.

— Приехали, — сказал враг в красных штанах. — Дома, как говорят, и стены лечат. Слезай.

— Давайте еще покатаемся, — робко попросила Марианна, — я очень люблю кататься верхом. Еще немножко.

— Будет, — сказал он. — Слазь. Делом надо заниматься.

— До свиданья, — дрожащим голосом сказала она, тая робкую надежду.

— Чего? — не понял он. — Давай, проходи.

— Хорошо, — прошептала Марианна, и, последний раз взглянув на сверкающее утренней чистотой небо, в последний раз вздохнув чистый воздух свободы, рыдая, переступила порог Министерства Государственной Безопасности.

## Глава XXII

Дом, из которого вывалился поросенок, сыгравший такую громадную роль в развитии нашего сюжета, был осажден, оцеплен, обыскан и заховавшийся в нем некий писатель схвачен и доставлен в Министерство Государственной Безопасности. В момент, когда его накрыли, он валялся в постели, прикинувшись, будто собирается подышать якобы от какой-то уличной драки и хавал сало сверху намазанное маслом.

— Ох, — простонал враг в красных штанах, наваливаясь на плечо Марианны.

— Все кости разламываются.

И они с превеликим трудом прошли из рабочего кабинета приятеля-следователя в комнату, где приятель-следователь имел обыкновение приготавливать свой организм к встречам со своими подследственными.

— Ничего особенного, — подумала Марианна. — Обыкновенная комната для спортивных упражнений. Трапеция, турник, гири, козел.

— Ох, — простонал враг в красных штанах и опустился на клеенчатую кушетку. — Сидай, — предложил он Марианне, указав на место рядом с собой.

Дверь из кабинета распахнулась и в гимнастическую комнату влетел приятель-следователь. Он схватил гирию, несколько раз быстро поднял [вариант: помахал] ее, потом бросился к турнику, подтянулся, перешагнул через козла, торопливо проглотил несколько глотков воды и, засучивая на ходу рукава, высочил из комнаты.

— Ну вот, — прошамкал враг в красных штанах и, сложив ладошки, зажал их между колен, качнулся взад и вперед, уголком глаза посматривая на прекрасную женщину.

— Да, — сказала Марианна и со вздохом устремила глаза на окно, представлявшее собой застекленную раму-решетку.

— Да, — сказал враг в красных штанах и покосился уголком глаз на прекрасную женщину.

— Да, — сказала Марианна и внимательно осмотрела потолок.

— Фартовая ты баба, — ухмыльнувшись, заявил враг в красных штанах. — Факт. Ха-ха-ха!.. Чего помалкиваешь? Яблока хочешь? — Он достал из кармана яблоко, обтер его о колено и сунул ей в руку. — Жуй, — подмигнул он и хихикнул.

Вдруг из кабинета вылетел рассыпчатый взвизг и Марианна, задрожав, шарахнулась к выходной двери.

— Чего прыгаешь? — спросил враг в красных штанах, — так их фашистов, мало они нас передушили!

— Да, — сказала Марианна, доставая из-под шкафа закатившееся яблоко.

— Знаешь, кого там тискают? — спросил он, поведя челюстью в сторону кабинета приятеля.

— Не... я не знаю... — пробормотала Марианна.

Враг в красных штанах снова подмигнул и хихикнул. Он сидел, расставив ноги, и клеивал плохо склеивающуюся сигарку.

— Попался, голубок, — медленно проговорил он, обращаясь скорее к самому себе, к заветным своим думкам. — Сорок два дня... — и, неожиданно подняв глаза от сигарки, сказал оцепенело глядя на Марианну:

— И сорок две ночи. Наяву и во сне — видел: стоит он и уже мертвый. — Враг в красных штанах вздрогнул и тряхнул головой. — Чего молчишь?

Он опять зацепенел. Голос его был глух, он говорил, погрузившись в глубокий колодец воспоминаний.

— Говорил, нахрапом не возьмешь. Еще как дачу спалили. Не наваливайтесь скопом. Уйдут. Ушли. Сорок два дня и сорок две ночи. Ждал. Верил. Любил. Вот оно: пришло. Теплый. Потрогать бы. Э-эх.

Вдруг из глубины его послышался скрип, он вынырнул из колодца и с бульканьем расхохотался:

— Ха-ха-ха!.. Иди сюда к моему празднику! Дай маленько. Не бойсь: ты своя: не укушу. — Дай щекотнато. Праздник-то, праздник-то какой вышел! Он поднялся на задние лапы и, пошатываясь, пошел на нее. Он схватил ее передними лапами и задышал ей в лицо. Из глаз ее медленно выкатились две обжигающие слезы. Раскрыв челюсти, он — дышал.

Из кабинета выскочил, подпрыгивая, вопль и ударился в задребезжавшие стекла. Она отшатнулась и он, потеряв равновесие, опустился на передние лапы.

— Аркадий!.. — пошевелились ее губы, — муж мой...

— Ложись! — прорычал он.

— Я убью себя, — тихо сказала она. — Если вы подойдете ко мне.

В это мгновение распахнулась дверь кабинета, следователь-приятель бросился к гилям, и она увидела жирную розовую ляжку и круглую голову с вывалившимся языком.

— Ермилов! — тихо воскликнула она и шагнула к нему.

Дорогу ей пересек следователь-приятель, он выскочил из комнаты и захлопнул за собой дверь\*.

— Убьешь?! — заревел враг в красных штанах, — я те убью.

— Что? — не оборачиваясь к нему, спросила она. — Что? А-а-а!.. Ну, не надо сердиться. У-у-у, какой сердитый! Разве можно так разговаривать с женщиной? Так вы никогда не понравитесь женщине!

4 сентября 1950 г. — 12 апреля 1951 г.\*\*

### Глава XXIII\*\*\*

Медленно сползая, обваливалась глыба половины XX века, унося со щебнем и пылью надежду на счастье людей под игом капитализма, вступившего в свою последнюю фазу. Дымясь, уходила за горизонт в могилу всемирная предыстория народов, оставляя за собой клубы горького дыма. Приплясывая и скаля зубы, посыпалась на Запад китайская, самоедская, русская, румынская, татарская, мадагаскарская, мордовская, дикая, лесная, звериная история.

Силою она всех нас загоняла на остров Мадагаскар, окружат, накроют и слопают. Все равно нам всем подышать. Так лучше уж я сам пушу себе пулю в лоб, чем дождусь, когда волосатый монгол, сжевав классическую элегию, перднет и сунет меня в суп. Монгол! Сука! Я еще живой и, хоть я и не могу придумать сильную положительную программу, но я еще тяпну тебя за мясо. Рано пляшешь, монгол: Цапну! Проклятый!

Когда в стакан утреннего чая Александры Михайловны попала муха, она едва удержалась от слез, глядя на эту бессмысленную смерть. Именно в эту минуту на Сеульском направлении в 18 километрах севернее Суфона разорвался снаряд и похоронил солдата, имя которого осталось неизвестным. Я сообщил об этом Александре Михайловне, и она согласилась, что безусловно солдат, разорванный снарядом на Сеульском направлении, важнее бури, разыгравшейся в стакане воды.

Для интеллигентного человека убийство всегда

\* Очевидно, в кабинете находились три человека: жертва, свидетель, следователь. (Ред.)

\*\* Имеется расхождение между датой, которой помечено окончание работы над рукописью (12 апреля 1951 года) и датой, упомянутой А. Белинковым на допросе у следователя (14 апреля 1951 года). Н.Б.Я.

\*\*\* С которой, по-видимому, начинается новый виток сюжета. Н.Б.Я.

останется немислимым, — сказала Александра Михайловна. — Потому что ведь интеллигентный человек слишком верит в аргумент. Всегда можно переубедить другого человека, правда, всякое убийство это измена интеллекту, Аркадий Викторович.

— Мне стыдно, что я еще никого не убил, Александра Михайловна, — сказал я, глядя ей в глаза. — По земному шару ходят враги с концепциями, книгами и топорами, сколько врагов, а я еще не убил ни одного врага. Какой же вы человек, Александра Михайловна, если не можете убить другого человека — врага, подкарауливающего за углом симфонию Скрябина или играющего на тромбоне вашего сына? Вы ничего не можете, Александра Михайловна, ни любить, ни ненавидеть... Хорошо, — сказал я, — пейте кофе с мухами. — Я встал из-за стола и ушел в свою комнату. Нет сомнений, что римская интеллигенция эпохи Гонория была уверена в том, что больше ничего хорошего не будет.

— Черт возьми! — проворчал я, бросаясь на диван, — неужели это я писал книгу сонетов? Чепуха. Это писала Марианна. Я не писал книгу сонетов. Ах, вот оно что! — понял я, наконец, Марианна, это — среда. Среда определяла мое творчество. Но теперь все мои поступки будет определять не Марианна, а хищный американский империализм. Потому что только он еще может противостоять дикой, лесной, звериной истории монгола. Я буду писать не сонеты, а листовки. Сколько болтовни на свете! Если бы каждый человек мог убить хоть одного врага, то на земле не осталось бы ни одного коммуниста. Посвящаю свои сонеты человеку, который убьет последнего коммуниста. Я встал с дивана и громко сказал: Марианна, любимая! Не надо заниматься искусством. Если я увижу тебя еще хоть один раз, я подарю тебе семизарядный автоматический пистолет с самым трогательным посвящением: «Лучшей женщине Земного шара! Убей коммуниста». И она убьет, любимая. Пройдут годы. Мясо врагов расклюют степные вороны. Будут задушены всякие ростки демократизма. Миром станет править чистый разум. Я нежно люблю тебя, Марианна. Ты навсегда останешься лучшей метафорой счастья, какой увидел тебя впервые мальчиком в сумраке недвижимого классического музея. Клянусь тебе семизарядным автоматическим пистолетом, любимая.

— Нет, — сказала входя Александра Михайловна. — Я хочу быть в стороне от борьбы.

— Этого никогда не будет, — сказал я. — Вы просто хотите, чтобы мухи попадали в чужие чашки.

— Я думаю, — сказал Александра Михайловна, — что в любви важно не мировоззрение, а знаете, что нужно в любви? Любить.

— Это неправда, — сказал я. — Это то же самое, что сказать: в горении нужен огонь. Огонь только знак горения. Для горения нужен уголь. У вас нет угля.

— Что мне делать, Аркадий? — спросила она, заплывшая за слезы.

— Милая, хорошая, Александра Михайловна, — тихо сказал я, — так как вас скорее всего не устраивает участь домашней хозяйки среднего дарования, и наличие партийного билета не вызвало в вас желаний убивать врагов, то, конечно, лучше всего вам повеситься.

— Вы принадлежите к той категории людей, которые имеют право на большую судьбу, но судьба лишила их этого права.

— То, что Вы называете «неудавшейся жизнью», представляет собой непродуманность негативной программы и полное отсутствие позитивной.

— Вам не удалась жизнь, а как-то не удалось присесть за стол с карандашом и блокнотом и сосредоточенно высчитать свои возможности и намерения, имея в виду, что всегда лучше, если намерения немного больше возможностей: остаток их уйдет на реализацию возможностей.

— Встреча с вами сыграла серьезную роль в моей жизни, потому что я окончательно понял, что большинство людей живет, не задумываясь по крайней мере над двумя вопросами: зачем они живут и зачем должны жить люди?

— То, что вы делаете, вам не нравится не потому, что это нехорошо, но потому, что это незначительно.

— Жизнь людей, не способных на серьезные поступки, не заслуживает большего внимания и лучшего обращения, чем кирпич, дерево, известь и другие строительные материалы.

— Они необходимы в строительстве общественного здания. В частности, они идут на постройку лестницы, по которой люди, способные на серьезные поступки, поднимаются вверх.

— Если бы вы могли быть крепкой ступенью на лестнице, по которой я обязан, я обречен подниматься, то я, конечно, хорошо относился бы к вам. Но вы просыпаетесь утром для того, чтобы наконец испытать обязанности домашней хозяйки среднего дарования, а для этого нет смысла просыпаться.

— Поискав переживания, вы не нашли страстей.

— Вы не хотите стать царицей эфира не потому, что это очень трудно, но потому что вам это не особенно хочется.

— Каждый человек обязан быть императором мироздания.

— Для того, чтобы что-нибудь делать, необходимо твердо знать, стоит ли это делать.

— Я готов получить самый вздорный ответ о смысле жизни, но никогда не прощу незнания ответа или уверенней в жизненной бессмыслице. Прощайте!

— Не уходите, — сказала она. — Научите меня тому, из-за чего не только стоит, но необходимо жить. Поймите: сейчас людям, строительному материалу, необходимо пятое Евангелие.

— Хорошо, — сказал я. — В уже упомянутой положительной программе, сказано... Что вы смотрите по сторонам? Возьмите карандаш и бумагу.

## Глава XXIV

Враг в красных штанах скакал на кобыле.

Чихая в пустынную черкизовскую ночь, кобыла перемахнула через мусорный ящик, увенчанный картофельной шелухой с гирляндами кудрявой капусты, и с раскатистым ржанием влетела в распахнутые двери другого мусорного ящика, в котором цвело стахановское семейство строителей нашего коммунистического завтра.

По агентурным сведениям в курятнике, пристроенном к мусорному ящику, скрывались Марианна и я.

— Махно! — завопила хозяйка мусорного ящика, мечась между зыбкой с ревушим младенцем и ржущей кобылиной мордой. — ГПУ!

— Куда заховала?! — прохрипел враг в красных штанах и пнул кобылу мордой в хозяйкину харю.

— Ни, — заныла хозяйка, — немає никого. Малая людына у хати. Немае, немає.

— Врешь! — заорал он. — Не мае! Я те дам, сука, «не мае»!

Она выносит иконы...

16 апреля 1951\*

*Рукопись рассказа «Человечье мясо»,  
написана мной и изъята у меня при обыске.  
АБЛНК 25.5.51*

\* Имеется расхождение между датой 16 апреля, которой помечено окончание рукописи и датой 14 апреля, упомянутой Белинковым на допросе. Н.Б.Я.

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. БЕЛИНКОВЕ

...Белинков, конечно, был гением. Или был бы им при нормальных жизненных обстоятельствах.

В четырнадцать лет это был абсолютно взрослый человек, сложившийся, поражающего красноречия. Он подчинял или привязывал к себе людей и доводил до рабского состояния. Одним из его излюбленных карающих приемов было отлучение. Обидевшись или встречая сопротивление, он в изысканной, но крайне обидной форме, высказывал свое нежелание видеть у себя этого человека «никогда».

Эгоизм его развился благодаря весьма плохому состоянию здоровья. Ревматизм раннего детства, ревмокардит и даже затемнение легкого. Отсюда отношение к нему родителей как к хрупкой вазе. Чуть что — в постель. В этой постели он в пятнадцать лет написал роман, поэму, сотню стихов.

Как сейчас вижу Аркадия Белинкова. Выразительное, надменное лицо, длинные, блестящие, отброшенные назад волосы, впалая грудь, сутулые плечи. Если к этому прибавить огромные черные глаза, то классический образ поэта-декадента закончен. Обладая умом язвительным, спорщиком он был нетерпимым

Была у него смешная слабость. Он не обладал знанием какого-либо иностранного языка, ну разве немножко знал немецкий. Его преподавала у нас Мария Михайловна Липская, все мы ужасно шумели на ее уроках и плохо усваивали материал. Она старалась перекрыть шум. Кричала: «Руихь! Дрейдишь нихьт. Тише! Не вертитесь!» Тем не менее письма Аркадия пестрели иностранными словами, французскими, английскими. Создавалось впечатление, что эти языки он знает в совершенстве.

После окончания десятого класса он благодаря своим литературным способностям был принят прямо на третий курс Литературного герценского института. Ему протезировал Илья Эренбург. Это он открыл в Белинкове блестящий талант литературоведа. С седьмого класса Аркадий страстно увлекся Юрием Тыняновым. Что в нем особенного нашел, не знаю, сам я читал и «Поручика Кижэ» и «Кюхлю», и «Пушкина». Ну и что? Неплохие вещи. Но чтобы посвятить целую жизнь Тынянову! Впрочем, может быть, я чего-то не доглядел, не понял?

По здоровью Аркадия не взяли в армию, война застала его в Москве, и среди бушлатов, шинелей и всякой рвани можно было

вдруг встретить человека с волосами чуть не до пояса, с горящими глазами, в широкополой шляпе с мефистофельской эспаньолкой и в развевающейся старомодной крылатке.

Не искошено, кто-то из крупного начальства, увидев его на улице, сказал: «Возьмите этого человека и проверьте, что за птица».

Взять-то птицу взяли, проверили, а выпустить забыли. Может быть, она кричала петушиным голосом: «А по какому праву? Кто вы, собственно, такой? Я не позволю! Я буду жаловаться» — А может быть, стала биться, хлопать крыльями и тем самым оказала сопротивление, но факт тот, что Москву Белинков увидел только спустя тринадцать лет.

А может быть, кто-то позавидовал его таланту или, что еще хуже, успеху у женщин и написал донос — тогда это было в моде, но только судьба Белинкова пересеклась на мгновение с судьбой человека, фамилию которого называть даже не хочется, он был любим всеми, как литератор, назовем его условно Сан Саныч\*. По долгу службы он должен был визировать приговоры, выносимые членам его паствы, что он, дескать, согласен, возражений не имеет...

Невозмутимый, спортивный, седой и обаятельный, он ставил свою визу под другими необходимыми подписями, и не было случая, чтобы он отказался ее поставить, говоря: «Позвольте! Да какой же он враг? Это же Мандельштам, гордость русской поэзии!»

Он, может быть, и гордость, но если он враг? Страх потерять кресло (а может быть и свободу) заставлял его подмахивать свою подпись даже не задумываясь. Надо? Значит, надо! Такой исторический момент. Надев генеральскую шинель, он выезжал на фронт, в свою штабную газету, распекал какого-нибудь разгильдяя с майорскими погонами, с плохой выправкой да еще «под мухой», вроде Михаила Светлова. Возвратившись в Москву, подписывал ордера на квартиры, на пайки, ставил визы под приговорами. Этому десятку, этому пятнадцатому, этому расстрел. Надо? Значит, надо! Подмахнул свою подпись и под приговором Белинкову.

Сан Саныч был здоров, и призраки по ночам не являлись, как к душевнобольному Ивану Грозному. А Белинков без крылатки, в черном бушлате, без блестящих черных волос, с некрасивым шишковатым бритым черепом и горбатым еврейским носом, компрометирующим его в глазах уголовников, креном судьбы из светского льва был отброшен в самую презираемую лагерную категорию «придурков» и «доходяг». Копать землю? Но до 23 лет он не только ее ни разу не копал, но и в глаза лопаты не видел. А сердце? Тахикардия? Туберкулез?

\* Теперь-то все знают, что это Фадеев.

Я-то боялся, что он до войны еще умрет, такой он был больной и квелый. Но такова человеческая выносливость: он тринадцать лет провел в лагере и не умер.

...Вскоре моя судьба снова пересеклась с судьбой Белинкова. Прозаически прозвучал телефонный звонок:

— Алло! Это говорит Аркадий Белинков, помнишь такого? Да, ровно 13 лет. Какой твой адрес?

И он появился в мастерской. Я был поражен. Ни один волос не упал с его головы, те же манеры, тот же костюм. И тот же Тынянов в голове.

Казалось, он не ходил в колоннах, где шаг вправо, шаг влево расценивался, как побег, и стреляли без предупреждения.

Я помню его папу, главного бухгалтера министерства Виктора Лазаревича, который на ночь прикосновением губ к его лбу определял, нет ли у него температуры. Мать, Мирра Наумовна, энергичная, моложавая, заведующая шахматной секцией Центрального Дворца пионеров, вилась над ним как птица, хлопотала, ублажала.

А тут снег, слякоть, окрики, гонка, грубые слова, оскорбленное человеческое достоинство! Клокотание бешеного сердца, срыв дыхания хилой грудью.

Как это можно вынести?

В. Лемпорт  
«Эллипсы судьбы», «Время и мы», №113

\* \* \*

«...Никогда прежде я не встречал таких людей. Тогда мне казалось, что он знает все. Дома у нас в четверть стены портрет Ленина... Потом полное собрание его сочинений. История партии. Биография Сталина... Разрозненные тома Горького. Что-то Шолом-Алейхема. Малая Советская энциклопедия, из которой вырезаны все или почти все враги народа. А тут в камере мне приоткрылся мир совсем другой. Я и раньше догадывался о его существовании, но думал, что все правила и законы придуманы и навязаны ему людьми. Оказалось — все наоборот. В первый же день Аркадий сказал мне, что я музыку люблю. Я удивился. А вы откуда знаете? Он сказал, что это по затылку видно. Белинков был болезненным, я думал он тюрьмы не выдержит. Кашель был плохой и не только кашель.

Аркадий мне казался взрослым, хоть старше меня был года на четыре. Добрый он был... Белинков настолько легко переносил следствие, что решил заняться моим самообразованием. Принесли книги, и Аркадий выбрал «Историю философии и религии

Германии». По этой книге он и решил меня учить. Я быстро прочитал ее. Белинков удивился моей прыти, открыл предисловие и спросил. «Что такое дуализм? Метафизика?» Я мямлил что-то, а он еще выискивал слова, значение которых я не знаю до сих пор. Он спросил: «Как ты ухитрился, не зная слов, прочитать такую статью?» И еще что он спросил: «На что ухо похоже?» Я сказал: «На вопросительный знак». Белинков был восхищен, он решил из лагеря написать своим родителям, чтобы они книги мне присылали.

Однажды дежурный спросил у Аркадия: «Как твои имя, отчество?» Он ответил: «Аркадий Российской Советской Федеративной республики». Дежурный переспросил, побежал за главным. Все повторилось сначала...

Белинков рассказывал, что в 1943 году Фадеев сказал: «Простите, я не пойму, как вы везде поспеваете, ведь с транспортом ужасно. Я позвонил в Союз писателей, просил выслать машину. Машины не было. Пошел на трамвайную остановку. Ждал сорок минут. Пришел трамвай... Я с трудом втиснулся. Все пуговицы оборвали. Я не мог слезть на нужной остановке... Возвращался пешком. Это ужасно...» Аркадий ответил: «У меня, Александр Александрович, получилось почти то же. Позвонил в Союз писателей. Машины нет. Пошел на остановку, смотрю — трамвай уже стоит. Народ узнал во мне писателя, потеснился. Женщина у окна место уступила. Пуговицу пришила, а когда подъехали к остановке, то все расступились и вышел я спокойно».

Он любил приукрасить. Но это не была ложь, просто жизнь была настолько скудной, что скудность эту ему приходилось исправлять своей рукой. В Бога он не верил. Говорил, что терпеть не может говорить и думать о том, чего не видит. Однако мудрость и красоту Библии ценил. Считал ее своей настольной книгой.

Лев Консон  
«Лагерные новеллы» "Континент",  
публикаций В. Максимова

## АРКАДИЙ БЕЛИНКОВ О СЕБЕ И О ПРОЩАНИИ С РОССИЕЙ

*«Прощай, немытая Россия. Страна рабов, страна господ...»*

*Я десять раз видел смерть и десять раз был мертв. В меня стреляли из пистолета на следствии. По мне били из автомата в этапе. Мина под Новым Иерусалимом выбросила меня из траншеи. Я умер в больнице 9-го Спасского отделения Песчаного лагеря, и меня положили в штабель с замерзшими трупами, я умирал от инфаркта, полученного в издательстве «Советский писатель» от советских писателей, перед освобождением из лагеря мне дали еще двадцать пять лет, и тогда я пытался повеситься сам. Я видел, как убивают людей с самолетов, как убивают из пушек, как режут ножами, пилами и стеклом на части, и кровь многих людей лилась на меня с нар. Но ничего страшнее этого прощания мне не пришлось пережить. Мы сидели вытянутые, белые, покачивались с закрытыми глазами...*

*Свобода открылась неожиданной догадкой, что она существует, что она реальна. Покачиваясь и переливаясь, она понесла нас в новые измерения людей и событий. Мы благодарим всех вас, кто дал нам хлеб, кто дал нам кров, кто дал нам перо и бумагу, на которой мы рассказали вам о себе, отвечая лишь перед совестью, истинной и неисребленной жадой свободы».*

Аркадий Белинков,  
9 июля 1968 года,  
Спринг Велли, Миннесота.  
(Из «Нового колокола», 1972)

*Публикацию подготовила На талия Белинкова -Яблокова, помощь в подготовке оказали И. Бакст и Л. Корсунский*

**АНДРЕЙ ГРИЦМАН**

**«НИЧЕЙНАЯ ЗЕМЛЯ»**

*Поэтический сборник*

Первая книга автора. Сборник составляют выбранные стихи, в основном, написанные в Америке за последние 5-6 лет. В сборнике три части: стихи, связанные с Москвой, «личные» стихи и нью-йоркский цикл. Основная энергия стихов этого периода — жизнь между двумя мирами. Включено также несколько свободных переводов из современной американской поэзии. Автор — поэт и эссеист, занимается американской поэзией. Многие стихи, вошедшие в этот сборник, были опубликованы в русскоязычных изданиях в США, а также в России.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЕТРОПОЛЬ»,  
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ, 45 СТР.**

Книгу можно заказать в США по адресу:  
 1218 Emerson Ave., Teaneck, NJ 07666,  
 или в России в издательстве «Петрополь»,  
 Санкт-Петербург, 189620,  
 Г.Пушкин, 2, ул. Ломоносова, 30.

Цена книги в США \$4.



**ОЩУЩАЮ СЕБЯ КОВБОЕМ НА  
 ДИКОМ ЗАПАДЕ**

*О компьютерном искусстве устами художника*

Воистину, человек предполагает, а Бог располагает! Окончивший Тбилисскую академию художеств по текстилю Анатолий Чернышев вряд ли представлял, что волей судьбы станет художником 21 века. Впрочем, как известно, Бог помогает только тем, кто помогает себе сам, то есть людям волевым и целеустремленным.

Можно было бы сказать, что тема моего эссе — компьютерное искусство, тема далеко не новая, которой специалисты посвящают тома. Наш разговор с Анатолием Чернышевым — уже, а может быть, даже шире и важнее: как этим искусством овладевает традиционный в прошлом художник, в руках которого компьютер становится главным творческим инструментом, заменяющим кисть, карандаш, мастихин...

— Нет, нет, это куда более сложный и универсальный инструмент, — поправляет меня Анатолий Чернышев, — инструмент 21 века! Знаете, благодаря компьютеру я ощущаю себя неким покорителем целины — перед взором бескрайние пространства! — а я, как ковбой на диком западе.

По недостатку места, оставим в стороне общеизвестное, например, что живем мы в век информационной революции, что зрительная информация усваивается быстрее всего (лучше раз увидеть, чем сто раз услышать), отсюда и победное шествие компьютеров. Обо всем этом как-нибудь в другой раз, а сегодня — путь художника в это новое искусство, освоение упомянутой им «компьютерной целины».

Об этом мой первый вопрос Анатолию Чернышеву. С чего он начал, приехав в 1978 году в Америку?

— Начал с нуля, поступил в рекламную фирму, делал рисунки для каталогов, вспомнил, что еще в Грузии освоил технику аэрографа. По-своему, в суперреалистической манере пытался делать рекламу для компаний «Мерседес», «Панасоник», «Филип-Моррис». Брался за все: от научных иллюстраций для медицинских журналов до веселых детских мультипликаций...

— И все-таки о главном: когда и как начали заниматься компьютером?

Компьютер, по словам художника, была частью его адаптации к американской жизни.

— А если более конкретно?

— Если более конкретно, то было так: «В 1990 году я почувствовал, что час пробил, купил компьютер и начал самообучение по книжкам. Через 3 месяца сидения по 15 и более часов продал в рекламу первую компьютерную работу. Кстати время для начала работы на компьютере было выбрано очень удачно. В 1991 году как раз набирали силу живописные и графические программы. Воспроизведение в печати того, что получалось на экране, становилось все более профессиональным и эстетически привлекательным. К тому же, продолжает художник, довольно скоро я понял, что с компьютером работать очень удобно и к его удобству быстро привыкаешь. Когда мне приходится работать с традиционными инструментами, например, с аэрографом, я просто страдаю от отсутствия «undo button», кнопки, позволяющей отменить ряд уже сделанных операций и вернуться назад. Представляете, если бы мы имели такую кнопку в жизни, способную отменить неверно сказанное, нехорошо сделанное, никто бы уж тогда не говорил, что «слово не воробей, вылетит — не поймаешь». Поймаешь! Компьютер будущего поможет!

— Но какова — в двух словах — все-таки специфика компьютерного искусства?

— Существует мнение, что на компьютере рисовать

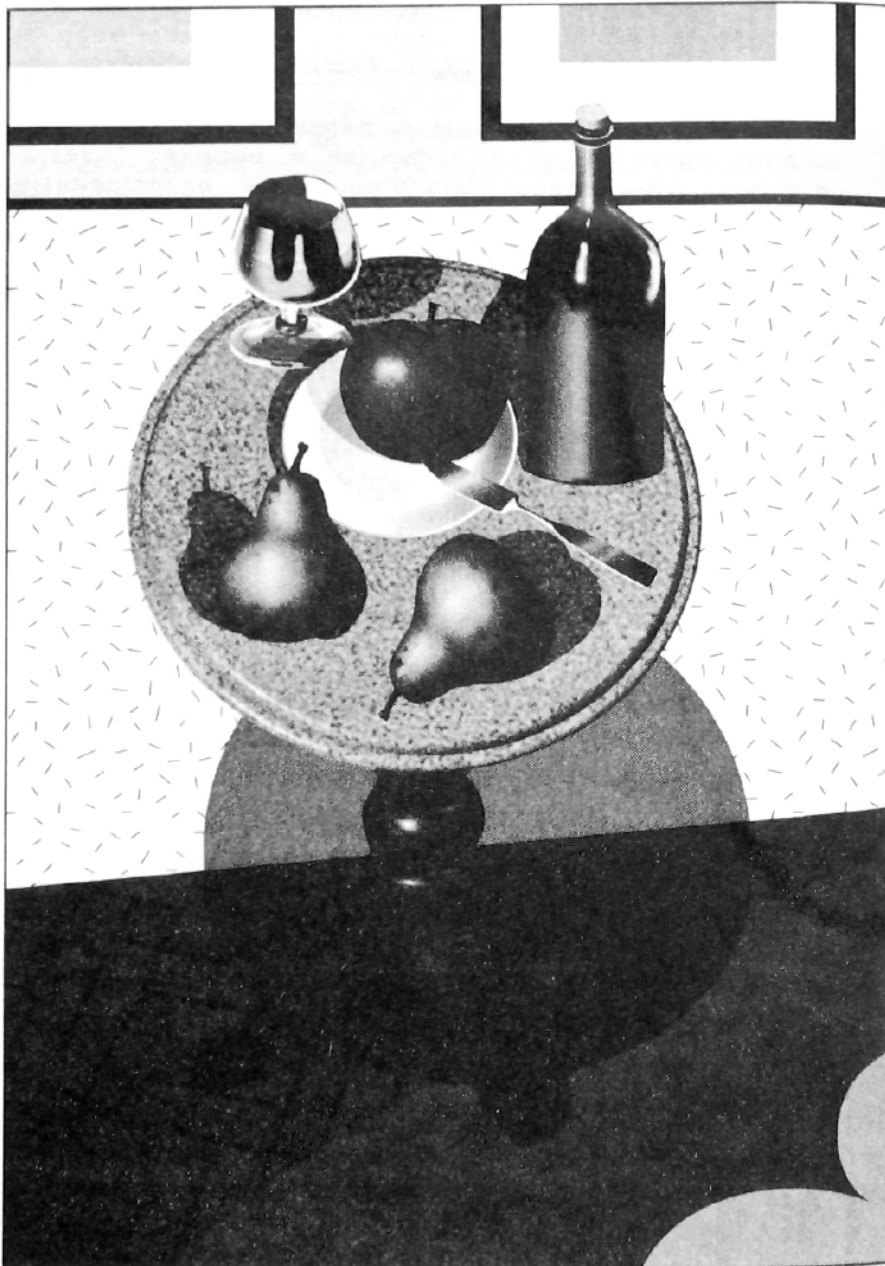
легко — «нажимай кнопки и все дела». Но так говорят все, кто не знаком с компьютером — и художники и не художники. На первых порах так и было: первыми компьютерными художниками были программисты, причем довольно слабыми.

Заниматься искусством с помощью компьютера — значит сочетать в себе физика и лирика. Газетные диспуты 50-х годов оказались вдруг разрешенными самой жизнью.

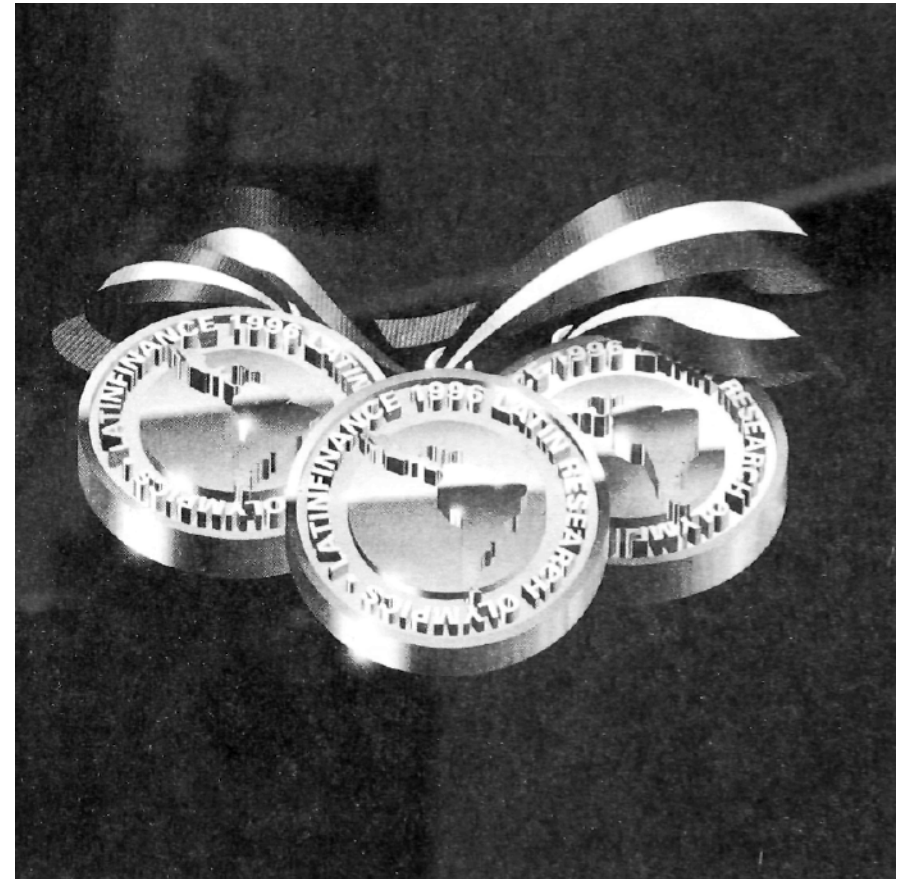
— Какие требования предъявляются к компьютерному художнику?

О, их целый «джентльменский набор»! В первую очередь нужна визуальная культура, проще говоря, художественное образование. Полезно, естественно, логическое мышление: «успевают тот, кто любит логику» — объясняет художник, — очень важно желание учиться, все время постигать что-то новое. И конечно, крепкие нервы. Воля и нервы — качества воистину ковбойские! В идеале это сочетание Леонардо да Винчи, Шерлока Холмса, Эйнштейна и Рембо. Я думаю, что, если бы сейчас жил Пикассо, он бы непременно попробовал себя в компьютере.

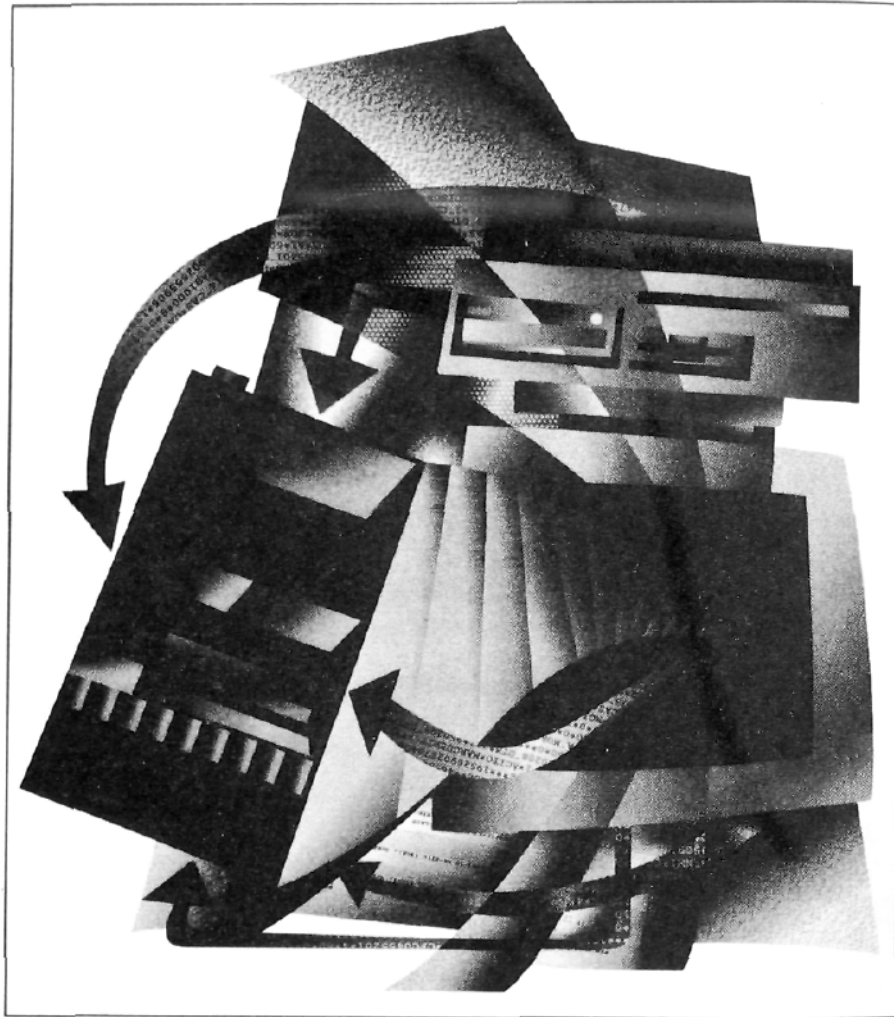
*В. Петровский*



Натюрморт с бутылкой



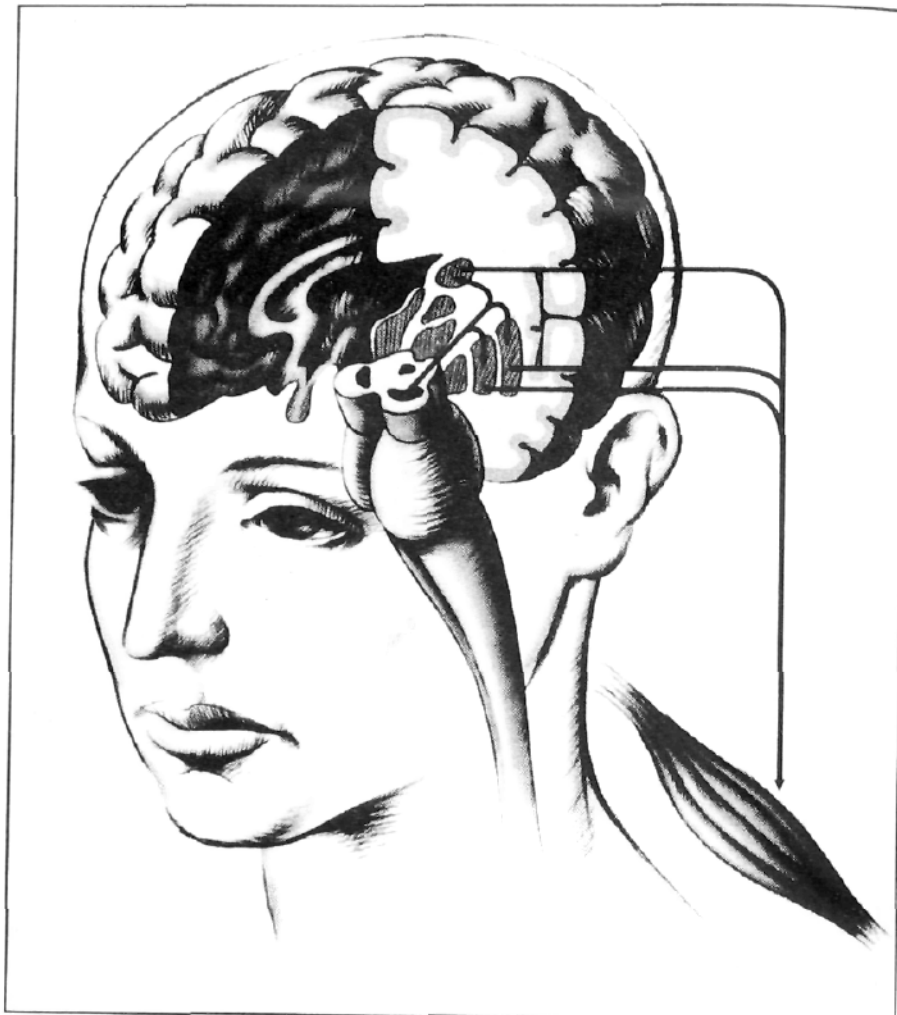
Медали (журнальная обложка)



**Компьютер IBM (журнальная обложка)**



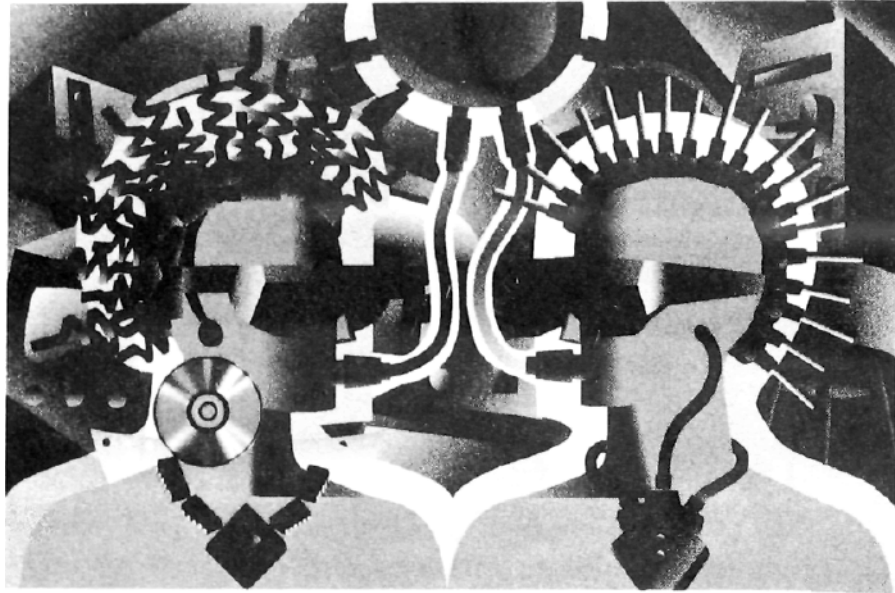
**Будущая инфраструктура (журнальная обложка)**



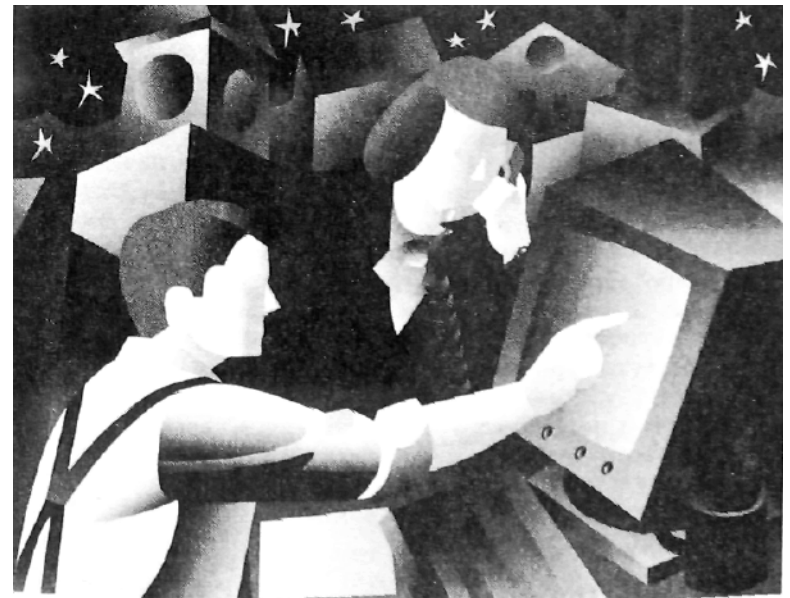
Механизм болезни Паркинсона (медицинский журнал)



Натюрморт выпускника



**Компьютерные панки (сверху)  
Компьютерные домовые (снизу)**



**Предвестники будущего (сверху)  
Дедлайн (снизу)**

## НОВОСТИ АЭРОФЛОТА

### ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

В июне 1996 года в Колонном зале Дома Союзов прошло первое собрание акционеров АО "Аэрофлот — Российские международные авиалинии", утвердившее Устав и отчет о работе в 1995 году.

АО "Аэрофлот" — крупнейшая авиакомпания Российской Федерации, осуществляющая 18% всех пассажирских авиаперевозок России на 126 регулярных пассажирских и 14 грузовых авиалиниях в 102 страны мира, перевозя около 3,5 тысяч пассажиров и 70,5 тысяч тонн почты и грузов.

Эксплуатационная прибыль АО "Аэрофлот" по итогам 1995 года составила 323,9 млрд. рублей. Доходы выросли на 11%.

Решением собрания были утверждены руководящие органы авиакомпании. Генеральным директором был избран маршал авиации Евгений Шапошников.

### АЛЬЯНС "АЭРОФЛОТА" И "ТРАНСАЭРО"

25 июня 1996 года в отеле "Аэростар" генеральный директор АО "Аэрофлот" Евгений Шапошников и президент "Трансаэро" Александр Плешаков подписали меморандум о сотрудничестве.

Альянс двух некогда конкурирующих авиакомпаний направлен на "противодействие летающим в Россию и другие страны СНГ иностранным перевозчикам". После разделения отечественной гражданской авиации на 400 авиакомпаний в начале 1990-х годов это первый шаг к объединению. "Аэрофлот", национальная российская авиакомпания номер один, выполняет около 20 процентов объема авиаперевозок в России, "Трансаэро" — около 7 процентов.

Евгений Шапошников является приверженцем российского самолетостроения. "Мы будем летать на тех самолетах, которые соответствуют уровню международных стандартов" сказал он. "Аэрофлот" и "Трансаэро" друзья и партнеры. Мы должны не мешать, а подстраховывать друг друга."

Заместитель генерального директора АО "Аэрофлот" по коммерции и рекламе Александр Красненкер отметил, что под совместные проекты двух авиакомпаний будут привлекаться инвестиции западных банков.

### ТРИ ГОДА РЕГУЛЯРНЫХ ПОЛЕТОВ НА ИЛ-96-300

В июне 1996 года исполнилось три года, как состоялся первый рейс отечественного дальнемагистрального авиалайнера Ил-96-300. Первый маршрут Ил-96-300 проложил из Москвы в Нью-Йорк.

Сейчас в авиакомпании 6 самолетов Ил-96-300, которые летают беспосадочными рейсами в Сиэтл, Лос-Анжелес, Сан Франциско (США), Буэнос-Айрес (Аргентина), Рио-де Жанейро, Сан-Паулу

(Бразилия), о. Сал (о-ва Зеленого Мыса), Бангкок (Таиланд), Сеул (Корея). За три года самолеты выполнили 2030 рейсов, перевезли 277 тысяч пассажиров и 4800 тонн грузов.

### С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

В Москве начала работать служба бронирования и доставки авиабилетов Аэрофлота. Теперь по дополнительному справочному телефону авиакомпании 245-00-17 можно не только узнать расписание, но и заказать билет по тарифам Аэрофлота на международные рейсы со всем принятыми скидками. Билет доставит пассажиру курьерская служба Аэрофлота, которая выезжает по вызову даже за пределы Москвы — в Солнцево, Митино и прочие удаленные районы. Пассажир оплачивает доставку билета к нему домой или в офис. Телефонная продажа авиабилетов не прекращает работу в праздники и выходные дни.

### ОРКЕСТР КОРОНАДО НА САМОЛЕТЕ АЭРОФЛОТА

В мае в столицу России прибыл духовой оркестр американских тинейджеров из местечка Эль-Пасо (штат Техас). С 1993 года местный колледж сотрудничает с Аэрофлотом, покупая чартерный рейс российской авиакомпании, чтобы переправить в Москву более 200 молодых музыкантов "Коронадо-оркестра", их родителей и учителей. Аэрофлот перевез из США юных пассажиров на Боинге-767, который специально из Москвы полетел в Сиэтл, затем в Техас за оркестрантами, а оттуда в Москву. 8 мая, в преддверии праздника Победы, они собрали много москвичей на Поклонной горе, а 9 мая выступили на Красной площади, где среди их слушателей были руководители государства. Они выступили также в концертном зале им. Чайковского совместно со студентами военно-дирижерского факультета Московской консерватории.

### АЭРОФЛОТОМ НА ОСТРОВ МАВРИКИЙ

В конце 1996 года компания Аэрофлот открывает маршрут на остров Маврикий, где в это время лето в разгаре.

Еженедельно по пятницам самолет ТУ-154 будет выполнять полеты по маршруту Москва-Дубай-Сейшелы-Маврикий. Отсутствие разницы во времени делает 12-и часовой полет не столь утомительным. На о.Маврикий ежегодно бывает 450 тысяч туристов. Великолепные горные пейзажи, бальнеологические курорты и морские пляжи способствуют оздоровлению нервной системы. Популярна у туристов и местная кухня — китайская, индийская, европейская и креольская. Комфортабельные отели предлагают гостям разнообразный спорт — теннис, верховую езду, водные лыжи, серфинг, байдарки, парашютный спорт.

### 30 ЛЕТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ МОСКВА-МОНРЕАЛЬ

4 ноября 1966 года экипаж Аэрофлота на самолете ТУ-114 совершил первый регулярный рейс из Москвы в Монреаль. Уже на следующий год, с осени 1967 года, полеты стали выполняться на только что вышедшем в то время на воздушные трассы Ил 62. Этот лайнер, созданный в фирме Ильюшина, за минувшие тридцать лет зарекомендовал себя как один из самых безопасных самолетов за всю историю гражданской авиации.

В настоящее время Аэрофлот использует для полетов в Монреаль Боинги-767, что позволило избавиться от промежуточной посадки. За год на линии Москва-Монреаль самолетами Аэрофлота совершили путешествие больше 10 тысяч человек. В планах российского национального перевозчика — начать полеты в Торонто и, возможно, Ванкувер.

### ПОЛЕТАМ В ТАИЛАНД — ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Прошло 25 лет с тех пор, когда было подписано межправительственное соглашение о воздушном сообщении между СССР и Таиландом. Первые регулярные полеты в Бангкок Аэрофлот открыл 1 ноября 1971 года на самолете ИЛ-62. Тогда они проходили с двумя промежуточными посадками в Дели и Карачи. Сегодня Ил-62 сменили самолеты нового поколения — Ил-86 и Ил-96. Аэрофлот выполняет в Бангкок два рейса через Дели и три беспосадочных рейса на самолете Ил-96.

Учитывая, что лучшее время для отдыха в Таиланде — зима, компания планирует выполнять в это время года шесть прямых рейсов на самолете Ил-96 и один на самолете А-310 с промежуточной посадкой в Дели.

Для перевозки туристов Аэрофлот выполняет также серию чартеров в Бангкок, Поттайю и остров Пхукет. В апреле 1996 года подписано новое соглашение между двумя странами.

### АЭРОФЛОТ ЛЕТАЕТ В ИСПАНИЮ 20 ЛЕТ

Двадцать лет назад, в 1976 году, было подписано Межправительственное соглашение между СССР и Испанией об открытии линии Москва-Мадрид-Москва, и в столичный аэропорту Барахас совершил посадку первый советский авиалайнер.

В первый год самолеты Аэрофлота перевезли чуть больше тысячи пассажиров, в прошлом же году — 86 тысяч человек на Ил-86. 20 лет назад обе страны связывал лишь один рейс в неделю. Сегодня по маршруту Москва-Мадрид-Москва самолеты Аэрофлота летают три раза в неделю. Кроме того, дважды в неделю Аэрофлот выполняет полеты Москва-Барселона Москва. В 1996 году был открыт маршрут Санкт-Петербург-Мадрид-Санкт-

Петербург. Дополнительно восемь еженедельных чартерных рейсов связывают столицу России с курортами Испании.

Хорошую перспективу имеет развитие испанского туризма в Россию. Основной партнер Аэрофлота в этой области испанская фирма "Политуре".

### В ЮЖНУЮ АМЕРИКУ — СО СКИДКОЙ

В московских кассах Аэрофлота можно купить билет на внутренние перелеты по Южной Америке, значительно сэкономив свои средства.

С 1 апреля 1996 года Аэрофлот выполняет полеты по линиям Москва-Буэнос-Айрес (Аргентина, 17 часов перелета) и Москва Сан-Паулу-Рио-де-Жанейро (Бразилия, 15 часов) на самолете Ил-96 по кратчайшему маршруту и только с одной посадкой на о.Сал (о-ва Зеленого Мыса). Для полетов по Южной Америке Аэрофлот вступил в дискаунтную систему Эйр-Пасс. Теперь пассажиры могут приобрести билеты во все пункты своего путешествия по Бразилии и Аргентине в кассах Аэрофлота, экономя до 50% суммы, которую бы они затратили, покупая билеты в Рио или Буэнос-Айресе. Такая же скидка ждет выезжающих в Мексику

### For Aeroflot information please call:

#### Washington D.C.:

phone (202) 466 4080 fax (202) 785 6618

#### New York:

phone (212) 332 1050 fax (212) 332 1047

#### Chicago:

phone (312) 819 2350 fax (312) 819 2352

#### Los Angeles:

phone (310) 281 5300/01-03 fax 281 5304

#### San-Francisco:

phone (415) 434 2300 fax (415) 403 4033

#### Seattle\*

phone (206) 464 1005 fax (206) 464 1005

#### Miami:

phone (305) 577 8500 fax (305) 579 8666

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**ИННА ЛЕСОВАЯ.** Родилась в 1947 году в Киеве. Окончила факультет графики Московского полиграфического института. В 1975 году вступила в Союз художников. Занимается живописью, графикой, разрабатывает модели кукол для детей. В последние годы написала несколько повестей («Вверх по Фроловскому спуску», «Верочка», «Четыре воспоминания о детстве», «Следствие») и роман («Бессарабский романс»). Периодически публикуется в журнале «Время и мы».

**ВИКТОРИЯ ПЛатОВА (Беломлинская).** Родилась и жила в Ленинграде. Работала на студии научно-популярных фильмов. Печатала очерки в ленинградских журналах. Прозу пишет с 70 года, но в бывшем Союзе смогла опубликовать только 2 рассказа.

В 1989 году повесть «Неяркая жизнь Сани Корнилова» была напечатана в «Контитенте». В 89 году эмигрировала с семьей в США. Печатается в газете «Новое русское слово». В издательстве «Эрмитаж» вышли две книги В. Платовой: «Неяркая жизнь Сани Корнилова» (1991 г.) и «Роальд и Флора» (1993 г.). Последняя была названа в числе финалистов на Букеровскую премию 1994 года.

**ВАЛЕРИЙ ЧЕРЕШНЯ.** Родился в 1948 году, в Одессе. Живет в Санкт-Петербурге. Публиковался в журналах «Звезда», «Знамя» и «Октябрь». В этом году выходит книга стихов «Свое время».

**ЛЕВ ДАНОВСКИЙ.** Родился в 1947 году, в Ленинграде, живет в Санкт-Петербурге. Печатается в московских и ленинградских журналах.

**ДМИТРИЙ БЫКОВ.** Родился в Москве в 1967 г. Обозреватель еженедельника «Собеседник» и журнала «Столица». Лауреат призов Союза журналистов России, Москвы и премии журнала «Огонек». Поэт, автор двух сборников стихов: «Декларация независимости» (1992) и «Послание к юноше» (1994). Член Союза писателей. Печатался в «Литературной газете», «Искусстве кино», «Огоньке», «Экране и сцене», «Синтаксисе». Основная тематика публикаций — проблемы культуры и морали, социальная проблематика.

**ЕВГЕНИЙ МАНИН.** Родился в 1936 году, в Риге. Окончил историко-филологический факультет в Тарту, по специальности истории Древнего Востока. Занимался археологическими изысканиями в Средней Азии, изучал еврейскую историю и культуру. В США эмигрировал в 1976 году. 1979 год провел в Израиле. В архивах хайфского музея изучал историю древнего искусства. В настоящее время живет в Филадельфии, систематически выступает в американской периодике.

**ЛЕВ АННИНСКИЙ.** Родился в 1934 году в Ростове-на-Дону. В 1956 году окончил филфак МГУ. Автор пятнадцати книг, среди которых: «Ядро ореха» (1965), «Обрученный с идеей» (1971, 1986, 1988), «30-е — 70-е» (1978), «Лев Толстой и кинематограф» (1980), «Лесковское ожерелье» (1982, 1986), «Локти и крылья» (1990), «Билет в рай» (1989) и многие другие.

**МАРК ХОЛМЯНСКИЙ.** Родился в 1919 году в Симбирске. Окончил Московский инженерно-строительный институт. С первых дней войны и до ее конца был в действующей армии. Был дважды ранен. После войны работал на педагогической и исследовательской работе. Специализировался в области теории прочности бетона и железобетона. Автор около 150 опубликованных научных статей и четырех монографий (одна еще в издательстве). Доктор технических наук, профессор. В 1992 году эмигрировал в Израиль. Живет под Иерусалимом.

**МИКЛОШ КУН.** Родился в 1946 г. в городе Кашин, Калининской области. Гимназию и университет окончил в Венгрии. С 1969 года преподает в Будапештском университете на кафедре Восточной Европы. Автор книг о М. Бакуanine, о революции 1917 года, о Бухарине. Последняя вышла в Москве под заглавием: «Николай Бухарин. Его друзья и враги». В Будапеште подготовил и издал работы Герцена, Бакунина, Анненкова, Степняка-Кравчинского, Троцкого. Написал обобщающую работу об истоках русского либерализма, ряд статей о лондонских эмигрантах середины 19 века, о панславистских течениях, о корнях тоталитарных диктатур в Восточной Европе, об Орвелле. Занимался творчеством А. Белого и Б. Пастернака. В настоящее время работает над книгой «Король забавляется», костяк которой составляет психологический портрет Сталина. Кроме венгерской, сотрудничал в парижской прессе, русских эмигрантских изданиях, много лет выступает по радио «Свобода».

**РОСТИСЛАВ ДУБИНСКИЙ.** Окончил в 1948 году Московскую консерваторию» Организовал струнный квартет, получивший впоследствии имя Бородина. За 30 лет работы в квартете сыграл около 3000 концертов. В 1976 году эмигрировал в Голландию. Преподавал в Гааге и Роттердаме камерную музыку и организовал трио имени Бородина. С 1981 года в США — директор программы камерной музыки при Индианском университете в Блумингтоне. На английском языке вышла книга Р.Дубинского «Бурные аплодисменты», где он описывает жизнь музыканта в бывшем Советском Союзе.

**АРКАДИЙ БЕЛИНКОВ.** Родился в Москве, в 1921 году. Окончил Литературный институт имени Горького, учился также в МГУ. Во время защиты дипломной работы был арестован и провел в сталинских тюрьмах и лагерях в общей сложности 13 лет. Из них 72 суток в ожидании исполнения смертного приговора. В СССР получил широкую известность благодаря книге «Юрий Тынянов» и распространявшейся в самиздате рукописи «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». В 1968 году, рискуя быть схваченным, бежал из СССР. Два года, проведенные на свободе, работал лектором Йельского университета и профессором Индианского университета. В 1972 году в альманахе «Новый колокол» была опубликована статья «Страна рабов, страна господ...», вызвавшая острую полемику по поводу оценки автором русской истории. Умер Аркадий Белинков в 1970 году, не успев осуществить многих своих творческих замыслов.

**НАТАЛЬЯ БЕЛИНКОВА-ЯБЛОКОВА.** Родилась в Москве. Окончила МГУ и аспирантуру при литературном институте Союза писателей СССР. Диссертацию защищать не дали. Работала учительницей в школе, на кафедре классической литературы в Литинституте при СП СССР, литературным редактором журнала «Москва». В 1957 году вышла замуж за Белинкова. Эмигрировала в США в 1968 году в знак протеста против реставризации. На Западе работала лектором Йельского университета, выступала с лекциями и в других университетах США и Европы. Подготовила и издала книгу Аркадия Белинкова «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». В настоящее время живет в Монтерее и готовит к изданию литературные работы А.Белинкова.

## **ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ «УЗНИК РОССИИ»**

По следам неизвестного Пушкина

Легальные и тайные попытки Александра Сергеевича Пушкина выбраться за границу сразу после окончания Лицея в качестве дипломата и путешественника, а затем из Кишиневской и Одесской ссылки (1817-1824). Решение бежать в Константинополь, а оттуда в Италию с помощью контрабандистов. Новый взгляд на известные факты психологической биографии поэта.

Antiquary Publishers, 1992, 254 с, \$ 25  
594 Chestnut Ridge Rd. Orange, CT 06477

## **ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ «ДОСЬЕ БЕГЛЕЦА»**

По следам неизвестного Пушкина

Настойчивое желание великого поэта добиться разрешения отправиться в Европу из ссылки в Михайловском и из Москвы (1824-1829). После отказов Николая I и Бенкендорфа - подготовка к побегу под видом слуги своего приятеля и для лечения болезни, которую он выдумал, подкрепив справкой ветеринара. История вербовки Пушкина в осведомители с обещанием выпустить в Европу. Путешествие поэта в Арзум с целью нелегально перейти турецкую границу.

Hermitage Publishers, 1993, 271 с, \$ 15  
P.O.Box 410 Tenaflly, NJ 07670

На основе критического изучения огромной литературы, писем современников и архивов тайной полиции известный писатель и профессор русской литературной истории Калифорнийского университета впервые в пушкинистике исследует страстное желание поэта покинуть Россию, в которой, как Пушкин сам выразился, черт догадал его родиться с душой и талантом.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

## ГРЕХОПАДЕНИЕ ЦЕЗАРЯ

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции. Герои романа — выходцы из среды московской богемы, — оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия — жизнь самого автора, человека острого и умного, и вечно униженного из-за неустройства жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности — тайный недуг, который окрашивает в темные краски всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обессмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Рождается горячая исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закоулков своей души: род мазохизма, который странным образом скрашивает его последние дни. Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу «проклятых вопросов» жизни, но вряд ли оставит его равнодушным, когда он закроет последнюю страницу.

В книге 320 страниц. Цена - \$16. Заказы и чеки высылать по адресу:

„Time and We“  
409 Highwood Avenue  
Leonia, New Jersey 07605. USA

**БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"**

**ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД**

**СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ,**

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

*КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДИНХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.*

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД - ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ - ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА

*Цена книги - 15 долларов.*

*Заказы и чеки высылать по адресу:*

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE  
LEONIA, NJ 07605, USA  
Tel.: (201)592-6155

## Лорен АЙЗЛИ

### ВЗМАХ КРЫЛА: РАССКАЗЫ И ЭССЕ

Подбор, перевод с английского, предисловие и примечания  
Д. Н. Брецинского

(Москва: Издательство Московского университета, 1994)

\*

Произведения Лорена Айзли (1907-1977), известного американского антрополога, натуралиста, эссеиста и поэта, получили самую высокую оценку разнообразнейших критиков:

- «Казалось бы, поэзия и наука несовместимы - как масло и воду, их невозможно смешать. Однако есть исключительные ученые, которым это вполне удается. Лорен Айзли один из них... Это Пруст, чудесным образом преобразившийся в антрополога-эволюциониста». *Феодосий Добржанский, американский генетик*
- «Удивительная широта познаний, бесконечная способность удивляться и сострадательный интерес ко всему и вся во Вселенной». *«Филадельфия санди бюллетэн»*
- «Вряд ли кто-либо сказал больше о столь необъятном предмете в такой сжатой форме». *Джозеф Вуд Кратч («Сатердей ревью»)*
- «Он был одним из первых ученых, заявивших во весь голос, что человек должен вновь найти свое место в мироздании. Его слова создали новый тип литературы, основанной на объективных научных данных, и его предостережение помогло положить начало новому общественному движению. Как и пророки всемирных религий 2000 лет назад, он учит наше поколение вновь обрести космическое чутье, которое свойственно только человеку». *Рэне Дубос («Смитсониян мэгэзин»)*
- «Произведения Лорена Айзли перевернули мою жизнь». *Рэй Брэдбери, американский фантаст*
- «Когда мы привыкнем к Лорену Айзли, такому непохожему на все, что читали, то пойдем, какое чудо открыл нам Дмитрий Брецинский, и скажем от души: спасибо!» *Юрий Нагибин («Лента»)*
- «Браво!» *У. Х. Оден, английский поэт*

Сборник «Взмах крыла» можно приобрести через  
Издательство МГУ (тел.: 0951 939-33-23; факс: 203-66-71),  
в США - в книжном магазине «Victor Kamkin, Inc.»  
(тел.: 1301J 881-5973; факс: 881-1637)

## ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1996

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ В США — 59 долларов;  
с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов;  
для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах  
чеками американских банков и иностранных банков,  
имеющих отделения в США,  
и высылаются по адресу «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA  
TEL: (201) 592-6155

### ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....

Имя.....

Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на ..... год.  
Высылать с номера..... Журнал высылать обычной (авиа) почтой по  
адресу:

Подпись.....

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

**MAIN OFFICE**

409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605, USA

(201) 592-6155

OCR и вычитка — Давид Титиевский, ноябрь 2011 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

**На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна**

**На четвертой странице обложки: Анатолий Чернышев  
"Компьютерное попури".**

